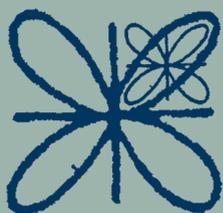


ISSN 1824-7601



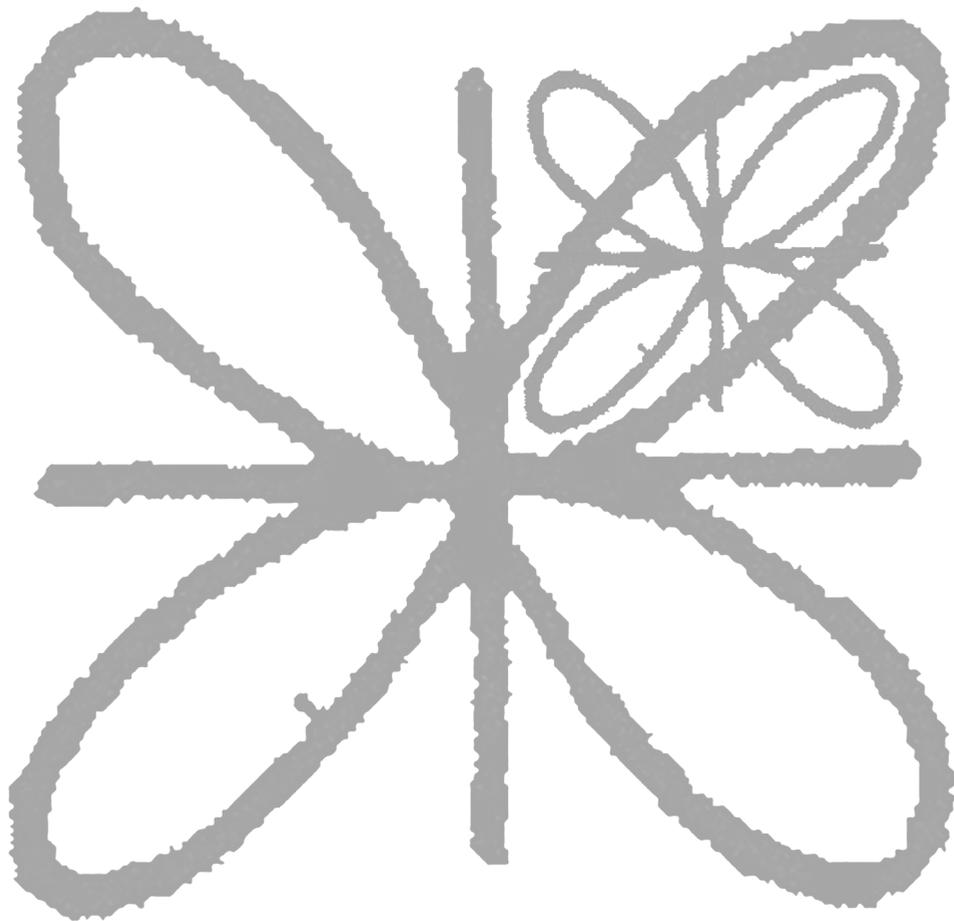
Studi Slavistici

XXI • 2024 • 2 | Rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti

fiup
FIRENZE
UNIVERSITY
PRESS

Studi Slavistici

Rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti



XXI · 2024 · 2

Firenze University Press

Studi Slavistici

XXI • 2024 • 2

<http://www.fupress.com/ss>

DIREZIONE

Maurizia Calusio
Paola Cotta Ramusino

SECTION EDITORS

Maria Grazia Bartolini, Anna Bonola, Guido Carpi, Alessandro Cifariello, Monica Fin,
Iliyana Krapova, Giuseppina Larocca, Marcello Piacentini,
Manfred Schrubba, Vittorio Springfield Tomelleri

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Noemi Albanese
Rossella Caria

EDITING E PROGETTO GRAFICO

Alberto Alberti

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Dmitrij Bulanin (*Puškinskij dom RAN*), Stephen M. Dickey (*Kansas University*),
Maria Di Salvo (*Accademia Ambrosiana*), Dalibor Dobiáš, (*Czech Academy of Sciences*),
Marcello Garzaniti (*Università di Firenze*), Lucyna Gebert (*Sapienza Università di Roma*),
Amir Kapetanović (*Institut za brvatski jezik*), Nicoletta Marcialis (*Università di Roma Tor Vergata*),
Riccardo Nicolosi (*LMU München*), Jakub Niedźwiedz (*Uniwersytet Jagielloński*),
Anna-Maria Totomanova (*Sofijski Universitet*), Michail Veližev (*Université Grenoble Alpes*),
Alexander Woell (*Universität Potsdam*), Anton Zimmerling (*Institut russkogo jazyka im. A.S. Puškina*)

Il volume è curato dalla redazione sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti.
“Studi Slavistici” è una rivista *peer reviewed*. Tutti i contributi (eccettuati *Materiali e Discussioni*
e *Recensioni*) vengono inviati per valutazione a due referee anonimi

La redazione ringrazia Luca Cortesi, Stefano Fumagalli, Diana Lyadskaya,
Tatsiana Maiko e Anna Stetsenko per la correzione delle bozze del fascicolo

CONTATTI

NOEMI ALBANESE

c/o Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società
via Columbia, 1 – 00133 Roma
(studislavistici@associazioneslavisti.com)

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI SLAVISTI

<http://www.associazioneslavisti.it>
(segreteria@associazioneslavisti.com)

FIRENZE UNIVERSITY PRESS
via Cittadella, 7 – 50144 Firenze
<http://www.fupress.com/>
(journals@fupress.com)

Rivista di proprietà dell’Associazione Italiana degli Slavisti
(registrato al n° 5385 – 29.XII.2004 del tribunale di Firenze)
ISSN 1824-7601 (online)

© 2024 Firenze University Press – Università degli Studi di Firenze

In copertina: motivo ormanentale utilizzato per la decorazione di uova colorate (*pisanki*),
da E. Gasparini, *Il matriarcato slavo*, Firenze 2010 (1973¹), p. 697.



INDICE

П.В. Петрухин	<i>Заметки о новгородских берестяных грамотах (грамоты № 22, 122, 1094, 1121)</i>	5-20
Д.М. Буланин	<i>Третья книга Ездры в религиозной мысли Московской Руси</i>	21-36
V. Polomas, A. Rabus	<i>Serbian Early Printed Books from Venice. Quantitative Approach to Orthographic Variations</i>	37-60
Ф.Б. Успенский, А.Ф. Литвина	<i>Кубок и крест, ковчег и надгробье. Имена и вещи в подспудной истории Смутного времени</i>	61-79
И.А. Вознесенская, Г.А. Мольков	<i>Первые морские уставы Петровского времени: переводы и адаптация</i>	81-99
V. Dvořáčková	<i>The Origins of Czech Academic Lexicography. From Foreign Inspiration to State Formation Potential</i>	101-116
О.Е. Пекелис	<i>Русское некоторое в свете типологических ожиданий</i>	117-138

MATERIALI E DISCUSSIONI

L. Cortesi	<i>Velimir Chlebnikov in Italia, prima di Ripellino</i>	141-153
J. Kapičiak	<i>Shaping Speechlessness after February 24, 2022 in the Magazine "ROAR"</i>	155-173

RECENSIONI

Z.A. Brzozowska, M.J. Leszka, T. Wolińska (eds.), <i>Muhammad and the Origin of Islam in the Byzantine-Slavic Literary Context. A Bibliographical History</i> , transl. by K. Guccio and K. Szuster-Tardi, Jagiellonian University Press, Łódź 2020 (M. Garzaniti)	177-179
V.S. Tomelleri, <i>Vokrug Donata</i> , Indrik, Moskva 2023 (M.C. Bragone)	180-182

- V. Majakovskij, *Poesie d'amore 1913-1930*, a cura di P. Ferretti, Einaudi, Torino 2023 (M. Calusio) 183-185
- N. Bąkowska, *Metafikcja komiczna i komizm metafikcyjny w dramatach Luigiego Pirandella i Witolda Gombrowicza. Studium porównawcze*, WUW, Warszawa 2023 (P. Graf) 186-190
- N. Badurina, *Strah od pamćenja. Književnost i sjeverni Jadran na ruševinama dvadesetog stoljeća*, Disput, Zagreb 2023 (P. Lazarević Di Giacomo) 191-193
- T. Maiko, *Konstrukcii s opornym glagolom v ruskom i ital'janskom jazykach*, FUP, Firenze 2022 (E. Pinelli) 194-196

Павел Владимирович Петрухин

Заметки о новгородских берестяных грамотах (грамоты № 22, 122, 1094, 1121)

1. Грамоты № 1094 и 22

Известно, что в средневековой восточнославянской письменности слова с этимологическим корнем *господ-*, такие как *Господь*, *господинь*, *господа*, *господарь*, могли писаться без начального *г*, например, в виде *wсподинь*. А.А. Шахматов (1886: 166), указав на подобные формы в пергаменных грамотах Новгорода, Пскова и Полоцка, отметил, что "выпускание такого *г* могло быть не только графическим", поскольку соответствующие формы встречаются в русских диалектах. Л.Л. Васильев (1908: 205-206) пришел уже к твердому выводу о том, что за написаниями с начальным *о* стоит соответствующее произношение. Он же обратил внимание на сокращения типа *оѣнь* и показал, что последние передают произношение типа [оспо́д'ин], в то время как буква *г* здесь – всего лишь "излишний остаток традиционного письма". Замечательным подтверждением этого наблюдения Васильева стала берестяная грамота № 964 (1360-1380→), в которой сокращения *оѣну*, *оѣне* соседствуют с полной записью *wсподине*, ср. (НГБ XII: 75). Наиболее подробным образом данный вопрос исследован в работе А.А. Зализняка (1990: 6-25)¹, который (очевидно, независимо от Васильева) пришел к тем же выводам.

Б.А. Успенский (2002: 157) объясняет произношение данной группы слов без начального согласного традицией чтения буквы *г* в виде фрикативного [ɣ] в церковной языковой практике. На севере Руси, где фрикативная фонема отсутствовала в разговорном языке, стремление следовать книжному произношению могло приводить к полному отпадению *г* в соответствующих словах. Успенский допускает, что "само отсутствие звука могло приобретать своего рода гиперкорректный характер и определять таким образом особую манеру книжного произношения соответствующих форм в XIV-XV вв." (*там же*).

В берестяных грамотах, согласно Зализняку, "среди полных написаний тип *господ-* является древним, тип *оспод-* – более новым, причем смена их произошла за довольно короткий период – во 2-й половине XIV в." (НГБ IX: 235). Сокращения типа *гѣне*, часто встречающиеся в грамотах XV в., Зализняк справедливо считает условной записью, которая "читалась (или хотя бы могла читаться) как *осподине*" (*там же*). Позднейшие находки грамот подтвердили эти наблюдения. Так, в грамоте № 963

¹ Текст статьи (Зализняк 1990) почти дословно воспроизведен в (НГБ IX: 234-241).

(1410-1420)² при последовательном (6 раз) полном написании соответствующих слов без *z* сокращенное написание имеет вид *гс²ине* (ср. НГБ XII: 75).

В то же время решительный вывод Зализняка о том, что “во 2-й половине XIV в. произношение рассматриваемой группы слов без *z* [...] становится нормой живой новгородской речи” (НГБ IX: 235), требует уточнения. Здесь очевидное противоречие: если, как пишет Зализняк, именно во 2-й половине XIV в. написания типа *господ-* вытесняются написаниями типа *остпод-* (ср. приведенную таблицу с данными берестяных грамот, *там же*) и если это вытеснение обусловлено изменениями в произношении (что, кажется, не вызывает сомнений ни у кого из современных исследователей), то надо полагать, что формы с начальным *o* становятся “нормой живой новгородской речи” несколько позже, т. е. в XV в., в то время как 2-я половина XIV в. представляет собой переходный этап, для которого характерна конкуренция двух типов произношения.

Ниже приведена таблица с данными грамот. В таблицу включены только ‘полные’ написания рассматриваемых слов. В разграничении полных и сокращенных написаний я следую принципам, изложенным в НГБ IX: 234.

	тип ГОСПОД-	тип ЁСПОД-
1025-1050→	247	
1120-1140	84	
1160-1180→	682	
←1180-1200→	502	
1180-1200→	152, 272 (3×)	
1200-1220→	531 (3×), 112	
1220-1240	147	
1280-1300	148	
1280-1300→	929	
1300-1320	55 (2×), 67	
1300-1320→		1163
←1320-1340	140	
1320-1340→	4	
←1340-1360		358
1340-1360	98, 102	31, 284
1340-1360→		1076 (3×)
1360-1380	594, 756 (2×)	182

² Здесь и далее тексты грамот (если не оговорено иное) приводятся в том виде, как они представлены на интернет-сайте www.gramoty.ru, датировки грамот указываются в соответствии с обозначенными там же условными датами.

	тип ГОСПОД-	тип ЁСПОД-
←1360-1380→	1132 (2×)	133, 1099
1360-1380→		372, 1097, 964
←1380-1400		446 (7×)
←1380-1400→		1074
1380-1400	167, 248 (2×)	Ст.Р. 40, 22
1380-1400→		135, 362, 757, 1093
←1400-1410		359 (2×)
1400-1410		23 (3×), 519
←1400-1410→		540
1400-1410→		305 (2×), 310 (5×), 413
←1410-1420		693
1410-1420		17 (2×), 963 (6×)
1410-1420→		494/469 (4×)
←1420-1430		1171
←1420-1430→		1155 (2×)
1420-1430		242 (2×), 243
1420-1430→	306	301 (5×), 302 (2×), 304, 307 (6×), 465, 466
1430-1450		962 (6×)

Содержание таблицы может быть суммировано следующим образом:

	тип ГОСПОД-	тип ЁСПОД-
XI – I пол. XIV в.	15	–
2 пол. XIV в.	7	18
XV в.	1	23

Таблицы показывают, что хотя во 2-й половине XIV в. написания типа *оспод-* заметно преобладают над написаниями типа *господ-*, в целом перед нами переходный период, когда возможны оба типа написаний³.

³ По-видимому, колебания между, условно говоря, формами *господин* и *осподин* имели место и позже. На это указывает русско-немецкий разговорник Т. Фенне 1607 г. (Hammerich, Jakobson 1970), ср., например: *Moi gospodin prislall komne grammatu* (200, 10) и *Moi aspodin svall tebe ksebe gosti* (228, 2), *Tomu rosumenu gospodinu* (264, 1) и *Skasi mnie tzto mne svoimu aspodinu ottebe skasat* (237, 6).

Что касается сокращений (не включенных в приведенные выше таблицы), тип с начальным *z* (например, *гѣне*) господствует в берестяной письменности на протяжении всей ее истории, написания же типа *ωѣне* на данный момент представлены только в четырех грамотах 2-й половины XIV-начала XV в.: № 579, 406, 964, 166.

Особого внимания требуют случаи, когда перед сокращением стоит предлог в виде согласной буквы (реально в примерах встречается только предлог *к*): после такого предлога сокращение всегда начинается с буквы *o*, ср.: *к оѣну* (№ 610), *к оgnu* (№ 101), *к оѣжи* (№ 354), *к оѣдиноу* (№ 339). Добавим сюда наблюдение Зализняка о том, что “в сочетании с предлогом ‘к’ слова ‘господин’ и ‘господарь’ (в полном написании) засвидетельствованы в берестяных грамотах XIV-XV вв. только в следующем виде: *к осподину* 17, 23, *к осподар(ю)* 465” (НГБ IX: 241) (позднейшие находки берестяных грамот ничего не изменили в этой картине).

Особенно показательны грамоты, в которых запись с *o* после предлога *к* соседствует с записью без *o* после гласной буквы, ср. в грамоте № 101 (1340-1360): *поклоно к оgnu*, но *а gну стѣи*; в грамоте № 610 (1360-1380→): *Поклонѣ ѿ Роха к оѣну моѣму к Фефилату, что бы ꙗси, гѣне, дале мѣсце мнѣ на дорѣ*.

Возможное предположение, что в написаниях типа *коѣну* буква *o* относится к предлогу, т.е. что перед нами предлог *къ*, записанный в силу эффекта *ѣ* → *o* в виде *ко*, следует отклонить, так как, во-первых, в грамотах № 101, 354 и 610 предлоги последовательно пишутся без конечного *ѣ*, во-вторых, в грамотах № 354 и 610 нет смешения *ѣ* и *o*.

Почему же мы находим в грамотах *оѣну* после согласной буквы, но *гѣну* после гласной? Чтобы разобраться в этом, нужно сделать небольшое теоретическое отступление и коснуться вопроса о начальном обучении грамоте в средневековой Руси. В его основе лежала так называемая система “чтения по складам” (Успенский 1970/1997). Этот метод обучения грамоте оказывал заметное воздействие на процесс письма – воздействие тем более сильное, чем менее искусственным в письме был пишущий. Наиболее глубокий отпечаток система чтения по складам оставила в так называемом “бытовом письме”, поскольку им пользовались люди, прошедшие лишь начальное обучение грамоте. Последнее в средневековой Руси предполагало только обучение чтению, но не обучение письму (во всяком случае, книжному). Бытовое письмо полностью обусловлено навыками, приобретенными в ходе обучения чтению⁴, и есть результат применения этих навыков в обратном порядке: если читающий сначала произносил звучание каждого слога (склада) в отдельности, а затем соединял звучания отдельных складов и получал звучание слова целиком (см. подробнее: Успенский 1970/1997), то пишущий, наоборот, сначала произносил по слогам словоформу, которую требовалось записать, а затем записывал эти слоги – как правило, пользуясь складами, заученными в ходе освоения грамоты.

В системе чтения по складам все слоги делились на два типа: 1) состоящие из сочетания согласных букв с гласными (условно CV); 2) состоящие из одной глас-

⁴ См. Петрухин 2020, 2023.

ной буквы (условно V). В бытовом письме противопоставление двух типов слогов проявляется двойко: во-первых, такая характерная особенность этого письма (также связанная с правилами чтения), как мена букв *ѣ* и *о*, *ь* и *е*, возможна только в слогах типа CV, но не в слогах типа V³; во-вторых, в слогах типа CV и в слогах типа V могут использоваться разные графемы гласных, например, в первом случае *о*, во втором – *ω*.

В свете сказанного написание *оѣну* после согласной буквы и *гѣу* после гласной получает простое объяснение. Прежде чем передать на письме словосочетание *к осподину*, пишущий произносит его вслух по слогам. При этом предлог *к* образует единый слог с последующим гласным *о*, т.е. слоговоеделение получает вид: *ко-спо-ди-ну*. Переходя непосредственно к письму, пишущий сначала записывает слог *ко*, а затем добавляет к нему привычную “идеограмму” (пользуясь термином Зализняка) в форме дательного падежа – *гѣу*. При полном написании соответствующих слов происходило то же самое, за исключением использования “идеограммы”.

Если пишущий произносит рассматриваемую группу слов с начальным *г*, вышеописанного явления, естественно, не наблюдается. Так, в грамоте № 1094 (1380-1400→) имеется следующая адресная формула: *челобѣтьѣ ѿ волоса гѣну к ѿфоносу и къ михалѣ*. Простейшее объяснение записи *гѣну* состоит в том, что за ним стоит произношение [ггоспод’ину]. Передача двойных согласных с помощью одной буквы – очень характерная особенность берестяных грамот (конечно, также отсылающая к чтению по складам, где отсутствовали склады с двойными согласными), ср., например, грамоту № 125 (1400-1410), где, как и в грамоте № 1094, при указании адресата предлог *к* пропущен только перед словоформой, начинающейся с буквы *г*: *поклонѣ · ѿ маринѣ · къ сѣу · к можму григорью* (ср. ДНД2: 657).

Впрочем, А.А. Гиппиус и А.А. Зализняк объясняют написание *гѣну* в грамоте № 1094 иначе, а именно (Гиппиус, Зализняк 2018: 10-11):

за ним стоит либо *осподину*, либо *к осподину*. В первом случае автор, по-видимому, допустил синтаксическую погрешность, нечаянно совместив в одной конструкции (*челобѣтьѣ осподину к Офоносу*) две равно допустимые модели – *челобѣтьѣ кому* (как в грамотах № 15, 129, 297, 300, 310) и *челобѣтьѣ к кому* (как в № 135, 167, 314, 354, 413). Во втором случае автор либо просто случайно пропустил предлог *к* *гѣну* (или *къ гѣну*), либо механически упростил *кг* в *г* по аналогии со случаями, когда упрощение *кг* → *гг* → *г* имеет фонетическую причину.

Итак, исходя из того, что автор грамоты № 1094 Волос произносил интересующую нас группу слов без начального *г*, Гиппиус и Зализняк предлагают на выбор три

⁵ В бытовом письме данный принцип записи проводится вполне последовательно, однако в той или иной степени он мог действовать и у более искушенных писцов, поскольку последние также учились грамоте по системе чтения по складам, сведения же, полученные на последующих этапах обучения, не всеми усваивались одинаково хорошо.

объяснения для написания *гѣну*. Расположим эти объяснения в порядке возрастающей сложности.

Проще всего, конечно, версия о случайном пропуске предлога *к*. Однако, во-первых, грамота № 1094 не содержит ни одной явной ошибки, во-вторых, как показано выше, сокращенная запись в подобных случаях имела вид *к огѣу*, а не *к гѣну* или *къ гѣну*; следовательно, при случайном пропуске предлога запись имела бы вид *оѣну*. На то, что механизмы письма, приводившие к неизменному отражению начального *о* после предлога *к* в словах рассматриваемой группы, были актуальны и для писца грамоты № 1094, указывает сама адресная формула с интересующим нас написанием *гѣну*: в записи *къ фоносу* <к Офону> эффект *о* → *ѣ* возможен в силу того, что буквенная последовательность *къ* образует единый графический слог, ср. здесь же: *къ Михалѣ*.

Несколько сложнее версия о случайном объединении двух вариантов адресной формулы (точнее говоря, о переключении с одной синтаксической модели на другую по ходу написания адресной формулы).

Наконец, наиболее сложна версия о ‘механическом’ упрощении *кѣ* в *г*. Это объяснение подразумевает, что когда перед Волосом встала задача передать на письме словосочетание *к осподину*, в его воображении возникла буквенная последовательность *кгѣну*; эта воображаемая запись, в свою очередь, наваяла ассоциацию с фонемной последовательностью <кг>, каковая в определенных фонетических условиях подвергалась ассимиляции и упрощению и соответствующим образом могла передаваться на письме. В правдоподобии данной версии заставляет усомниться не только ее сложность, но прежде всего, опять же, тот факт, что словосочетание *к осподину* при сокращенной записи выглядело как *к оѣну*, а не *к гѣну*.

Очевидно, что весь этот набор предположений разной степени сложности нужен лишь для того, чтобы не ставить под сомнение тезис о невозможности произношения типа *господин* во 2-й половине XIV в. Если же не держаться за этот тезис, то вопрос решается простейшим образом.

Обратимся теперь к берестяной грамоте № 22 (1380-1400):

Внешняя сторона

цѣлоб[ИТ]иѣ ѿ лѣн[Ь](Т)Ь(А К) ...
ю ходиль · ѿсподину · ѿнѣ мо(и) (...)

...

Внутренняя сторона

...ан[Ъ П]шѣнѣке
... взалъ · і · кадець пшѣниц[И]
(...) [а ны]ни [ц]то [у] на[съ] ...
(...)

Документ входит в комплекс грамот конца XIV-начала XV в., обнаруженных на новгородском Неревском раскопе, на перекрестке Великой и Холопьевой улиц, и связанных с именами двух братьев – Есифа и Фомы⁶.

Содержание грамот характеризует братьев как крупных землевладельцев: в переписке упомянуты 17 сел, которыми они управляли через приказчиков, получая оброк хлебом и пушшиной. Возможно, Фома имел какое-то отношение к новгородской посадничьей администрации, в частности, занимался судебными делами (Черепнин 1969: 320-321)⁷. Челобитная, представленная в грамоте № 22, по-видимому, связана именно с административными обязанностями Фомы.

Многолетнее изучение грамоты в основном сфокусировано на фразе *ходилъ ѿсподину⁸ снѣ мо(и)*. В НГБ (II: 22-24) грамота дана вовсе без перевода. В НГБ (IX: 127) Зализняк отметил, что в *ѿсподину* “последняя буква плохо видна, но она гораздо более похожа на *ь*, чем на *у*”, и предложил видеть здесь форму звательного падежа, записанную с характерным для бытового письма эффектом *e* → *ь*, т.е. *ѿсподин[ь]*. “Благодаря этой поправке, – писал Зализняк, – вместо бессмысленного текста *ходилъ ѿсподину снѣ мо(и)* получается вполне осмысленная фраза *ходилъ, ѿсподин[ь]* (обращение, *ь* = (<*e*>), *снѣ мо(и)*” (*там же*, ср. ДНД1: 571). Вскоре, однако, Зализняк установил, что грамота № 22 написана тем же почерком, что и грамота № 1, причем в последней буква *у* имеет такой же вид, как в *ѿсподину* грамоты № 22. В итоге Зализняк констатировал, что “необходимо в этом пункте вернуться к чтению издателей” (НГБ X: 84). Далее он писал (*там же*):

Заметим, что возвращение к чтению *ѿсподину* заново ставит нас перед лицом загадочной фразы *ходилъ ѿсподину снѣ мо...*, которой, по-видимому, начинается основной текст письма № 22. Если не предполагать описок, простого синтакси-

⁶ В.А. Буров (1979: 219-224), опираясь на наблюдения А.В. Арциховского, Л.В. Черепнина и В.Л. Янина, отнес к этому комплексу 11 грамот. Подраздел *Переписка братьев Есифа и Фомы и относящиеся к ним документы* (Д1) в ДНД2: 643-650 также содержит 11 текстов. Тем не менее, состав грамот в том и другом случае не вполне совпадает: у Булова отсутствует грамота № 22, у Зализняка – грамота № 25. Дело в том, что Зализняк включает в комплекс лишь такие тексты, которые либо непосредственно содержат имена братьев, либо обнаруживают почерк, совпадающий с почерком по крайней мере одного из писем с упоминанием Есифа или Фомы; грамота № 25 не отвечает ни тому, ни другому критерию, поэтому Зализняк оставляет ее за рамками комплекса. Напротив, Буров добавляет грамоту № 25 в комплекс как “найденную в слоях вместе с другими письмами братьев” (Буров 1979: 220, примечание 19). В то же время Буров не знал о том, что грамота № 22 имеет один почерк с грамотой № 1 (с упоминанием Фомы), этот факт был установлен Зализняком в 1995 г. (ДНД2: 648).

⁷ Предположение В.А. Булова (1979: 224) о том, что Фома был “причастен к суду тысяцкого”, опирается на текст грамоты № 25, которую нельзя с уверенностью отнести к блоку Есифа и Фомы.

⁸ В ДНД2: 649 в этой словоформе ошибочно дана буква *ѡ* вместо *ѿ* (Гиппиус, Сичинава 2021: 181).

ческого и семантического решения здесь не видно. Синтаксически безусловно решение типа ‘ходил господину сын мой вослед’, но оно непригодно по смыслу и по стилю. Может быть, перед нами начало фразы типа ‘ходил господину сын мой в испошниках (в ключниках и т. п.)’ (хотя и в этом случае более естественным было бы у *ѡсподина*).

Эти соображения отражены и в переводе, данном в ДНД2: 649: “Челобитие от Лѣнтя к ... Ходил господину сын мой ...’ Как продолжалась эта фраза, неясно (возможно: ‘... в испошниках’, ‘... в ключниках’ или что-то иное по этой схеме)”.

В самом деле, данное чтение проблематично как с синтаксической точки зрения (в истории русского языка неизвестны конструкции типа “ходить X-у в ключниках”), так и “по смыслу и по стилю” (напоминая некий эпический зачин, едва ли уместный в челобитье).

Казалось бы напрашивающееся предположение о случайном пропуске предлога *к* перед *ѡсподину* Зализняк даже не обсуждает, и причины этого вполне ясны.

Во-первых, грамота № 22 не имеет никаких явных ошибок. Это можно было бы объяснить краткостью текста, однако и в написанной тем же писцом грамоте № 1 – “одной из самых больших грамот, когда-либо найденных в Новгороде” (Янин 1998: 42) – число описок минимально, а именно: “*дво* вместо *дву*, повторение *ло* в *пололоть*, повторение *бъ* (перед у *Гаванова*); перед *Харилнова* пропущен предлог *с*” (ДНД2: 649).

Во-вторых, графема “*о* широкое” всегда обозначает слог, равный одной гласной букве (слог типа V), и противопоставлена графеме “*о* узкое”, выступающей после согласной буквы (в слоге типа CV). Сочетание предлога, выраженного одной согласной буквой, с начальной гласной следующего слова представляет собой, как уже отмечалось выше, слог типа CV, в связи с чем в грамоте № 1 находим, например: *с овстьѣва села, с ошвина села*. Следовательно, случайный пропуск буквы *к* в грамоте № 22 дал бы написание *осподину*, а не *ѡсподину*. Может быть, писец хотел написать *къ ѡсподину*? Однако и это предположение не проходит: в грамоте № 1 предлоги, фонетически представленные одним согласным, последовательно пишутся без ‘ера’, ср. *слути*(*анова села*), *с васильѣва с[e](ла)*.

Между тем возможно такое решение, которое, не предполагая случайной ошибки, все же допускает, что за формой *ѡсподину* скрывается ‘к господину’.

Зализняк (ДНД2: 649) обратил внимание на то, что в грамотах № 1 и 22 “[в] место двойных согласных регулярно пишутся одиночные” (разрядка моя – П.П.), ср.: *трицать, каци* ‘кадцы’, *Сменова села, Сменова стан[у]* ‘с Семенова’, *Шадрина села* ‘с Шадрина’, возможно, (*д*)*ружиного* ‘дружинного’.

Данное явление следует рассматривать не как ряд ошибок, а как последовательно проведенный графический прием. Отмечу, что в целом написание предлогов у данного писца подчинено фонетическому принципу: например, при отсутствии ассимиляции предлог *с* записывается как *с* (не *сѣ*!), ср. *с васильѣва, с ошвина*; при ассимиляции по звонкости с последующим согласным – как *з*, ср. *з бабиниѣхъ*; наконец, если этот

предлог образует со следующим согласным двойной согласный звук, используется одна буква, ср. *Сменова, Шадрина*.

Отсюда понятно, что если писец грамот № 1 и 22 произносил слово ‘господин’ с начальным *г*, то словосочетание к *господину* он несомненно записал бы как *господину*.

В то же время ему, как человеку, активно вовлеченному в берестяную переписку, в частности, занимающемуся составлением деловых документов⁹, несомненно было знакомо написание типа *ωсподинъ*. О том, насколько частотным был этот тип написания в берестяных грамотах конца XIV в., можно судить, например, по грамоте № 446 (←1380-1400):

поклоуъ · ѿ кондрата · осподину своему юрю
и ѿо всиухъ селанъ · что еси · осподине конъ подаваѣ
лъ · и тьи · осподине · конъ · захарья вѣдаваѣ
тъ · оу насъ · что бы есь осподине · оу
налъ его · или осподине · не оуимешь · и ты · оспо
дине · пошли по остатокъ · а намъ
осподине · немоч[ь]но жить ·

В целом нормы правописания отнюдь не были чужды нашему писцу: в грамотах № 1 и 22 нет ни одного случая мены *ѡ – о* и *ѡ – е*. Предположим, что он, произнося [госпо́дин], использовал написание типа *ωсподинъ* как орфограмму. Поскольку в его графической системе такие фонетические последовательности, как [госпо́дину] и [ггоспо́дину], не различались и имели вид *господину*, использование орфограммы в обоих случаях могло давать написание *ѡсподину*.

Описанное здесь явление хорошо иллюстрирует разницу между такими основополагающими понятиями теории письма, как графика и орфография¹⁰. Как известно, графические правила обеспечивают адекватную передачу на письме звучащей речи (и наоборот, адекватное преобразование письменного текста в звучащую речь), орфографические же правила приводят написание словоформ в соответствие с принятыми в данном обществе нормами. Зализняк (2002: 586) называет графически правильной такую запись, которая “будучи прочитана по основным правилам чтения [...] дает именно ту фонетическую последовательность, которая записывалась. Например, для словоформы [слпѡк] графически правильны записи *сапог, сапок, сопог, сопок*”. Орфографию Зализняк определяет как “совокупность правил, предписывающих выбор одной из графически правильных записей для всех случаев, когда такая запись не единственна. В качестве исключения орфография может также предписывать

⁹ Можно полагать, что он исполнял обязанности писаря при Фоме: грамота № 1 “представляет собой роспись доходов с ряда сел” (ДНД2: 649), грамота № 22 – челобитная.

¹⁰ См. об этом Бодуэн де Куртэне 1912: 414; Щерба 1957: 147-150; Зализняк 1979: 148-152; 2002: 585-588).

для отдельных слов или словоформ запись, которая не входит в число графически правильных, как, например, *сегодня*”.

В нашем случае правила графики и правила орфографии вступают в довольно сложное взаимодействие. Написание *господину* в значении ‘к господину’ является для данного писца графически корректным, будучи в то же время некорректным с точки зрения стандартных графико-орфографических норм; напротив, написание *остодинъ*, взятое как орфограмма (вне контекста), для этого писца (если допустить, что он произносил это слово с начальным *г*) графически некорректно, но корректно орфографически (ср. *сегодня*). В результате взаимное наложение графического правила и орфограммы дает написание, которое не соответствует в полной мере ни графическим правилам данного писца (поскольку не передается *г*), ни стандартной орфографии (поскольку не передается предлог *к*).

Перевод *ходилъ ѿсподину сѣъ мо(и)* как ‘Ходил к господину сын мой’ делает эту фразу синтаксически правильной и осмысленной. Кроме того, предложенная интерпретации придает фрагментарному тексту грамоты № 22 некоторую связность, так как можно предположить, что фраза на обороте грамоты *взялъ ·и· кадець пшениц[и]* ‘взял 10 кадей пшеницы’ также относится к сыну автора челобитья Лёнтия: начав грамоту со слов о том, что его сын ходил “к господину”, Лёнтий далее, излагая суть дела, сообщает о цели этого визита.

2. Грамота № 122 (←1410-1420→)

Данная грамота также относится к блоку текстов, имеющих отношение к братьям Есифу и Фоме.

слово добро ѿ ксифа брату фомѣ
не забудь льва о позвъѣ доръжи
а позвъале родивале падиногине
а иною все добро здорово а ть то помъни

В (ДНД₂: 644) фраза *Не забудь Льва о позвъѣ доръжи* переведена как ‘Не забудь Льва в связи с вызовом [на суд] ...’. Сегмент *доръжи* Зализняк оставил без перевода, отметив (*там же*):

Отрезок *до ръжи* (или *доръжи*) остается темным. Возможны версии: а) *до ръжи* ‘ко ржи’, ‘по делу о ржи’ (с неясным *ь* в *ръжи*); б) *до р<т>жи* ‘для раздела’ (?) (от незасвидетельствованного слова *ръжа* ‘разрезание’, ‘раздел’; заметим, однако, что других примеров замены *т* на *ь* в блоке нет); и в ‘а’, и в ‘б’ несколько странный предлог *до*; в) *доръжи* ‘держи’ (ср. сев.-в.-русс. *доржати* ‘держать’ [СРНГ, 8]; но смысл фразы в этом случае неясен).

Все три предложенных здесь варианта перевода имеют один общий недостаток: они не объясняют употребление графемы ‘о широкое’ после согласной буквы, т.е. в

слоге типа CV¹¹. Д.В. Сичинава (Гиппиус, Сичинава 2021: 188-189) высказал предположение, что

[у]потребление широкого *o* можно объяснить в рамках графической системы блока тем, что Есиф имел в виду фонетический и графический облик словоформы ‘ржи’ как *оръжи* с протетическим *o* (ср. известное по письменным памятникам с XVI в. *оржаной*), и тогда запись *доръжи* может интерпретироваться как гиперкорректная запись слияния предлога с этим *o*, подобно *досени* 724, при том что для протезы после предлога, разумеется, фонетически нет основания.

Данная гипотеза вызывает сомнение как с точки зрения фонетики, так и с точки зрения графики. Что касается фонетики, Сичинава справедливо отмечает, что протетическое *o* невозможно после предлога. Что же касается графики, гиперкоррекцию (впрочем, весьма необычного характера) можно было бы предполагать в том случае, если бы написания типа *оръжи* были нормой для берестяной письменности начала XV в. В действительности, однако, подобные написания не встречаются в берестяных грамотах ни разу (хотя слово *рожь* – весьма частотное). Кроме того, гипотеза Сичинавы также не объясняет употребления ‘*o* широкого’ после согласной буквы.

Как мне представляется, следует исходить из того, что ‘*o* широкое’ в данном написании, как и всегда, обозначает слог типа V. Слоги типа V (если речь не идет о начале текста) всегда следуют за гласной буквой. Если в данном случае гласная перед ‘*o* широким’ отсутствует, значит, она пропущена. Можно предположить, что в записи *доръжи* перед *o* пропущена буква *a*, т.е. речь идет о союзе *да*. Это обычный сочинительный союз у Есифа, ср.: *цо бѣ жси прислалъ восъку да мѣла да овъцини* ‘Прислал бы ты воску да мыла да овчины’. В таком случае фраза имеет вид: *Не забудь Льва o позвъть д[а] o ръжи*, перевод: ‘Не забудь Льва в связи с вызовом [на суд] и в связи с рожью, или, в более разговорном варианте: ‘Не забудь про Льва насчет вызова в суд и насчет ржи’.

Писцу грамоты № 122 принадлежат также грамоты № 19 и 129. Все три грамоты содержат довольно много описок, исправлений и пропусков букв (ДНД2: 645). Впрочем, все пропущенные буквы (их всего четыре) позже были вписаны над строкой. Естественно, возникает вопрос, почему это не было сделано в случае с записью *доръжи*. Причина этой непоследовательности может заключаться в следующем. Там, где писец внес исправления, в двух случаях были пропущены буквы в именах самих Есифа (грамота № 129) и Фомы (грамота № 122), т.е. в именах автора и адресата грамот. Подобные огрехи были бы явным нарушением норм эпистолярного этикета. Два других пропуска произошли на одном коротком отрезке грамоты № 19: вместо

¹¹ Ранее графема *o* читалась также в словоформе *здѣсо* грамоты № 19 (ДНД2: 644), написанной тем же почерком, что и грамоты № 122, 129. Однако позднее в чтение была внесена поправка, согласно которой “перед нами в действительности не *o*, а ожидаемое в этом слове *e*” (НГБ XII: 197-198).

ино бѣ добро ‘то было бы хорошо’ первоначально было написано *ибѣдобро*. Оставленный в таком виде, текст представлял бы собой полную бессмыслицу. Что же касается пропуска буквы во фразе *Не забудь Льва о позъвъ д[а] о рѣжи*, то здесь у читателя, знакомого с обстоятельствами, о которых идет речь, вряд ли могло возникнуть какое-либо недопонимание. По-видимому, по той же причине Есиф оставил без исправления опisku в слове *блудила* (вм. *блудила*) в грамоте № 129, ср.: *Да пересльшиваи о Таньи, цо бѣ не блудила цого зра*.

Замечу, что предложенная версия не только решает загадку ‘о широкого’ в грамоте № 122, но и устраняет “несколько странный”, по Зализняку (ДНД2: 644), предлог *до* в обороте *позов до ржи*.

3. Грамота № 1121 (←1120-1140)

...
 ... [: и а]з[ъ] крале бѣбры : про дан[ъ] :и: грѣве :
 въ бѣб[рѣ]хъ : а се крали :[к]: мѣ[х]ъ ж милоѣ
 ---- --мѣ тать въ(...)(грв)[ноу] .:

По словам А.А. Гиппиуса (2020: 32), “[п]еред нами фрагмент протокола рассмотрения нескольких дел о кражах меховых шкур. Это древнейший образец русской судебной документации”.

Для фрагмента [: и а]з[ъ] крале бѣбры : про дан[ъ] : и : грѣве : въ бѣб[рѣ]хъ в цитированной статье даны два варианта перевода, и оба не лишены проблем.

Первый вариант представлен в переводе: “...и я украл бобров (про дань – 8 гривен в бобровых шкурах)” (*там же*). Отмечая сходство этого фрагмента с “расспросными речами”, хорошо известными из русских приказных документов XVI-XVII вв., Гиппиус пишет (*там же*):

Предложенный перевод предполагает, что слова *и азъ крале бѣбры* – это прямая речь пойманного вора, а фраза *про дан[ъ] :и: грѣве въ бѣб[рѣ]хъ* – рубрика, резюмирующая содержание этой речи, записанной в протокол не полностью.

Однако в статье не приводятся примеров подобного рода резюмирующих рубрик в приказной документации, да в них, по-видимому, и не было нужды: “расспросные речи” в принципе представляли собой не стенограмму, а как раз-таки резюме “речей” подозреваемых. Очевидно, что данная в переводе бюрократическая помета в скобках – попытка преодолеть синтаксическую бессвязность текста, однако такая попытка оправдана лишь при отсутствии более простых решений.

Второе из предложенных в (Гиппиус 2020: 32) истолкований интересующего нас фрагмента таково (*там же*):

Вместо [и азъ] можно прочесть [мхъ], а отрезок *продань* трактовать как И. ед. муж. страдательного причастия от *продати* в значении ‘оштрафовать’. В таком случае по-

лучаем: [лахъ] <-хе> краде бобры: проданъ <-не> :и: грѣве въ бѣб[рѣ]хъ, то есть ‘Лях украл бобров, подвергнут штрафу в 8 гривен за кражу бобров’.

Впрочем, Гиппиус (*там же*) тут же отметил недостаток этой версии, а именно

необходимость предполагать двукратную замену *e* на *ь* – при том что в четырех надежных случаях этимологический *e* записан как *e*. Единственное возможное отклонение от графического стандарта в тексте грамоты состоит в обратной замене *ь* на *e* в *гр[ѣ]ве* (если видеть в этой записи сокращение словоформы <гривень>, хотя здесь нельзя исключать и раннего прояснения сильного *ь*).

Однако это не единственное препятствие, с которым сталкивается данное истолкование. Не менее серьезные проблемы связаны, опять-таки, с синтаксисом. ‘Лях украл бобров, оштрафован, 8 гривен в бобрах’ – подобная последовательность лишенных синтаксической связи сухих лаконичных фраз весьма необычна для древнерусской письменности: недостает сочинительного союза перед причастием *проданъ* (например, *a*) и предлога, соединяющего это причастие с указанием суммы, на которую оштрафован Лях. Ср. в *Повести временных лет* по списку Ипатьевской летописи: *аще оудари(т) мечемъ или копьемъ . или кацъмъ инымъ съсудо(м). Русинъ Гръчина. или Гръчинъ Русина. да того дѣла грѣха заплатити серебра литръ . ѿ . по закону Рускому. аще ли есть неимови(т). да како можетъ въ толко же и проданъ будетъ. тако да и порты в нихъ же ходити и то с него снати* (945, л. 20 об.). В Гиппиус 2002: 92 справедливо указано, что причастие *проданъ* в данном случае образовано от глагола *продати* в значении ‘наложить штраф, оштрафовать’ и что соответствующая фраза должна переводиться: ‘пусть будет оштрафован на стоимость всего, чем владеет’. Аналогичным образом и в грамоте № 1121 при причастии *проданъ* в значении ‘оштрафован’ ожидался бы предлог *въ* с именной группой в винительном падеже (‘продан в 8 гривен’).

Между тем возможно еще одно, до сих пор не рассматривавшееся истолкование данного фрагмента. Известно, что в древнерусском языке у предлога *про* широко представлено значение ‘из-за, по причине’ (СДРЯ XI-XIV 8: 673-674; СЛРЯ XI-XVII 20: 93)¹², ср., например: *аже г(с)нѣ бѣжеть закоупа про дѣло. то без вины жеть* (*Русская Правда*, сп. 1285-1291 гг., 624а, цит. по: СДРЯ XI-XIV 8: 673); *стрѣльцемъ стр[ла] ющи(м)са обоимъ межи собою. полкома. и не догъхавше Мстиславичи повергоша стлгъ и побгъгоша <...> и про то мнози оубгъжаша. тако и не рознати ратны(х) бѣ ту* (*Лавр.*, 1176 г., л. 127); Следовательно, фрагмент *и ѡз[ъ] краде бобры : про дан[ь] :и: грѣве : въ бѣб[рѣ]хъ* может быть переведен как ‘Я украл бобровые шкуры из-за дани, 8 гривен в бобровых шкурах’. Вор сознается в краже, но одновременно пытается смягчить свою вину, заявляя, что совершил преступление из-за того, что не имел денег для уплаты дани. Подобные оправдания, разумеется, отнюдь не редкость в судебных докумен-

¹² Ср. также Пичхадзе 2011: 126-127.

тах, ср., например: *И тот крестьянин Овсяничко в роспросе сказал, пошол деи он был красть з бѣдности, а наперед деи сего он тое клетки не крадывал* (Дело о покраже клетки, 1611 г., цит. по: Любавский 1912: 108). Если предложенная интерпретация верна, то рассматриваемый фрагмент имеет типичную для древнерусского не книжного языка структуру “вначале главная часть сообщения, затем уточнения” (ДНД₂: 190). При этом главная часть (*и Ѧ]з[ѣ] краде бѣдры : про дан[ѣ]*) оказывается синтаксически правильной конструкцией.

Сокращения

ДНД ₁ :	А.А. Зализняк, <i>Древненовгородский диалект</i> , Москва 1995.
ДНД ₂ :	А.А. Зализняк, <i>Древненовгородский диалект</i> , Москва 2004 ² .
НГБ II:	А.В. Арциховский, <i>Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.)</i> , II, Москва 1954.
НГБ IX:	В.Л. Янин, А.А. Зализняк, <i>Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984-1989 гг.)</i> , IX, Москва 1993.
НГБ X:	В.Л. Янин, А.А. Зализняк, <i>Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990-1996 гг.)</i> , X, Москва 2000.
НГБ XII:	В.Л. Янин, А.А. Зализняк, А.А. Гиппиус, <i>Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 2001-2014 гг.)</i> , XII, Москва 2015.
СДРЯ XI–XIV:	<i>Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.</i> , I–XIII-, Москва, 1988–2023-.
СЛРЯ XI–XVII:	<i>Словарь русского языка XI–XVII вв.</i> , I–XXXII-, Москва, 1975–2023-.
СРНГ:	<i>Словарь русских народных говоров</i> , I–LII-. Москва–Санкт-Петербург, 1965–2023-.

Литература

Бодуэн де Куртэне 1912:	И.А. Бодуэн де Куртэне, <i>Об отношении русского письма к русскому языку</i> , Санкт-Петербург 1912.
Буров 1979:	В.А. Буров, <i>Заметки о новгородских берестяных грамотах</i> , “Советская археология”, 1979, 1, с. 218–227.
Васильев 1908:	Л.Л. Васильев, <i>О влиянии нейотированных гласных на предыдущий открытый слог. Главы I–III</i> , “Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук”, XIII/3, 1908, с. 181–255.

- Гиппиус 2002: А.А. Гиппиус, *О критике текста и новом переводе-реконструкции "Повести временных лет"*, "Russian Linguistics", XXVI, с. 63-126.
- Гиппиус 2020: А.А. Гиппиус, *Берестяные грамоты из раскопок 2019 г. в Великом Новгороде и Старой Руссе*, "Вопросы языкознания", 2020, 5, с. 22-37.
- Гиппиус 2024: А.А. Гиппиус, *Берестяные грамоты из раскопок 2023 г. в Великом Новгороде и Старой Руссе*, "Вопросы языкознания", 2024, 4, с. 7-26.
- Гиппиус, Зализняк 2018: А.А. Гиппиус, А.А. Зализняк, *Берестяные грамоты из раскопок 2017 г. в Великом Новгороде и Старой Руссе*, "Вопросы языкознания", 2018, 4, с. 7-24.
- Гиппиус, Сичинава 2021: А.А. Гиппиус, Д.В. Сичинава, *Поправки и замечания к чтению ранее опубликованных берестяных грамот [XIII]: предварительная публикация*, "Русский язык в научном освещении", 2021, 2, с. 178-259.
- Живов 2017: В.М. Живов, *История языка русской письменности*, I-II, Москва 2017.
- Зализняк 1979: А.А. Зализняк, *О понятии графемы*, в: Т.В. Цивьян (ред.), *Valcanica. Лингвистические исследования*, Москва 1979, с. 134-152.
- Зализняк 1990: А.А. Зализняк, *Огосподинъ*, в: В.В. Иванов (ред.), *Вопросы кибернетики. Язык логики и логика языка (Сборник статей к 60-летию В.А. Успенского)*, Москва 1990, с. 6-25.
- Зализняк 2002: А.А. Зализняк, *Древнерусская графика со смешением ъ – о и ь – е*, в: "Русское именное словоизменение" с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию, Москва 2002, с. 577-612.
- Любавский 1912: М.К. Любавский (ред.), *Смутное время Московского государства*, "Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете", I, 1912, Москва 1912.
- Петрухин 2020: П.В. Петрухин, *Чтение по складам и графико-орфографические особенности древнерусских берестяных грамот*, "Slověne", IX, 2020, 2, с. 103-128.
- Петрухин 2023: П.В. Петрухин, *Берестяные грамоты как отражение перехода восточных славян от дописьменного общества к письменному*, в: С.М. Михеев, Д.В. Сичинава (отв. ред.), *От сорочка к Олехше. Сборник научных статей к 60-летию А.А. Гиппиуса*, Москва 2023, с. 195-212.
- Пичхадзе 2011: А.А. Пичхадзе, *Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект*. Москва 2011.

- Успенский 1970/1997: Б.А. Успенский, *Старинная система чтения по складам (Глава из истории русской грамоты)*, в: Он же, *Избранные труды*, III (*Общие и славянское языкознание*), Москва 1997, с. 246-288.
- Успенский 2002: Б.А. Успенский, *История русского литературного языка (XI-XVII вв.)*, Москва 2002².
- Черепнин 1969: Л.В. Черепнин, *Новгородские берестяные грамоты как исторический источник*, Москва 1969.
- Шахматов 1886: А.А. Шахматов, *Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV века*, Санкт-Петербург 1886 (= *Исследования по русскому языку*, I, СПб., 1885-1895, с. 127-285).
- Щерба 1957: Л.В. Щерба, *Теория русского письма*, в: Он же, *Избранные работы по русскому языку*, Москва 1957, с. 144-179.
- Янин 1998: В.Л. Янин, *Я послал тебе бересту...*, Москва 1998³.
- Hammerich, Jakobson 1970: L.L. Hammerich, R. Jakobson (eds.), *Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian, Pskov, 1607*, II, Copenhagen 1970.

Abstract

Pavel V. Petrukhin

Notes on the Novgorod Birchbark Letters (Letters n° 22, 122, 1094, 1121)

The article offers corrections to the reading of a number of Novgorod birchbark letters, as well as some general observations about the language of East Slavic birchbark letters. It is argued that taking into account some general peculiarities of East Slavic birchbarks' graphics and orthography, in particular, the differences between syllables of the type V and syllables of the type CV, can help eliminate errors in reading and interpreting texts.

Keywords

History of Russian Language; Birchbark Letters; Graphics; Orthography.

Дмитрий Михайлович Буланин

Третья книга Ездры в религиозной мысли Московской Руси

1499 г. считается значимой вехой в истории восточного христианства. Этим годом датирована *Геннадиевская Библия*, первый у православных славян полный свод книг Ветхого и Нового Заветов (Горский, Невоструев 1855: 1-164; Алексеев 1999: 195-201). Свод представлял собой структурную копию латинской Библии, с тем единственным отличием, что для наполнения заимствованной структуры использовались, по мере возможности, тексты, имевшиеся уже в багаже славянской письменности. То, чего в ней не хватало, восполнялось делавшимися специально для свода переводами по Вульгате. К латинским источникам восходят в *Геннадиевской Библии* и вспомогательные статьи, и маргиналии. Нельзя, однако, оценивать памятник вне исторического контекста. Работа над кодексом отвечала требованиям конкретной ситуации, сложившейся в Новгороде в последние десятилетия XV в. Архиепископ Геннадий стремился обеспечить русскую книжность авторитетными текстами для противостояния еретикам (действительным или мнимым – не столь важно в данном контексте), которых обвиняли в извращении Священного Писания. Чтобы дать отпор инакомыслящим, владыке понадобилось придать надлежащий вид и собрать в комплект все книги на церковно-славянском языке, составляющие библейский канон. Когда закончилась антиеретическая кампания, о своде 1499 г. благополучно забыли. Симптоматично, что вспомнили о нем не в Москве, а в Литовской Руси, где труд геннадиевских книжников лег в основу *Острожской Библии* 1581 г. Что касается Московской Руси, там библейские тексты, как и раньше, циркулировали в письменности в виде разрозненного множества. Положение вещей не изменилось и в последующие годы, когда средневековая эпоха осталась в прошлом. Тиражи Библии, какие заказывали и распределяли официальные инстанции, никак не отображают интересы читателей (ср. другое мнение: Алексеев 2019: 215). Библия с полным составом Ветхого и Нового Заветов никогда не получила в русском изводе православия того значения парадигмы христианской книги, какое она имеет в культурах, находящихся в сфере влияния католической и протестантских церквей. "Библию народ не читает, в народе она почти неизвестна", – отмечал в 1917 г. И.Е. Евсеев (1917: 2), лучший в то время знаток предмета.

Счастливей, чем у Геннадиевского свода, сложилась судьба отдельных вошедших туда книг, в том числе впервые переведенных для кодекса 1499 г. по Вульгате. Архиепископ, в интересах обороны от еретического соблазна, спешил разослать по монастырям,

которые поддерживали его церковную политику (в первую очередь, в Иосифо-Волоколамский и Кирилло-Белозерский), осуществлявшиеся по его указанию переводы. Он распространял их, не дожидаясь момента, когда те или иные книги займут свое законное место в библейском кодексе. В дальнейшем их копировали как самостоятельные произведения. Из всех переведенных с латыни библейских текстов наибольший интерес вызвала у древнерусских книжников 3-я книга Ездры. Популярность произведения нисколько не удивляет. Она объясняется его содержанием: по своему жанру книга относится к апокалиптической литературе, с присущими памятникам такого рода символическими предсказаниями, таинственными видениями и яркими образами. Скрытый смысл видений Ездры растолковывают ему ангелы. Как целое книга сложилась после Рождества Христова. Считается, что начальные и конечные ее главы присоединили к более древней центральной части текста. Полагают, что оригинал книги был написан на древнееврейском языке, но оригинал утрачен, как и сделанный с него перевод на греческий. К несохранившемуся греческому восходит тот латинский перевод, с которым пришлось иметь дело литераторам Новгородского архиепископа. Тридентский собор отнес 3-ю книгу Ездры (в латинской традиции она числится как 4-я книга) к разряду неканонических, сейчас ее не включает в канон и православная церковь. Но в Древней Руси ее сакральный статус не подвергался сомнению. Памятник был опубликован и в *Острожской Библии*, и в *Московской Библии* 1663 г. издания.

Интерес к апокалиптической литературе всегда обостряется в годы политических и религиозных катаклизмов, в переходные культурные эпохи. Переходным, или даже переломным, стал тот период русской истории, на который пришлась трансформация Московского княжества в Московское царство. Такая метаморфоза потребовала коренных изменений в религиозных представлениях – главных для средневекового человека. На протяжении всего XVI в. московские идеологи трудились без устали, конструируя достойный образ новосозданной державы. Литературе отводилась первенствующая роль в генерации такого образа. Он должен был соответствовать новому амплу Москвы как единственного уцелевшего в волнах истории “священного царства”, назначенного Провидением спасти гибнущее человечество накануне Светопреставления. Первые демонстративные шаги в обоснование вселенских претензий подобного рода делались еще в конце XV в., в те самые годы, когда литераторы Геннадия переводили и комплектовали свой библейский свод. Закономерно, что отклики на 3-ю книгу Ездры стали появляться одновременно с завершением ее перевода. Речь идет о миниатюре, находящейся в рукописи *РНБ, Погодина, 84*. Рукопись по-своему уникальна. Она содержит те именно тексты, которые для *Геннадиевской Библии* были переведены с латинского языка. Хотя Погодинская рукопись датируется 1560-ми гг., считают, что она точно воспроизводит черновик перевода (Ромодановская 2005). В рукописи есть одна-единственная миниатюра на л. 234, и эта миниатюра иллюстрирует 3-ю книгу Ездры – бывшее пророку видение, пятое по счету.

Перед взором Ездры из моря поднялся орел с двенадцатью крылами и о трех головах, означающих злые царства. На смену одного царства приходило другое, но

потом из леса выбежал лев, изрекший орлу приговор Всевышнего. Кончилось дело тем, что тело орла сгорело. На миниатюре изображен слева погрузившийся в сон визионер, справа – поднявшийся на задние лапы лев под короной, а весь задний план занимает орел с короной на каждой из трех голов. Скорее всего, рисунок воспроизводит какую-то западноевропейскую гравюру. Оригинал рисунка был сделан при дворе Геннадия, для Погодинского кодекса с того оригинала сняли копию. Пятое видение Ездры (гл. 11-12) – самое знаменитое из семи, описанных в книге. Толкователи текста многократно пытались примерить образы орла и льва к одному или другому земному царству. Не приходится сомневаться, что иллюминатор или заказчик миниатюры, в свою очередь, усматривал в ее персонажах какие-то скрытые исторические аналогии. Вопрос лишь в том – какие именно. Некоторую популярность у специалистов приобрела концепция, впервые сформулированная Д. Стремоуховым. Он полагал, что орел в видении Ездры послужил основой для представления о Москве как Третьем Риме (Strémooukhoff 1953). По мнению ученого, идея зародилась в среде, оппозиционной по отношению к Москве. Антимосковские настроения, отразившиеся, например, в Псковских летописях, распространялись в конце XV-начале XVI в. в Новгороде и Пскове после насильственного их подчинения великому князю. Слабым местом в таком построении является его откровенная политизированность, малопригодная для интерпретации религиозных идей. Еще бросается в глаза умозрительный характер доказательной базы (ссылки на такие поздние тексты, как *Повесть о белом клобуке* в пространной редакции, *Сказание о зачатии Москвы и Крутицкой епископии*, *Повесть о псковском взятии 1510 г.* в варианте с интерполяцией, не добавляют убедительности аргументам). Данная концепция, поддержанная, хотя и с разными оговорками, Я.С. Лурье и Ч. Де Микелисом (Лурье 1960; De Michelis 1986), подверглась сокрушительной критике в книге Н.В. Сеницыной (Сеницына 1998: 252-263). Она справедливо настаивает на религиозном, никак не политическом содержании формулы *Москва – Третий Рим*. Исследовательница отметила и то, что до недавнего времени интерпретация формулы базировалась на позднейшем чтении в *Послании* Михаила Мисюря Мунехина, и то, что у сторонников взглядов Д. Стремоухова возникает непреодолимое противоречие между отрицательной характеристикой третьего царства (третьей головы орла) в 3-й книге Ездры и безусловно апологетическим содержанием московской формулы.

Соглашаясь в целом с возражениями Н.В. Сеницыной, не будем все же спешить и вычеркивать из совокупности многих элементов, создавших питательную среду для пресловутой теории *Москвы – Третьего Рима*, того орла и того льва, какими они предстают в видении Ездры и в иллюстрирующей его картинке. Отличительной чертой символической экзегезы (именно она реализуется в *translatio imperii*, согласно московскому изводу этой теории) является произвольность устанавливаемой ею связи между образом и его семантикой. При символической экзегезе нравственный императив часто утрачивает свою силу. В случае с орлом стоит еще отметить полисемию его образа в библейских и славянских текстах. Стоит еще вспомнить, что 1497 г.

датируется документ, скрепленный печатью Ивана III. На реверсе печати изображен двуглавый орел, каждая из голов которого увенчана короной. Стоит, наконец, не забывая (и это верно отметил Д. Стремоухов), что христианская традиция вкладывала в само понятие империи (русским его эквивалентом стало “священное царство”) как положительное, так и отрицательное значение. В такой перспективе замена отрицательного знака на положительный не кажется чем-то невероятным: орел, потерявший одну за другой свои головы, хотя и соотносился в видении Ездры с отверженным Богом царством, не переставал быть символом власти (ср. ниже в панегириках эпохи барокко). С другой стороны, мы убедимся в дальнейшем, что в русской средневековой литературе публицистического характера с образом орла из 3-й книги Ездры все-таки прочно срослись как раз отрицательные коннотации.

Двадцать лет спустя после появления Геннадиевской Библии к 3-й книге обратился Федор Карпов, московский аристократ и видный интеллектуал, хорошо знавший переводчиков распавшегося к тому времени Геннадиевского кружка. Карпов адресовал недавно прибывшему с Афона Максиму Греку специальное *Послание* с просьбой растолковать ему некоторые пассажи библейской книги (Максим Грек, I: 337-339). Его смущал читающийся там в гл. 6 рассказ о Сотворении Мира, расходящийся с тем, что говорится в Книге Бытия. У Ездры написано, что в третий день Бог собрал воду в седьмую часть земли, а шесть частей осушил. В пятый день, говорится далее, когда созданы были пресмыкающиеся и птицы, Творец сохранил с ними два живых существа – Еноха на осушенной части земли, а Левиафана в воде, собранной в седьмой части. Бог сохранил их, чтобы отдать на пропитание тем, кому он почитает нужным (комментарий к библейскому тексту см.: Stone 1990: 186-188; Orlov 2023). Кроме того, Карпова волновало, можно ли считать Ездру пророком на том основании, что он оставил ясные предсказания о явлении Спасителя. Интересы Карпова к тексту Ездры созвучны религиозным переживаниям его эпохи: еретики, как заявляли их гонители, отрицали прообразовательное значение Псалтири, возможность типологического ее толкования. А “правильность” Сотворения Мира демонстрировала, по представлениям людей того времени, предустановленность всей последующей его судьбы, в чем на крутых поворотах истории важно было еще раз убедиться.

И здесь возникает текстологическая проблема. Цитаты из Ездры в послании Максиму Греку точно воспроизводят перевод *Геннадиевской Библии*. А в ней переводчик 3-й книги камуфлировал (не обязательно сознательно) участь Еноха и Левиафана, назначенных стать “блюдам” на мессианской трапезе. В тексте 1499 г. придаточное предложение поставлено в зависимость от слова “часть”: “дал еси седьмую часть мокра и держал еси ея, да будет в пожрение которых хочещи и коли хочещи” (*ГИМ, Синодальное, 915, л. 317 об.*). Между тем, в Вульгате судьба того и другого творения определена недвусмысленно: *et servasti ea, ut fiant in devorationem quibus vis et quando vis* (3[4] Ez. 6:52). Обратившись к истории латинского текста, выясняем, что на этом месте не согласны между собой уже старшие списки Ездры: в списках так называемой испанской группы читается Бегемот (Behemoth), а в

списках французской группы – Енох (Enoch) (Vensly 1895: 24). Что касается более поздней славяно-русской традиции, обречь Еноха на съедение никто из переписчиков и редакторов так и не решился. В *Острожской Библии*, для которой перевод 3-й книги активно правился, главным образом, насыщался книжными элементами (Вернер 2022)¹, в текст внесено небольшое исправление: имя Еноха осталось в неприкосновенности, но в пищу отдается здесь один Левиафан: “и дръжал еси его”. Исправление воспроизведено в Библии 1663 г. и в *Елизаветинской Библии* 1751 г. Одного Левиафана оставляет для трапезы избранных и Синодальный перевод, но тут, наконец, Еноха заменяет Бегемот.

Как бы то ни было, Карпову показалось странным упоминание в данном контексте праведного Еноха, имя которого хорошо знал всякий русский книжник. А вот о том, кто такой Левиафан, автор послания, возможно, не имел представления. Он писал Максиму Греку: “О том, отче, молю твою честность разрешити сия: о воде, и о земли, и о Еносе и о Еливиафаме”. Что же ответил ему старец? И средневековые писцы, и современные исследователи не сомневались, что ответом Максима Грека нужно считать отрывок, озаглавленный *О Елевиафанте* (Максим Грек, I: 335-336). Его копировали и издавали вместе с *Посланием* Карпова. Теперь установлено, что отрывок не имеет отношения к Максиму Греку, но представляет собой выдержку из русского перевода *Троянской истории* Гвидо де Колумна². Весьма вероятно, ответного письма Карпов так и не дождался, и вот почему. Адресат Послания, скорее всего, не нашелся, что ответить своему корреспонденту. Для Максима Грека авторитетом высшей инстанции всегда оставалась Септуагинта, но там отсутствовала 3-я книга Ездры. Примечательно, что переведенный Максимом Греком фрагмент из 2-й книги Ездры (гл. 3-4: 1-47) о споре телохранителей Дария не имеет ничего общего с переводом Геннадиевской Библии (Иванов 1969: 67)³. С ней он то ли не был знаком, то ли сознательно игнорировал находящиеся в ней переводы. Текстом Септуагинты как источником всех славянских переводов, сделанных до *Геннадиевской Библии*, объясняется, в свою очередь, плохая осведомленность собственно московских книжников о том, кто такой библейский Левиафан. В Септуагинте загадочное чудовище обозначалось словом *δράκων*, а стандартным эквивалентом к нему стало у переводчиков “змий”. Имя Левиафана славянские начетчики могли встретить в нескольких переводных произведениях (*Слово на Богоявление* Григория Богослова, *Откровение Авраама*) (СлХI-XVII, VIII: 184), но трудно сказать, соотносили ли они его с библейским контекстом.

¹ В опубликованном И. Франко фрагменте (3 Езд. 12: 1-39) из сборника конца XVI-начала XVII в., текст *Острожской Библии* подвергся дополнительной архаизации (Франко 1907).

² Отрывку из *Троянской истории* автор настоящих слов посвятит самостоятельное исследование.

³ История о состязании телохранителей и позднее распространялась как самостоятельный сюжет. Ср. в проповеди Андрея Денисова, основателя Выговского общежития, на Прит. 16:24 (Журавель 2012: 361-362).

Сам Максим Грек в начальные годы своего пребывания в Москве настойчиво употреблял грецизм. При этом слово “дракон” он использовал не только в собственных сочинениях (Максим Грек, I: 257, 261) и переводах. Он ставил его также на месте “змий” в существовавших издавна славянских переводах. В Толковой Псалтири, с которой начались его писательские труды в Москве, вариант “дракон” находим, помимо переведенных старцем толкований, в самом псалтирном тексте (см. Пс. 73:13; 73:14; 90:13; 103:26; 148:7), где в целом довольно точно воспроизводится старая славянская редакция (*киприановская*) библейской книги (MacRobert 2018). Напротив, в той Псалтири, перевод которой Максим пересмотрел на закате своей жизни в совместных занятиях с Нилом Курлятевым в 1552 г., он везде возвращается к славянскому термину. Интересно, что один раз к слову “змеи” в Пс. 148:7 дана на полях маргиналия “драконы” (Вернер 2019: 852). Использование здесь множественного числа симптоматично: налицо та же деперсонификация образа Левиафана, которую отмечают в словоупотреблении Септуагинты (она отчетливо видна в Ис. 27:1: ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν φεύγοντα, ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν σκολιόν). Оказиональное употребление грецизма можно найти и в других древнерусских текстах. В XVII в. его со свойственной ему запальчивостью отстаивал, ссылаясь на Максима Грека, Евфимий Чудовский, который считал понятие “змий” родовым, а понятие “дракон” видовым (Успенский 2002: 463-464; Пентковская 2016а: 205-206; Пентковская 2016б: 40-41). В каких-то случаях, быть может, к первой или ко второй лексеме прибегали как к эвфемизмам, чтобы лишний раз не упоминать имени Левиафана. Ибо само слово могло толковаться как одно из имен дьявола (как и имя Бегемота, парного к Левиафану сухопутного чудовища, впрочем, не известного древней славянской письменности)⁴. Сошлемся на комплекс текстов, которые сопровождают в ряде рукописных сборников сочинения Максима Грека и которые с большой долей вероятности ему атрибутируются: “Левиафан еврейски, а по-русски Сатана, а гречески противник” (*БАН*, л.5.97, л. 235 об.)⁵.

Рассказ 3-й книги Ездры о сохранных Творцом в пятый день Енохе и Левиафане нашел, помимо Федора Крапова, и других заинтересованных читателей. В первом (старшем) типе *Азбуковника*, древнерусской разновидности словаря-тезауруса, сложившейся на рубеже XVI-XVII вв., имя Левиафана (“Левиафама”) объясняется со ссылкой на сборник слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского (“царь сущим в водах”), но на полях выставлено дополнительное указание на 3-ю книгу Ездры (в *Азбуковнике* ошибочно – 2-я), гл. 6 (Ковтун 1989: 223). Указание имеет тем бóльшую ценность для исследователя, что это единственный случай использования какой-либо из книг Ездры на страницах древнерусского словаря. Составители второго типа *Азбуковника*, самого распространенного в рукописях, пошли дальше

⁴ По мнению Ю.М. Лотмана, против такого именно понимания имен Левиафана и Бегемота была направлена *Ода, выбранная из Иова* М.В. Ломоносова (Лотман 1996).

⁵ Ср. еще одно толкование – “отступник” в статье *Σατανᾶς*, переведенной Максимом Греком из *Лексикона Свиды* (Буланин 1984: 177, № 90).

(перечень списков см.: Коваленко 2018: 48-49). Они привели цитату по Ездры и даже сопоставили ее с рассказом из Книги Бытия:

А в третьих книгах Ездры в 6-й главе Левиафама наричет душу сущим в водах, рече бо: 'И тогда сохранил еси, Господи, души и едино имя назвал еси Левиафам.' Тако же и Моисей, израильтеский законодавец, в первой книзе подобно некако сему написа, глаголя: 'И рече Бог: да изведут воды душа гадам живых, и прочее'" (РГБ, ф. 173/III, № 93, л. 101 об.-102).

Отметим, что вводившее читателя в соблазн известие о Енохе составители благоразумно опустили. В одной из популярных в древности вопросо-ответных (эро-тапокрифических) статей, развившихся из *Беседы трех святителей*, находим такой вопрос: "Кои души две прежде Адама сотворены, и како им имя, и когда им откровение будет?" Ответ гласит: "Прежде Адама сотвори Бог две души: единой имя Енох, а второй Алнафам (!), и повеле Еноху Господь землю владеть, Алнафаму – морем, и по сих сотвори Адама и уготова ему рай" (Забелин 2005: 992).

О замешательстве, которое вызывало все то же известие о "двух душах", узнаем из произведения князя Семена Ивановича Шаховского, заметной фигуры среди литераторов первой половины XVII в. На его разностороннем творчестве лежит отпечаток мировоззренческого кризиса, пережитого подданными Московского царства в Смутное время. Закономерно, что писателей той эпохи волновали все те же вопросы о начале и конце Мироздания. Произведение Шаховского помещено в сборнике его сочинений под маловыразительным заголовком *Вопросих некоего любомудреца о неудобобразумных вещех. Тогожде* (РГБ, ф. 173/I, № 213, л. 329-331)⁶. Автор задает не названному по имени адресату три вопроса, касающихся трудных для понимания, а потому не дававших ему покоя пассажей в библейских известиях о Сотворении Мира (Ляпин 2022). Первым ставится вопрос о том, кто же они такие Енох и Левиафан:

Вопросих твоего богоразумия онаго дня на беседе некоего благочестива мужа о недоуменных мне вещех, еже обретается в третьих книгах священника Ездры, сына Захариева, в главе десятой (!): 'В пятый, рече, день рекл еси седмой части, где бысть вода собрана, да сотворят животная, и летящая, и рыбы. И тогда, рече, сохранил еси две души, имя единой назвал еси Енох, и имя второй назвал еси Левиафам.' Ты же рекл еси не Енох, но инак некако. И сего ради дозрех в книзе бытейстей, и тако суть, яко и онагда рех ти. И по сем молю ти ся: разреши мое недоумение о тех двою животных, что есть Енох и что Левиафам, и чесо ради разлучи Бог единаго от другого? 'И не бо, рече, можаше седмая часть, где бысть вода собрана, снести их. И дал еси Еноху едину часть, иже (испр., в ркп. ине) осушена есть, да обитает на ней, где суть гор тысяща. А Левиафаму же дал седмую часть мокра и держал еси его, да будет в пожрение их же хочещи и когда хочещи.' Что суть сия словеса разреши, молю ся.

⁶ Ср. в тождественном по составу сборнике РГБ, ф. 173/I, № 214, л. 440 об.-443 об.

В рассказе 3-й книги Ездры Шаховскому (и его бывшему собеседнику) бросились в глаза те же сомнительные для знающего Книгу Бытия нюансы, что и Карпову на сто лет раньше. Правда, автор XVII в., в отличие от своего предшественника, имел возможность читать *Острожскую Библию* (ее он и называет “книгой бытейстей”), что явствует из разночтений приводимых цитат относительно *Геннадиевской Библии* (ср. “их же хощеси и когда хощеси” против “которых хощеси и коли хощеси” в рукописи 1499 г.).

В литературе XVII в. 3-я книга Ездры была у всех на слуху. Повышенный интерес к ней связан с религиозным брожением, которое отличает духовную атмосферу Московской Руси в это время. Как и прежде, люди обращают мысленный взор к событиям, которыми отмечено начало Мира, и особенно к пророчествам, которые предрекают его конец. Характерно, что выписки из соответствующих глав сопровождают копировавшиеся тогда хронографы разных редакций (Андреев 1959: 106-107, 234). Начиная со второй половины XVII в., апокалиптические образы Ездры станут проходной темой у старообрядческих публицистов. Но тема оказалась востребованной и их оппонентами, что объяснимо. Изображение двуглавого орла на российском гербе служило неиссякаемым источником фантазии для барочных сочинителей, начиная с классиков силлабической поэзии Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева. Первый прямо называет царя орлом⁷, второй олицетворяет нарисованную на гербе символическую фигуру, так что под пером стихотворца орел, наравне с членами семьи и подданными, оплакивает умершего царя Феодора Алексеича (Новиков 1790: 98). Ассоциации с видением Ездры не смущали апологетов. В одной из своих Иверских декламаций (1660 г.) Симеон Полоцкий дает такое толкование трехглавому орлу Ездры (уничтоженные головы означают, согласно его объяснению, погибшие “слинску, и перску, и римское власти”), которое позволяет поэту уподобить царя Алексея Михайловича орлу, но орлу особенному, отличному от увиденного Ездрой – “обновившемуся” (ср. Пс. 102:5). Так сравнение превращается в панегирик (Сазонова 2006: 722-723).

Наиболее оригинальную трактовку образа предложил ученейший Юрий Крижанич, которого называют первым идеологом панславизма. Явившийся в Москву в надежде вернуть схизматиков в лоно латинской церкви, Крижанич в 1661 г. был сослан в Тобольск. Там он написал самый знаменитый свой трактат, известный в историографии под условным названием *Политика*. В трактате, решительно отвергнув идею *translatio imperii*, автор заявляет, что Римское царство, во исполнение пророчества Даниила, безвозвратно погибло и восстановлению не подлежит. Правителям Руси негоже примерять к себе титул царя и римский герб. По мысли Крижанича, ассоциирующийся с Римом титул “царь” менее почетен, чем “король”, которым он и награждает русского самодержца. Само римское имя, считает он, навлекает проклятие

⁷ См. в ‘книжице’ Симеона *Гуль доброгласная* (Еремин 1953: 129-132). Ср. *Орел российский* – другую его ‘книжицу’, образец эмблематической поэзии, где образ орла вынесен в заголовок.

на его носителя, поэтому тот, кто называет “Русское королевство” Третьим Римом, не может быть другом этому “королевству”. Три головы орла в видении Ездры погибли подобно тому, как закончили свое существование три державы – Римское царство при Ромуле Августуле, Византия вместе с убитым турками василевсом Константином Палеологом, наконец, западная империя с последним венчанным “немецким царем” Карлом V (Тихомиров 1965: 288-297, 624-636). Некоторые новые мысли высказаны словоохотливым писателем в составленном десятилетием позже (1674 г.) сочинении, который издатели озаглавили как *Толкование исторических пророчеств*. Между прочим, пользуясь формулировками из *Donatio Constantini*, Крижанич отделяет от языческого Рима тот духовный и непоколебимый, который отдан был преемникам апостола Петра. “Ездриному пророчеству” отводится в новом сочинении целый раздел (Соколов 1891: 11-15). Здесь автор возвращается к несостоятельности идеи Третьего Рима, приписывая ее изобретение Константинопольскому патриарху Иеремии. Именно от его имени “великое Росийское царствие” объявлено Третьим Римом в *Уложенной грамоте* об учреждении русской патриархии (Catalano, Rašuto 1989: 187). С грамотой Крижанич познакомился по *Кормчей* в издании 1653 г. (Синицына 1998: 257-259). Писатель удивляется, как патриарху Иеремии не пришло в голову соотнести формулу *Москва – Третий Рим* с видением Ездры из 3-й книги. Отметим, что Крижанич, вероятно, взял с собой в Тобольскую ссылку латинскую Библию, ибо он, согласно принятому в ней счету, неизменно называет 3-ю книгу четвертой.

Старообрядцы оставили многочисленные отклики на видения Ездры, мы остановимся только на самых показательных из них. Сопrotивление церковной реформе с первых дней раскола и на протяжении всей его дальнейшей истории было проникнуто напряженным ожиданием конца света. Закономерно поэтому, что выписки, ссылки, толкования 3-й книги Ездры встречаются уже в произведениях, принадлежащих писателям из первого поколения старообрядцев. Безусловным авторитетом у них пользовался юродивый Афанасий, во иноках Авраамий. Единомышленники отдавали ему на суд свои писания. Подготовленный им в 1667-1669 гг. *Христианоопасный щит веры против еретического ополчения* представляет собой свод важнейших полемических сочинений противников никоновских “новин”, включая собственные писания составителя свода. Твердость в вере Авраамий доказал, приняв мученическую кончину: в 1672 г. он был сожжен на Болотной площади. Непосредственной причиной казни вольнодумца послужила написанная им на имя царя в резких тонах *Челобитная*. Указывая на несчастья, постигшие страну в наказание за нововведения Никона, автор напоминает о знамениях последних времен, которые ангел открыл Ездре (3 Езд. 5: 1, 8-10):

Придет, рече, время последнее, живущии на земли обременени будут даньми великими, и скрывается путь правды, и будет царство неплодно от веры, труси будут по местом, и огонь безпрестани опустится, и в сладких водах сланы обрящутся. И тогда разум в хранилищи своем разлучится, изыщется от многих и не обрящется, и

неправда же и воздержание умножится на земли” (Материалы, VII: 264)⁸.

Столь же авторитетным документом для противников реформы, как *Христианоопасный щит* Авраамия, можно считать рукописный сборник *РГБ, ф. 17, № 883*, найденный И.М. Кудрявцевым. Вероучительное достоинство книги сочли необходимым дополнительно подтвердить пустозерские узники (протопоп Аввакум, священник Лазарь, дьякон Федор, инок Епифаний), которые скрепили ее собственноручными подписями. На л. 136-197 об. рукописи находится незаглавленное и безымянное *Сказание об Антихристе и о Страшном Суде*. *Сказание* представляет собой искусную компиляцию, сплавленную из многих библейских и внебиблейских источников, среди которых и 3-я книга Ездры (Кудрявцев 1972: 167).

Старообрядцы не могли, конечно, пройти мимо аналогии между орлом на российском гербе, столь рьяно воспевавшимся панегиристами, и другим орлом – проклятым и уничтоженным Богом, как то показано в пятом видении Ездры. В *Послании* дьякона Федора сыну Максиму, важнейшем памятнике для понимания истории старообрядческого протеста, упоминается некая “книга Орел” (Титова 2003: 158). Книга, если верить высоко ее оценивающему автору *Послания*, была вдобавок снабжена каким-то толкованием (“толковал он Орел от Ездриных книг”). Соединение в этой характеристике слова “орел” со ссылкой на книгу Ездры не оставляет сомнений, какой именно библейский текст имел в виду писатель. В статье, специально посвященной не дошедшей до нас загадочной книге, Т.А. Опарина пишет, что, возможно, существовали какие-то особые толкования на 3-ю книгу, которые читал и по-своему интерпретировал Федор (Опарина 1990). Не стоит сбрасывать со счета и более простое объяснение: по рассказу Библии символическое содержание образов, которые Всевышний явил Ездре в семи видениях, каждый раз раскрывает визионеру ангел. Его объяснения и являются, собственно говоря, толкованиями, иногда довольно подробными. Не исключено, что сама “книга Орел” представляла собой собрание выписок из разных произведений эсхатологического содержания, каких немало обращалось в русской письменности. Если выдержка из 3-й книги о пятом видении Ездры находилась в таком цветнике на первом месте, это вполне могло послужить основанием, чтобы назвать “Орлом” целый сборник.

В то время как об интерпретации пятого видения Ездры дьяконом Федором можно только догадываться, о толкованиях, которые предложил старообрядческий священник Самойла, служивший в церкви Черкаска, сохранились самые подробные сведения. Правда, Самойла не успел изложить свои взгляды на бумаге. Его понимание библейской книги запечатлено в обширном комплексе документов, отражающих московский сыск о противниках церковной реформы среди донских казаков. У них

⁸ Ср. ссылку на те же знамения Ездры в другом сочинении Авраамия (Материалы, VII: 428), а еще в челобитной Антония, бывшего архимандрита Спасо-Муромского монастыря (Материалы, VIII: 121).

дело чуть было не дошло тогда до открытого мятежа (ДАИ, XII: 137-215). Как Самойла признался на допросах, он удостоился видения, вдохновленный которым открыл в себе учительный дар. Он стал не только читать проповеди в церкви, но также разъяснять книжную премудрость частным образом. “И в домех, кто позовет, читал же и сказывал из тех же книг, да из Библии и из Ездрых книг, как в них напечатано в 11 главе в 3 книге о последних временах и о иных превеликих таинственных делах”. Для своих просветительских бесед он купил Библию московского издания. Сравнив напечатанное там изображение двуглавого орла с орлом из видения Ездры, он пришел к выводу, что под библейским орлом нужно понимать покойного царя Алексея Михайловича, а три головы орла – это царевы дети Иоанн, Петр и София. Самойла стремился дать символическое толкование каждой из деталей в апокалиптическом образе орла, каким он описан у Ездры. Своей экзегезе новоявленный пророк придавал государственное значение. Он соглашался поделиться открывшимся ему провидческим знанием только со специально уполномоченными властями человеком (“и то он объявит, кому великие государи укажут”). Желание Самойлы было исполнено, так что он удостоился поведать о “таинственных и великих делах” лично боярам В.В. Голицыну и А.В. Голицыну. Участь его это, понятное дело, не изменило: 10 мая 1688 г., Самойлу, вместе с другими “ворами и расколщиками”, казнили на Красной площади.

Для сторонников “древлего” благочестия конец православию в лоне официальной церкви настал тогда, когда Никон в 1652 г. занял патриарший престол. Движение истории остановилось, человечеству надлежит жить теперь в напряженном ожидании конечной расплаты за грехи. Ориентация на последний Суд Божий придавала силы участникам религиозного протеста в их стремлении противостоять ненавистным им нововведениям духовной и мирской власти. Нужно понимать, что на протяжении всей последующей истории старообрядчества, хотя оно и распалось со временем на многочисленные согласия, идеологи оппозиции и отстаивающие ее интересы публицисты опирались на один и тот же круг книжных авторитетов. Авторитет каждого памятника определялся, прежде всего, древностью памятника, благодаря чему противники официальной церкви стали верными хранителями основ древнерусской духовной культуры. Ощущение близящегося конца света объясняет повышенный запрос в среде традиционалистов на литературу апокалиптического содержания. Сложившаяся в этой среде ситуация обеспечила 3-й книге Ездры ее законное место в комплексе текстов, живописующих ужасы, которые ждут людской род перед Вторым Пришествием.

Главное место в комплексе занимало Откровение Иоанна Богослова. Стоит, правда, вспомнить, что его привилегированный статус обеспечил библейскому памятнику на Руси не только (и даже не столько) текст, но и украсивший его в XVI в. грандиозный цикл красочных миниатюр. Лицевой Апокалипсис, к которому не найдено близких аналогий в византийском и западноевропейском искусстве, относится к числу книг, особенно любимых старообрядцами. Однако о видениях Ездры они тоже не забывали. В незаглавленном старообрядческом *Послании XVIII в.*, автор кото-

рого доказывает антихристову природу русского царя, уподоблявшегося панегиристами орлу, публицист проецирует изображенного на российском гербе двуглавого орла на орла из пятого видения. При этом в своих обличениях составатель *Послания* манипулирует и образами из последней книги Нового Завета (Гурьянова 1988: 118-122). Случалось, выписку из 3-й книги все о том же видении Ездры, наряду с более или менее полным набором предсказаний о конце света, включали в одну и ту же рукописную книгу рядом с Лицевым Апокалипсисом (Подковырова 2016: 392-403).

В одной статье невозможно подробно рассмотреть великое множество поздних старообрядческие опытов в толковании видений Ездры, сопоставлявшихся с иными текстами родственного содержания (ср., например: Першина 2012; Старухин 2014; Боровик 2018). Заканчивая на этом наши разыскания, считаем нужным подчеркнуть, что значение апокалиптических мотивов (а значит, и варьирующей их 3-й книги Ездры) для русской культуры новейшего времени никоим образом не ограничивается старообрядческой средой. Накануне и в ходе революционных потрясений подобные мотивы с новой силой реанимируются в культуре модерна, воплощаясь как в беллетристике, так и в трудах религиозных философов. Достаточно вспомнить трилогию *Христос и Антихрист* Д.С. Мережковского, *Память* Н.С. Гумилева, *Краткую повесть об Антихристе* Владимира Соловьева, *Апокалипсис нашего времени* В.В. Розанова и многие другие произведения. Но феномены такого рода обладают в разной социальной и культурной среде собственной спецификой, а потому апокалиптика русского модерна нуждается в самостоятельном исследовании.

Сокращения

БАН:	Библиотека Академии наук.
ГИМ:	Государственный исторический музей.
ДАИ:	<i>Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археологической комиссией</i> , I-XII, Санкт-Петербург 1846-1872.
Максим Грек:	Н.В. Сеницына (ред.), <i>Преподобный Максим Грек. Сочинения</i> , I-II, Москва 2008-2014.
РНБ:	Российская национальная библиотека.
СлХI-XVII:	<i>Словарь русского языка XI-XVII вв.</i> , I-XXXII, Москва 1975-2023.
Материалы:	Н.И. Субботин (ред.), <i>Материалы для истории раскола за первое время его существования</i> , I-IX, Москва 1874-1894.
РГБ>	Российская государственная библиотека.

Литература

- Алексеев 1999: А.А. Алексеев, *Текстология славянской Библии*, Санкт-Петербург 1999.
- Алексеев 2019: А.А. Алексеев, *Чтение Библии в Древней Руси*, “Актуальные вопросы церковной науки”, 2019, 2, с. 209-217.
- Андреев 1959: А.И. Андреев (ред.), *Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР*, III/1, Москва-Ленинград 1959².
- Боровик 2018: Ю.В. Боровик, “Времена, они меняются”: *Дискуссии уральских старообрядцев о прошлом и будущем в контексте поисков “истинного” священства в конце XIX в.*, “Государство, религия, церковь в России и за рубежом”, 2018, 1, с. 253-274.
- Буланин 1984: Д.М. Буланин, *Переводы и послания Максима Грека: Неизданные тексты*, Ленинград 1984.
- Вернер 2019: И.В. Вернер, *Интерлинейная славяно-греческая Псалтырь 1552 г. в переводе Максима Грека*, Москва 2019.
- Вернер 2022: И.В. Вернер, *Переводческие стратегии острожских редакторов в III (IV) Книге Ездры*, в: Е.А. Кузьмина (ред.), *Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян*, Москва 2022, с. 149-165.
- Горский, Невоструев 1855: А.В.Горский, К.И. Невоструев, *Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки*, Москва 1855.
- Гурьянова 1988: Н.С. Гурьянова, *Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе периода позднего феодализма*, Новосибирск 1988.
- Евсеев 1917: И.С. Евсеев, *Собор и Библия*, Петроград 1917.
- Еремин 1953: И.П. Еремин (ред.), *Симеон Полоцкий. Избранные сочинения*, Москва-Ленинград 1953.
- Журавель 2012: О.Д. Журавель, *Литературное творчество старообрядцев XVIII-начала XXI в.*, Новосибирск 2012.
- Забелин 2005: И.Е. Забелин, *Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях*, Москва 2005.
- Иванов 1969: А.И. Иванов, *Литературное наследие Максима Грека*, Ленинград 1969.
- Коваленко 2018: К.И. Коваленко, *Азбуковник Давида Замарая как источник по русской лексикографии XVII в.*, Дисс., Санкт-Петербург 2018.
- Ковтун 1989: Л.С. Ковтун, *Азбуковники XVI-XVII вв.: Старшая разновидность*, Ленинград 1989.

- Кудрявцев 1972: И.М. Кудрявцев, *Сборник XVII в. с подписями протопопа Аввакума и других пустозерских узников*, "Записки Отдела рукописей [Гос. библиотеки СССР им. В.И. Ленина]", XXXII, 1972, с. 148-212.
- Лотман 1996: Ю.М. Лотман, *Об "Оде, выбранной из Иова" Ломоносова*, "Из истории русской культуры", IV, 1996, с. 637-656.
- Лурье 1960: Я.С. Лурье, *Заметки к истории публицистической литературы конца XV-первой половины XVI в.*, "Труды Отдела древнерусской литературы", XVI, 1960, с. 457-465.
- Ляпин 2022: Д.А. Ляпин, *Животные пятого дня и три вопроса князя С.И. Шаховского к одному мудрецу*, "Палеоросия", 2022, 1(17), с. 123-131.
- Новиков 1790: Н.И. Новиков (ред.), *Древняя российская вивлиофика*, XIV, Москва 1790².
- Опарина 1990: Т.А. Опарина, *К вопросу об использовании III книги Ездры в русской публицистике XVI-XVII вв.*, в: Д.С. Лихачев (ред.), *Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма*, Новосибирск 1990, с. 143-149.
- Пентковская 2016a: Т.В. Пентковская, *Новый Завет в переводе книжного круга Епифания Славинецкого и польская переводческая традиция XVI в.*, "Русский язык в научном освещении", 2016, 1(31), с. 182-226.
- Пентковская 2016б: Т.В. Пентковская, *С русского на сербский, с сербского на русский: Два опыта редактур церковнославянского текста в XVII в.*, "Stephanos", 2016, 3(17), с. 28-58.
- Першина 2012: М.В. Першина, *Об отношении старообрядцев-филипповцев к верховной власти в конце XIX в.*, "Гуманитарные науки в Сибири", 2012, 3, с. 42-45.
- Подковырова 2016: В.Г. Подковырова (ред.), *Описание Рукописного отдела Библиотеки Российской АН*, X/2, Москва-Санкт-Петербург 2016.
- Ромодановская 2005: В.А. Ромодановская, *Распространение переведенных с латыни частей Геннадиевской Библии. 2*, в: Е.К. Ромодановская (ред.), *Общественная мысль и традиции русской духовной культуры в истории и литературных памятниках XVI-XX вв.*, Новосибирск 2005, с. 256-266.
- Сазонова 2006: Л.И. Сазонова, *Литературная культура России: Раннее Новое время*, Москва 2006.
- Синицына 1998: Н.В. Синицына, *Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.)*, Москва 1998.
- Соколов 1891: М.И. Соколов (ред.), *Собрание сочинений Юрия Крижанича*, II, Москва 1891.

- Старухин 2014: Н.А. Старухин, *Неизвестное сочинение сибирского белокриницкого писателя Г.А. Страхова “Оправдание старообрядствующей иерархии по пророку Ездre”*, “Гуманитарные науки в Сибири”, 2014, 4, с. 54-57.
- Титова 2003: Л.В. Титова, *Послание дьякона Федора сыну Максиму – литературный и полемический памятник раннего старообрядчества*, Новосибирск 2003.
- Тихомиров 1965: М.Н. Тихомиров (ред.), *Юрий Крижанич. Политика*, Москва 1965.
- Успенский 2002: Б.А. Успенский, *История русского литературного языка (XI-XVII вв.)*, Москва 2002³.
- Франко 1907: I. Франко, *Причинок до студій над Острожською Библиєю*, “Записки Наукового товариства імени Шевченка”, LXXX, 1907, с. 5-18.
- Bensly 1895: R. Bensly, *The Forth Book of Ezra*, Cambridge 1895.
- Catalano, Pašuto 1989: P. Catalano, V. Pašuto (a cura di), *L’idea di Roma a Mosca, secoli XV-XVI: Fonti per la storia del pensiero sociale russo*, Roma 1989.
- De Michelis 1986: C. De Michelis, *Origine e interpretazione della “Terza Roma” in Filofej (1523)*, в: P. Catalano (a cura di), *Popoli e spazio romano tra diritto e profezia*, Napoli 1986, с. 521-527.
- MacRobert 2018: C. MacRobert, *Maksim Grek in Linguistic Context*, в: V.S. Tomelleri, I.Verner (eds.), *Latinitas in the Slavic World: Nine Case Studies*, Berlin 2018, с. 173-205.
- Orlov 2023: A. Orlov, *Eschatological Consumption of Leviathan and Behemoth as Revelation of the Messianic Torah*, в: A. Orlov (ed.), *Watering the Garden: Studies in Honor of D.Dempsey*, Piscataway (NJ) 2023, с. 239-285.
- Stone 1990: M. Stone, *Fourth Ezra: A Commentary on the Book of Fourth Ezra*, Minneapolis 1990.
- Strémooukhoff 1953: D. Strémooukhoff, *Moscow the Third Rome: Sources of the Doctrine, “Speculum”*, XXVIII, 1953, I, с. 84-101.

Abstract

Dmitrii Mikhailovich Bulanin

The Third Book of Ezra in the Religious Thought of Muscovy

The 3rd book of Ezra (4th in the Vulgate) was translated from Latin into Church Slavonic along with a number of other Old Testament books at the end of the 15th century. The translation was done at the court of the Novgorod Archbishop Gennadij. By combining the new texts with the already existing translations, the archbishop compiled the first complete collection of Old and New Testament books in *Slavia Orthodoxa*. The Council of Trent excluded the 3rd(4th) book of Ezra from the biblical canon, but in Old Russia its reliability was not in doubt. This book attracted the attention of Russian writers of the 15th-18th centuries much more than other Bible books translated from Latin. Their interest grew considerably during the years of spiritual crisis, because the content of the 3rd(4th) book of Ezra, which is an example of apocalyptic literature, corresponded to the religious quest of the people. The images of Ezra were projected onto the history of Russia and onto contemporary church problems. Outstanding writers took part in the discussion of the chapters concerning the creation of the world and its possible future, Fëdor Karpov, prince Semën Šachovskoj, Simeon Polockij among them.

Keywords

Translatio Imperii; Eschatological Consumption; Exegesis; Panegyric; Diatribe.

Vladimir Polomac
Achim Rabus

Serbian Early Printed Books from Venice. Quantitative Approach to Orthographic Variations*

1. Introduction

Recent advances in IT based on artificial intelligence and machine learning, applied to automatic text recognition (cfr. Rabus 2019), have opened new perspectives for philological and linguistic investigations of Serbian written and printed heritage. Traditional qualitative investigations based on smaller samples from rather voluminous individual medieval manuscripts and early printed books can now be complemented by quantitative investigations based on large, automatically generated textual corpora (Rabus, Petrov 2023: 25-26; Rabus *et al.* 2023). This paper represents an attempt to illustrate this methodological approach through the example of early Serbian books printed in Venice in the early-mid 16th century in Božidar Vuković's printing shop. Unlike the books printed in other early Serbian printing shops, which have been the subject of numerous studies (cfr. specifically Grković-Mejdžor 1994; Grbić 2008; Jerković 1968, 1970, 1972; Samardžić 2012, 2013, 2019), early Serbian books printed in Venice, despite the fact that they represent a large part (about two-thirds) of the early Serbian heritage which has been preserved (for a detailed list cfr. Lazić 2018: 178-182), have mostly been investigated from the perspective of their typographical (cfr. specifically Grbić 2020; Subotin-Golubović 2020), historical (cfr. specifically Lazić 2021, 2022) or theological aspects (cfr. Hrvaćanin 2017), and much less frequently from that of philological and linguistic ones (cfr. specifically Jerković 1967; Sindik 1986; Grković-Mejdžor 2012; Rabus, Petrov 2023: 32-36). This paper will cover the topic of variations in orthography in light of the well-known fact that orthographical differences between Serbian early printed books can be attributed to quantitative rather than qualitative factors, and that they are more manifested in inconsistent spellings or in the rate of occurrence of particular techniques, rather than in their adoption or rejection (cfr. Pešikan 1994: 164).

* This paper was written as a part of the international bilateral project called *Creating AI Models for Automatic Processing of Serbian Medieval Manuscripts* (2024-2025) funded by The Ministry of Science, Technological Development and Innovation of the Republic of Serbia and German Academic Exchange Service (DAAD).

2. Theoretical and Methodological Framework

Our research involved five early books printed in Venice in Božidar Vuković's printing shop: *Liturgikon* (1520) (abbr. *Lit. 1520*), *Psalter with Appendices* (1520) (abbr. *Psal. 1520*), *Prayer Book (Miscellany for Travellers)* (1536) (abbr. *Misc. 1536*), *Festal Menaion* (1538) (abbr. *Men. 1538*), and *Prayer Book (Euchologion)* (1538-1540) (abbr. *Euch. 1538-1540*). *Lit. 1520* and *Psal. 1520*, were printed by Hieromonk Pahomije of Montenegro in the first period of Božidar Vuković's activity as a printer¹. The remaining books originate from the second period of his printing activity: *Misc. 1536* and *Men. 1538* were printed by Hieromonk Mojsije from Dečani, while *Euch. 1538-1540* was most probably printed by Hieromonks Teodosije and Đenadije². We used copies of these books from the Matica Srpska Library in Novi Sad (for more on these books, see Grbić *et. al.* 1994: 25-30, 33-34, 41-60), which are also available as digital objects from the 15th-17th c. Serbian books collection in the Matica Srpska Digital Library³. Digital copies of the books were uploaded onto the *Transkribus* platform, without preprocessing. *Transkribus* is based on AI (artificial intelligence), machine learning and advanced neural networks, which have been established as a standard for automatic text recognition and the creation of searchable digital editions of medieval manuscripts and early printed books⁴. The process of automatic text recognition initially involved automatic layout recognition using a model previously trained on book material from various Serbian printing shops from the 15th and 16th centuries. Since the error rate manifested during the training of this model was 7.64%, it was necessary to manually check and correct the text regions and lines. We used a previously trained model called *Dionisio 2.0* for the automatic text recognition, which resulted in very good performance (cfr. Polomac 2022a, 2022b). For this paper, we trained the *Dionisio 3.0* model, which differs from the previous version of the model only in that it disregards accent marks (diacritics). This approach was justified under the assumption that the omission of accent marks from the model training process would yield even better results in automatic text recognition, and that it would substantially facilitate the further search for orthographic variations conducted in the automatically produced

¹ For more on *Lit. 1520* and *Psal. 1520* see Pešikan 1994: 167-168, 193-195. Along with these two books, in the first period of Božidar Vuković's activity as a printer (1520-1521), the *Prayer Book (Miscellany for Travellers)* was printed in a concise and full version (Lazić 2021: 142). For a detailed account of Hieromonk Pahomije, the printer of these books, see Pešikan 1994: 162.

² For more on *Lit. 1536*, *Men. 1538* and *Euch. 1538-1540* see Pešikan 1994: 122, 144-145, 147-148. Along with these books, during the second period of Božidar Vuković's activity as a printer (1536-1540), *Octoechos, Mode 5-8* (1537) was also published (Lazić 2021: 142). For more information on Hieromonks Mojsije, Teodosije and Đenadije, the printers of these books, see Lazić 2021: 147 and Pešikan 1994: 113, 198.

³ Collection available at: <<http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/collection:4>> (last access: 10.01.2025).

⁴ For more details see <<https://www.transkribus.org/>> (last access: 10.01.2025).

text, which was conducted with the text-corpus analysis program *AntConc*⁵. During the training of the *Dionisio 3.0* model, we used the same set of data which had been used for the training of the previous version *Dionisio 2.0* (see Polomac 2022b: 159), but this time with prior automatic removal of accent marks. The characteristics and performance data of the *Dionisio 3.0* model are presented in TABLE 1:

TABLE 1. Performance of *Dionisio 3.0* model

Word count on the training set	Number of epochs ⁶	CER on the training set	CER on the validation set
175 453	125	0.70%	1.81%

A comparison of this model with the previous version shows that the already very good performance has been improved further: the rate of incorrectly recognized characters in the *Dionisio 2.0* model validation set is 2.40% (including accent marks), while in the *Dionisio 3.0* model it is just 1.81% (without accent marks). The performance differential between these two models shows that the automatic recognition of accent marks represents a smaller problem for the *Transkribus* algorithm than expected.

Carrying out the automatic text recognition using the *Dionisio 3.0* model yielded a large corpus for study. Its characteristics are presented in TABLE 2. In order to gain a clearer picture regarding the quality of the corpus created in such a manner and used for the purposes of performing quantitative philological and linguistic investigations, we manually corrected small samples of all the printed books and compared them with the automatically recognized texts. Quantitative results are presented in TABLE 3.

TABLE 2. Corpus characteristics

Book	Pages	Tokens
Lit. 1520,	458	49,795
Psal. 1520	692	73,872
Misc. 1536	471	52,597
Men. 1538	861	243,058
Euch. 1538-1540	557	64,650
Total	3,039	483,972

⁵ See <<https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/>> (last access: 10.01.2025).

⁶ In machine learning, the term epoch refers to one complete presentation of the data to a learning machine (cfr. Burlacu, Rabus 2021: 1).

TABLE 3. Quantitative indicators of the *Dionisio 3.0* model

Book	CER
<i>Lit. 1520</i>	0.96%
<i>Psal. 1520</i>	0.83%
<i>Misc. 1536</i>	1.05%
<i>Men. 1538</i>	1.44%
<i>Euch. 1538-1540</i>	0.69%

TABLE 3 shows that CER (character error rate) is even smaller than in the validation data set employed during the training of the *Dionisio 3.0* model. A noticeably lower rate of incorrectly recognized characters (below 1%) is observed in *Euch. 1538-1540*, *Lit. 1520* and *Psal. 1520*. The rate of incorrectly recognized characters is just a little higher in *Misc. 1536*, while in *Men. 1538*, it is somewhat higher than in other books (1.44%), but it can still be deemed exceptionally low. A true picture of the success of this model can be obtained only when the quantitative indicators are complemented by a qualitative analysis. As an illustration, we take a fragment of page 152r from *Psal. 1520* and the corresponding automatically recognized text using the *Dionisio 3.0*, as shown in TABLE 4:

TABLE 4. Qualitative indicators of success pertaining to *Dionisio 3.0* model

<i>Psal. 1520</i> , page 152r,	<i>Dionisio 3.0</i> ,
ДѢЦІИХЪ НАСЪ • СЪТВОРИТИ МЛТЬ СЪ	1-1 ДѢЦІИХЪ НАСЪ • СЪТВОРИТИ МЛТЬ СЪ-
ЩОЦН НАШНИИ, И ПОМѢНОУТИ ЗАВѢТЪ	1-2 щѢи НАШНИИ, И ПОМѢНОУТИ ЗАВѢТЪ
СЪТЪИ СВОИ • КЛЕТВОУ КЮЖЕ КЛЕТСЕ	1-3 сѢтъи СВОИ • КЛЕТВОУ КЮЖЕ КЛЕТ СЕ
КЪ АВРААМОУ ЩОЦУ НАШЕМОУ, ДАТИ НА	1-4 КЪ АВРААМОУ щѢоу НАШЕМОУ, ДАТИ НА-
МЪ БЕЗЪ СТРАХА ИЗЪ РОУКЪ ВРАГЪ НАШНХЪ	1-5 МЪ БЕЗЪ СТРАХА ИЗЪ РОУКЪ ВРАГЪ НАШНХЪ
ИЗБАВЛШИМСЕ • СЛОУЖИТИ ЕМОУ ПРѢ	1-6 ИЗБАВЛШИМСЕ • СЛОУЖИТИ ЕМОУ ПРѢ-
ПОДОВІЕМЪ И ПРАВДОЮ ПРѢНИМЪ КЪ СЕДНИ	1-7 ПОДОВІЕМЪ И ПРАВДОЮ ПРѢ НИМЪ ВСЕ ДНИ
ЖИВОТА НАШЕГО • И ТЫ ВПРОЧЕ ПРѢО-	1-8 ЖИВОТА НАШЕГО • И ТЫ ВПРОЧЕ ПРѢО-
КЪ ВЫШНАГО НАРЕЧЕШИ СЕ, ПРѢИДЕШИ ВО	1-9 КЪ ВЫШНАГО НАРЕЧЕШИ СЕ, ПРѢИДЕШИ ВО
ПРѢЛЦЕМЪ ГНИМЪ ОУГОТОВАТИ ПОУТИ	1-10 ПРѢ ЛИЦЕМЪ ГНИМЪ ОУГОТОВАТИ ПОУТИ

The table above suggests that the sparse errors in the process of automatic text recognition are due to spaces between words: съ- щѢи 1, БЕЗЪ СТРАХА (5) instead of the expected съ щѢи (1), БЕЗЪ СТРАХА (5). Apart from this category, errors can also be found in superscript letters, the pajerak mark and the titlo mark, and highly infrequently in individual letters.

Judging by the quantitative and qualitative indicators of the success of the *Dionisio 3.0* model presented here, we believe that the resulting texts can be used for further quan-

titative investigations of orthographic variation without additional manual correction. In recent years, this methodological approach has been advocated by Besters-Dilger, Rabus 2021, Rabus, Petrov 2023 and Rabus *et al.* 2023; these studies have underscored the feasibility of deploying of automatically obtained data without additional manual correction for quantitative philological and linguistic analyses of medieval Slavonic manuscripts and early printed books. In all these papers, the authors prove the hypothesis that quantitative analysis of medieval Slavonic manuscripts and early printed books can also be successfully based on texts that have been recognized and morpho-syntactically annotated automatically, without additional manual correction (see specifically Besters-Dilger, Rabus 2021: 87-90; Rabus, Petrov 2023; Rabus *et al.* 2023: 113). Although results obtained in this manner may prove not worse than those obtained with a traditional approach, which includes a qualitative analysis of smaller portions of manually transcribed manuscripts or early printed books, Rabus, Petrov 2023 point to limitations of both of these approaches and emphasise the necessity of combining the two – more precisely, of applying an approach in which quantitative and qualitative methods are complementary.

Following automatic recognition of Serbian early printed books with the *Transkribus Dionisio 3.0* model, the next methodological step involved downloading the recognized texts as separate plain text files, and then removing the hyphens in words that break across lines, along with all other punctuation marks, in the text editor *Notepad++*⁷. The texts prepared in this way were first submitted to computer-based stylometric analysis with the *R stylo* package (see Eder *et al.* 2016), followed by a quantitative analysis of the most important individual orthographic variations, conducted with the program *AntConc*. The first approach was meant to provide an insight into orthographic macrovariations and general relations among the books from the corpus, while the second approach was supposed to reveal the most important microvariations (among individual orthographic features) observed in the books.

3. *Computer Stylometry and Orthographic Macrovariations*

The aforementioned computer-based stylometric analysis using the *stylo* package for the *R* statistical programming language entailed automatic extraction and quantification of different linguistic features from large textual corpora accompanied by a corresponding statistical analysis (see Eder *et al.* 2016: 108). In recent years, such an approach to texts has been applied in various areas of linguistics, most commonly in studies concerning various aspects of authorship (authorship attribution, author identification, individual style variations and the like) (Eder 2011, 2016: 107), but also in studies on diachronic variation in language (see specifically Górski *et al.* 2019) and studies concerning standard language stratification (see specifically Von Waldenfels, Eder 2016; Lahjouji-Sepällä *et al.* 2022). The main goal of the computer-based stylometric analysis conducted in this section was to validate

⁷ See <<https://notepad-plus-plus.org/>> (last access: 10.01.2025).

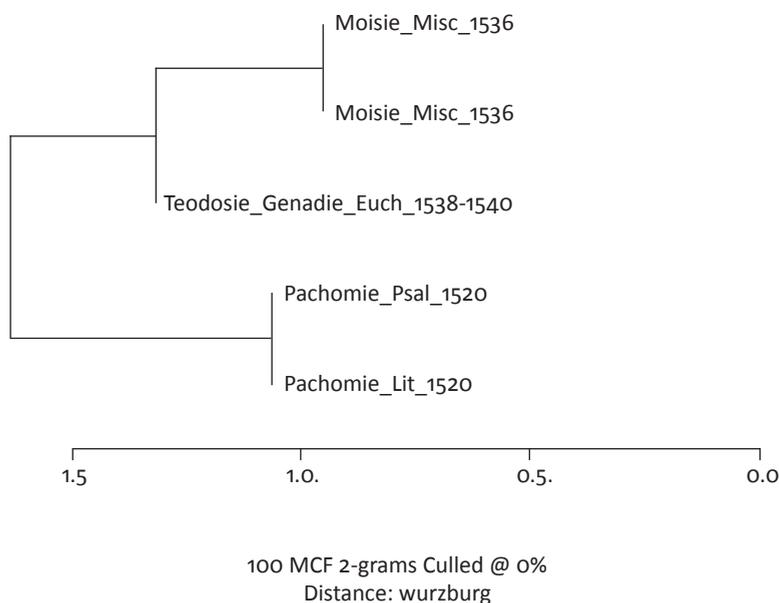
the hypothesis that orthographic variations in the books from the corpus are the result of their being typeset by different printers during two periods of Božidar Vuković's activity in Venice: in the first period, Hieromonk Pahomije printed *Lit. 1520* and *Psal. 1520*, while in the second period, Hieromonk Mojsije printed *Misc. 1536* and *Men. 1538*, and Hieromonks Teodosije and Đenadije printed *Euch. 1538-1540*.

The key question in testing this hypothesis was the choice of linguistic features to be automatically selected and quantified (statistically analysed) in the texts. The *R stylo* package enabled us to compute the most frequent n -grams on either the character or the token levels (Eder *et al.* 2016: 108). Which of these approaches one ought to choose, as well as the optimal n -gram length (two, three, four or more), mostly depends on the language of the text and the research question itself (Stamatatos 2009: 541-542). Since orthographic variations are the subject of our research, we chose the n -gram-based approach on the character level, as the choice of an n -gram on the token level would most probably be more suitable for, say, an analysis of the genre of the books mentioned above. When establishing the optimal length of an n -gram, we considered the fact that orthographic variations occur most frequently in the connexions between two characters (for instance, in the prepositions and prefixes *Ѡ(-)*, *ѡ(-)* or *Ѣ(-)*, *ѣ(-)*; in combinations of graphemes *Ѧ* or *ѦѦ*; or in combinations of the graphemes *Ѧ* or *Ѧ* at the beginning of a word or after a vowel), so we based our stylometric analysis on the automatic generation and quantification of the most frequent bigrams on the character level.

The second important question in the stylometric analysis concerned the choice of suitable metrics for the calculation of mutual text distance. The *R stylo* package allows one to choose among different metrics for calculating the distance of texts based on multivariate statistical analysis (Eder *et al.* 2016: 109). In our experiment, we used Cosine Delta Distance (or Würzburg Delta Distance) (see Eder *et al.* 2017), an enhanced version of Delta metrics, the most common and most frequent metrics in stylometry (see Burrows 2002; Büttner *et al.* 2017). The results of the automatic computer stylometry analysis are shown in GRAPH 1 as a dendrogram, in which the books from the corpus were classified into clusters in terms of their mutual distance.

By observing the graph, we can conclude that the automatic computer-based stylometric analysis using 100 most frequent character-based bigrams confirmed the initial hypothesis that orthographic variations in Serbian early printed books from Božidar Vuković's printing shop in Venice depend on the time in which they were printed and the identity of the individual printer himself. The graph shows that the books were first classified into two clusters corresponding to the two periods of Božidar Vuković's activity as a printer (*Lit. 1520* and *Psal. 1520* in the first, *Misc. 1536*, *Men. 1538* and *Euch. 1538-1540* in the second cluster), and that the second cluster was subsequently additionally divided according to different printers (*Misc. 1536* and *Men. 1538* were printed by Hieromonk Mojsije, and *Euch. 1538-1540* by Hieromonks Teodosije and Đenadije).

GRAPH 1. Serbian early printed books from Venice grouped into clusters



4. *Orthographic Microvariations*

The general pattern of variation presented in the previous section using computer stylistics will be supplemented here by consideration of the most important individual orthographic features observed in the books from the corpus. Previous investigations of 16th-century Serbian early printed books indicate the presence of a post-Resavian orthography, in which the features of the Resava and Raška schools overlap (cfr. Jerković 1970: 17; Grković-Mejdžor 1994: 214; Grbić 2008: 263; Samardžić 2013: 120). Our analysis took into account some of the most important orthographic categories reflecting either the Resava or the Raška tradition (following Jerković 1980): the a) spelling of the phonemic group [ja] in postvocalic position, b) spelling of the phonemic group [je] in initial and postvocalic positions, c) spelling of the vowel /i/ before /j/, d) spelling of the graphemes ы and ѣ; and e) the etymological or conventional use of the grapheme s in certain roots. The spelling of the graphemes ž, ѣ, ѡ and в was not investigated, since it was expected that their use in non-Slavonic words was codified by explicit rules (cfr. Grković-Mejdžor 1994: 42-44). The omission of accent marks and punctuation from the analysis has already been explained in terms of the difficulties encountered during the automatic look-up and statistical processing of the text (see § 2 above). The quantitative analysis of the most important orthographic features in the books from Božidar Vuković's printing shop was performed

using *AntConc* by creating specific queries using the combinations of graphemes, or regular expressions and combinations of graphemes, and then by extracting the examples and processing them statistically.

4.1. Group [ja] in Postvocalic Position

Contrary to initial position, where the ligature **ia** is expected to be used uniformly, in postvocalic position, we can also expect the grapheme **a** in accordance with Resava tradition. Since previous research on the marking the [ja] group in Serbian 15th-16th c. early printed books (cfr. Jerković 1968: 92-93, 1970: 9-10; Grković-Mejdžor 1994: 22-24; Grbić 2008: 226-228; Samardžić 2012: 161) indicates that orthographic variations depend on the preceding vowel, we can plausibly classify the material from early books from Božidar Vuković's printing shop in Venice using said criterion.

Performing a look-up using the regular expressions $[\mathfrak{a},\mathfrak{ia}]\mathfrak{a}$ (**a** after **a** or **ia**) (Resava tradition) and $[\mathfrak{a},\mathfrak{ia}]\mathfrak{ia}$ (**ia** after **a** or **ia**) (Raška tradition), and then by manually filtering selected examples⁸, we created a statistical representation of the spellings of the [aja] group, presented in TABLE 5.

TABLE 5. Spelling of the [aja] group in the corpus

Book	$[\mathfrak{a},\mathfrak{ia}]\mathfrak{a}$	%	$[\mathfrak{a},\mathfrak{ia}]\mathfrak{ia}$	%
<i>Lit. 1520</i>	233	92.10%	20	7.90%
<i>Psal. 1520</i>	558	94.73%	31	5.26%
<i>Misc. 1536</i>	660	95.94%	29	4.06%
<i>Men. 1538</i>	4,015	96.47%	147	3.53%
<i>Euch. 1538-1540</i>	275	48.24%	295	51.75%

The table shows that the [aja] group is almost uniformly marked by the grapheme **a** in the vast majority of the investigated books, in line with the Resava tradition⁹. *Euch. 1538-1540* manifests a significant deviation from the situation mentioned above, as the Raška and Resava traditions are almost equally represented in it.

⁸ The examples of writing the aa group were filtered manually because this group can also represent **ā** in certain categories: for instance, in the gen. sg. masc. definite form of adjectives, forms of the imperfect, personal names like *Avraam*, *Aaron*, *Isaak* and the like.

⁹ Such orthography is also characteristic of the *Psalter with Appendices* from Crnojević's printing shop (Grković-Mejdžor 1994: 22), while the samples from the books of the Goražde and Mrkšina Crkva printing shops exhibit the Resava tradition uniformly (Jerković 1968: 92-93, 1970: 9; Samardžić 2012: 161).

Looking up the graphemic combinations ѣа (Resava tradition) and ѣѡа (Raška tradition)¹⁰, followed by the manual filtering of selected examples¹¹, gave us a statistical overview of the spelling of the [eja] group in Slavonic words from the corpus, which is presented in TABLE 6.

TABLE 6. Spelling of the [eja] group using ѣа or ѣѡа in Slavonic words from the corpus

Book	ѣа	%	ѣѡа	%
<i>Lit. 1520</i>	29	37.17%	49	62.82%
<i>Psal. 1520</i>	1	2.43%	40	97.56%
<i>Misc. 1536</i>	1	2.38%	41	97.61%
<i>Men. 1538</i>	70	28.68%	174	71.31%
<i>Euch. 1538-1540</i>	3	7.31%	38	92.68%

The table shows that books from Božidar Vuković's printing shop can be divided into two groups according to this orthographic feature: the first group includes *Psal. 1520*, *Misc. 1536* and *Euch. 1538-1540*, with their almost fully uniform use of the ligature ѡа¹², while the other group includes *Lit. 1520* and *Men. 1538* with a predominant use of ligature ѣа, but with a substantial number of examples with the grapheme а corresponding to the Resava tradition.

By performing the look-up of the graphemic combinations ѣа and ѣѡа, we obtained a statistical overview of the spelling of the [ija] group in the corpus, which is presented in TABLE 7.

TABLE 7. Spelling of the [ija] group in the corpus¹³

Book	-ѣа	%	-ѣѡа	%
<i>Lit. 1520</i>	812	96.55%	29	3.44%
<i>Psal. 1520</i>	1 352	98.83%	16	1.16%
<i>Misc. 1536</i>	897	98.89%	10	1.10%
<i>Men. 1538</i>	3 856	85.40%	659	14.60%
<i>Euch. 1538-1540</i>	1 058	94.29%	64	5.70%

¹⁰ Spellings of the [eja] group as еа or еѡа were omitted from statistical processing because the number of attested examples was very small.

¹¹ Non-Slavonic words have also been omitted from the analysis (predominantly personal names), in which [ja] was almost uniformly marked by the grapheme а.

¹² Such an orthography is also observed in the *Psalter with Appendices* from Crnojević's printing shop (Grković-Mejdžor 1994: 23).

¹³ The analysis excluded rare examples in which the [ija] group was spelt as ѣѡа or ѡа.

The table shows that the [ija] group is almost uniformly marked by ĩa in the investigated books, in accordance with the Resava tradition¹⁴. In most of the books, cases where the ĩa group adheres to the Raška tradition only occur as isolated individual examples, while only in *Men. 1538* do we find more examples of this type (around 15%).

By performing a look-up of graphemic combinations oĭa and oĭa, we obtained a statistical overview of spellings of the [oja] group, which is presented in TABLE 8.

TABLE 8. Spelling of the [oja] group in the corpus

Book	oĭa	%	oĭa	%
<i>Lit. 1520</i>	–	–	151	100%
<i>Psal. 1520</i>	2	0.45%	439	99.54%
<i>Misc. 1536</i>	1	0.46%	213	99.53%
<i>Men. 1538</i>	41	5.93%	650	94.06%
<i>Euch. 1538-1540</i>	2	0.83%	231	99.14%

The table indicates a uniform (*Lit. 1520*) or (in the remaining books) almost uniform spelling of oĭa in accordance with the Raška tradition¹⁵.

A look-up using the regular expressions [oŷ,ʒ]a (a after oŷ or ʒ) (Resava tradition) and [oŷ,ʒ]ia (ia after oŷ or ʒ) (Raška tradition) led to the finding that in the books from Božidar Vuković's printing shop the [uja] group was uniformly marked in the Raška manner¹⁶.

4.2. Group [je] in Initial Position

This phonemic group can be written in initial position using the ligature ĩ in accordance with the Raška orthographic tradition, but also using the graphemes ĩ and ĩ in accordance with Resava tradition. Previous research into Serbian early printed books shows that the relation between Resava and Raška traditions is governed by distinct principles when it comes to Slavonic words, while non-Slavonic words mostly contain the graphemes

¹⁴ Such an orthography is also observed in the *Psalter with Appendices* from Crnojević's printing shop (Grković-Mejdžor 1994: 22-23), books from the Goražde printing shop (Grbić 2008: 227; Samardžić 2012: 161), as well as the books from the printing shop of Mrkšina Crkva (Jerković 1968: 93, 1970: 10).

¹⁵ Such an orthography is also a feature of the *Psalter with Appendices* from Crnojević's printing shop (Grković-Mejdžor 1994: 23), the *Liturgikon* and *Euchologion* from the Goražde printing shop (Samardžić 2012: 162), as well as books from the printing shop of Mrkšina Crkva (Jerković 1968: 93, 1970: 9-10). It is interesting that the Resava tradition prevails in the *Psalter with Appendices* from the Goražde printing shop (Grbić 2008: 228).

¹⁶ The same orthography is also observed in the *Psalter with Appendices* from Crnojević's printing shop and the *Psalter with Appendices* from the Goražde printing shop (Grković-Mejdžor 1994: 23; Grbić 2008: 229).

ѣ and ѣ in line with the orthography of the Greek source texts (cfr. Jerković 1970: 7-8; Grković-Mejdžor 1994: 28; Grbić 2008: 231).

Performing a look-up in the corpus using the regular expressions $\wedge\text{ѣ}$ (the ligature ѣ at the beginning of a word) and $\wedge[\text{ѣ},\text{ѣ}]$ (ѣ or ѣ at the beginning of a word) yielded a statistical overview that is presented in TABLE 9.

TABLE 9. Word-initial spelling of [je] group in the corpus

Book	$\wedge\text{ѣ}$	%	$\wedge[\text{ѣ},\text{ѣ}]$	%
<i>Lit. 1520</i>	1,250	58.74%	878	41.25%
<i>Psal. 1520</i>	1,531	58.25%	1,097	41.74%
<i>Misc. 1536</i>	738	46.03%	865	53.96%
<i>Men. 1538</i>	1,894	24.09%	5,968	75.90%
<i>Euch. 1538-1540</i>	1,809	82.60%	381	21.06%

The table indicates that the same orthography was employed in the first period of Božidar Vuković's activity as a printer, but also that there are considerable variations in the books printed in the second period of his shop's operation. The Raška tradition with the ѣ ligature slightly prevails over the Resava tradition with the graphemes ѣ or ѣ in *Lit. 1520* and *Psal. 1520*, in *Men. 1538* there is a considerable predominance of the Resava tradition, in *Euch. 1538-1540* Raška considerably prevails, while in *Misc. 1536* both traditions are represented in approximately even proportions, with Resava having a slight prevalence. A detailed comparison with early books from other printing shops was not possible due to the use of different research methodology and presentation of data. Our statistical overview encompasses both Slavonic and non-Slavonic words, in contrast to other studies in which this phenomenon in non-Slavonic words is investigated separately (cfr. for example Grković-Mejdžor 1994: 24-25, 27-28; Grbić 2008: 229, 231-232). However, an analysis of the most frequent words containing these graphemes leads us to the conclusion that in the books of Božidar Vuković's printing shop in Venice, the *Psalter with Appendices* from Crnojević's printing shop and the *Psalter with Appendices* from the Goražde printing shop (Grković-Mejdžor 1994: 28, Grbić 2008: 231), the ligature ѣ is used in non-Slavonic words only as an exception.

4.3. Group [je] in Postvocalic Position

We can expect to find the graphemes ѣ or ѣ (in line with the Resava tradition) or the ligature ѣ (according to the Raška tradition) marking the group [je] in postvocalic position. In a way similar to the marking of the group [ja] in postvocalic position (see § 3.2.), we organized the material by the vowel preceding the group [je]. Due to the absence or extremely small number of occurrences, we excluded examples with the grapheme ѣ in this position from the quantitative analysis.

After performing a look-up using the regular expressions $[\Delta, \text{t}\Delta]\epsilon$ (ϵ after Δ or $\text{t}\Delta$) (Resava tradition) and $[\Delta, \text{t}\Delta]\text{t}\epsilon$ ($\text{t}\epsilon$ after Δ or $\text{t}\Delta$) (Raška tradition), we obtained a statistical overview of the spelling of the group [aje] in the corpus, as presented in TABLE 10.

TABLE 10. Word-initial spelling of the [aje] group in the corpus

Book	$[\Delta, \text{t}\Delta]\epsilon$	%	$[\Delta, \text{t}\Delta]\text{t}\epsilon$	%
<i>Lit. 1520</i>	131	25.43%	383	74.56%
<i>Psal. 1520</i>	224	27.93%	578	72.06%
<i>Misc. 1536</i>	174	30.85%	390	69.14%
<i>Men. 1538</i>	2,594	60.39%	1,701	39.60%
<i>Euch. 1538-1540</i>	293	28.64%	730	71.35%

The table shows that in the overwhelming majority of the books, we find the same orthography for the [aje] group, where the Raška tradition with the ligature $\text{t}\epsilon$ predominates significantly (69-75%)¹⁷. *Men. 1538* deviates considerably from the situation mentioned above, in that the Resava tradition with the grapheme ϵ predominates in it.

Performing a look-up using the regular expressions $[\epsilon, \text{t}\epsilon]\epsilon$ (ϵ after ϵ or $\text{t}\epsilon$) (Resava tradition) and $[\epsilon, \text{t}\epsilon]\text{t}\epsilon$ ($\text{t}\epsilon$ after ϵ or $\text{t}\epsilon$) (Raška tradition), we obtained a statistical overview of the spelling of the group [eje] in the corpus, as presented in TABLE 11.

TABLE 11. Spelling of the [eje] group in the corpus

Book	$[\epsilon, \text{t}\epsilon]\epsilon$	%	$[\epsilon, \text{t}\epsilon]\text{t}\epsilon$	%
<i>Lit. 1520</i>	42	16.47%	213	83.52%
<i>Psal. 1520</i>	54	16.07%	282	83.92%
<i>Misc. 1536</i>	35	17.94%	195	84.78%
<i>Men. 1538</i>	682	47.00%	769	52.99%
<i>Euch. 1538-1540</i>	28	11.15%	223	88.84%

The table indicates that the proportions are similar to those of the group [aje] within the corpus under study. In the vast majority of the books (*Lit. 1520*, *Psal. 1520*, *Misc. 1536*, and *Euch. 1538-1540*), there is a considerable predominance of the Raška tradition, where

¹⁷ The predominance of the Raška tradition in the spelling of this group has also been observed in the *Psalter with Appendices* from Crnojević's printing shop (Grković-Mejdžor 1994: 23), as well as in the books from the Goražde printing shop (Grbić 2008: 230; Samardžić 2012: 164).

the ligature is written as ie^{18} , while only in *Men. 1538* do the two spellings occur in approximately the same ratio¹⁹.

By performing a look-up of the two-letter sequences ie (Resava tradition) and ие (Raška tradition), as well as їе and иє , we obtained a statistical overview of the spellings of the group [ije], as presented in TABLE 12²⁰.

TABLE 12. Spelling of the [ije] group in the corpus

Book	ie	%	ие	%	$\text{їе}/\text{иє}$	%
<i>Lit. 1520</i>	1,015	81.26%	223	17.85%	2/9	0.88%
<i>Psal. 1520</i>	1,523	84.05%	252	13.90%	9/28	2.04%
<i>Misc. 1536</i>	1,147	79.65%	205	14.23%	66/22	6.11%
<i>Men. 1538</i>	6,705	79.65%	1392	16.53%	61/260	3.81%
<i>Euch. 1538-1540</i>	1,394	74.34%	370	19.73%	67/44	5.92%

The table shows that in all the books, the phonemic group [ije] is most frequently written using ie in accordance with the Resava tradition, yet considerably less frequently using the graphemes ие in the Raška tradition, albeit with certain isolated hybrid cases. This situation in the books from Božidar Vuković's printing shop generally corresponds to the situation in the books from other 15th-16th c. early Serbian printing shops investigated to date (Jerković 1970: 8, 1972: 93-94; Grković-Mejdžor 1994: 25-26; Grbić 2008: 230-231).

Looking up the regular expressions $[\text{o},\text{w}]\text{e}$ (e after o or w) (Resava tradition) and $[\text{o},\text{w}]\text{ie}$ (ie after o or w) (Raška tradition), we obtained a statistical overview of the spellings of the group [oje] in the corpus, as presented in TABLE 13.

TABLE 13. Spelling of the [oje] group in the corpus

Book	$[\text{o},\text{w}]\text{e}$	%	$[\text{o},\text{w}]\text{ie}$	%
<i>Lit. 1520</i>	255	31.40%	557	68.59%
<i>Psal. 1520</i>	702	39.06%	1,094	60.91%
<i>Misc. 1536</i>	415	32.24%	872	67.74%
<i>Men. 1538</i>	2,823	78.83%	758	21.23%
<i>Euch. 1538-1540</i>	593	36.46%	1,032	63.46%

¹⁸ Such an orthography is also found in the *Psalter with Appendices* from Crnojević's printing shop (Grković-Mejdžor 1994: 25), as well as in the *Liturgikon* from the Goražde printing shop (Samardžić 2012: 164).

¹⁹ This orthography is also a feature of the *Psalter with Appendices* from the Goražde printing shop (Grbić 2008: 230).

²⁰ Isolated cases of sequences with the grapheme e have been omitted from the statistical analysis here.

The table shows that in the majority of the books (*Lit. 1520*, *Psal. 1520*, *Misc. 1536*, and *Euch. 1538-1540*), the Raška tradition prevails with the ligature ie^{21} , while in *Men. 1538*, just as it is the case with writing the groups [aje] and [eje], the Resava style significantly predominates over that of Raška.

Performing a look-up using the regular expressions $[\text{oy}, \text{ŏ}] \text{e}$ (e after oy or ŏ) and $[\text{oy}, \text{ŏ}] \text{ie}$ (ie after oy or ŏ), we obtained a statistical overview of the spellings of the group [uje] in the corpus, as presented in TABLE 14.

TABLE 14. Spelling of the [uje] group in the corpus

Book	$[\text{oy}, \text{ŏ}] \text{e}$	%	$[\text{oy}, \text{ŏ}] \text{ie}$	%
<i>Lit. 1520</i>	20	17.39%	95	82.60%
<i>Psal. 1520</i>	23	17.69%	107	82.30%
<i>Misc. 1536</i>	25	21.92%	89	78.07%
<i>Men. 1538</i>	237	38.78%	374	61.21%
<i>Euch. 1538-1540</i>	32	19.75%	130	80.24%

The table shows that in the majority of the books (*Lit. 1520*, *Psal. 1520*, *Misc. 1536*, and *Euch. 1538-1540*), the Raška tradition considerably prevails over Resava when it comes to the spelling of the phonemic group [uje], while in *Men. 1538*, the Raška tradition predominates to a somewhat lesser degree²².

4.4. Spelling of the [iju] Group in Non-Initial Position

To the previously described orthography of phonemic groups [ija] and [ije] (cfr. §§ 3.1. and 3.3.), we may add the orthography of the phonemic group [iju] when it is not in initial position. By performing a look-up of the two-letter sequences iu (Resava tradition) and iu (Raška tradition), we obtained a statistical overview of the spelling of this group in the corpus, which is presented in TABLE 15.

The table shows that in the books from Božidar Vuković's printing shop, the Resava tradition also prevails in spellings of the [iju] group: to a large extent in *Lit. 1520*, *Psal. 1520*, *Misc. 1536*, and *Euch. 1538-1540*, and to a somewhat smaller extent in *Men. 1538*²³.

²¹ This is also a feature of the *Psalter with Appendices* from Crnojević's printing shop (Grković-Mejdžor 1994: 26).

²² Said situation in books from Božidar Vuković's printing shop generally corresponds to the situation in the books investigated so far from other early 15th-16th century Serbian printing shops (Grković-Mejdžor 1994: 26-27; Grbić 2008: 231; Samardžić 2012: 166).

²³ The almost fully uniform spelling of iu in this role has also been observed in the *Psalter with Appendices* from Crnojević's printing shop (Grković-Mejdžor 1994: 34) and *Psalter with Appendices* from the Goražde printing shop (Grbić 2008: 236-237).

TABLE 15. Spelling of the [ije] group in the corpus

Book	їіо	%	иіо	%
<i>Lit. 1520</i>	262	88.51%	34	11.48%
<i>Psal. 1520</i>	349	90.64%	36	9.35%
<i>Misc. 1536</i>	332	84.91%	59	15.08%
<i>Men. 1538</i>	1,771	70.95%	725	29.04%
<i>Euch. 1538-1540</i>	436	84.66%	79	15.33%

4.5. Grapheme Ы

Former research into the orthographies of Serbian 15th-16th century early printed books indicated that the use of the grapheme Ы was not codified, namely that Ы was written in its etymological position, but also that there was mixed usage of the graphemes Ы and И (Jerković 1970: 13-14, 1972: 99-100; Grković-Mejdžor 1994: 37; Grbić 2008: 244-245; Samardžić 2013: 118-119). A quantitative method for researching the use of the graphemes Ы and И is not quite suitable, because orthographic variations are not conditioned by the graphemic environment, so they cannot be efficiently looked up with a query in a corpus analysis program such as *AntConc*. Quantitative research cannot provide reliable data about variations in the stems and forms of individual words, since the corpus was not lemmatized or annotated. As we possess for now only the automatically recognized text from the books, we can only provide a statistical overview of the frequency of the use of the grapheme Ы in this same corpus (TABLE 16):

TABLE 16. Frequency of the use of the grapheme Ы in the corpus

Book	Number of hits	Number of characters	Frequency
<i>Lit. 1520</i>	3,558	291,603	1.22%
<i>Psal. 1520</i>	4,751	443,694	1.07%
<i>Misc. 1536</i>	3,734	324,658	1.15%
<i>Men. 1538</i>	20,970	1,579,925	1.32%
<i>Euch. 1538-1540</i>	4,695	395,309	1.18%

The table shows that in all the books from Božidar Vuković's printing shop, the grapheme Ы is used with almost the same frequency.

4.6. Grapheme Ъ

Prior research into the orthography of 15th and 16th century Serbian early printed books indicates that the situation is variable in terms of the use of grapheme Ъ. The observation

of P. Đorđić (1991: 190) that there was an orthography with one front yer in the Crnojević, Belgrade and Skadar printing shops²⁴, as well in the printing shop of Jerolim Zagurović in Venice, was amended by Pešikan's (1994: 164) finding that the grapheme **ѣ** cannot be found either in short excerpts of books from the printing shop of Mrkšina Crkva, nor in the *Psalter with Appendices* (1557) from the Mileševa printing shop²⁵, nor in the *Gospel* from Rujno and Jakov Krajkov's *Miscellany*. For books from other printing shops, Pešikan (1994: 164) states that there was "partial use of the back yer, most commonly in originally semivocalic monosyllabic morphemes", hence claiming that the impact of these letters was regarded more as "free graphical and calligraphic variation than orthographic differentiation". Research into the orthography of books from the Goražde printing shop points to the presence of both graphemes only in the *Psalter with Appendices*, while the other books are characterized by a single-yer orthography (Grbić 2008: 245-246; Samardžić 2013: 115).

A look-up of the graphemes **ѣ** and **ѣ** with *AntConc* enabled us to create a quantitative statistical overview of the frequencies of these graphemes in the books from the corpus, as presented in TABLE 17.

TABLE 17. Number of hits and frequencies of the graphemes **ѣ** and **ѣ** in the corpus

Book	ѣ	ѣ	Characters	Frequency of ѣ	Frequency of ѣ
<i>Lit. 1520</i>	12,140	1,607	291,603	4.16%	0.55%
<i>Psal. 1520</i>	17,264	2,502	443,694	3.89%	0.56%
<i>Misc. 1536</i>	13,343	1,398	324,658	4.10%	0.43%
<i>Men. 1538</i>	63,126	3,747	1,579,925	3.99%	0.23%
<i>Euch. 1538-1540</i>	18,603	831	395,309	4.70%	0.21%

The table shows that the grapheme **ѣ** can be found in all the books from Božidar Vuković's printing shop, but that its distribution is not even. The highest frequency was observed in *Psal. 1520* and *Lit. 1520*, followed by *Misc. 1536*, while in *Men. 1538* and *Euch. 1538-1540* the frequency is at most half of that in the two previously mentioned books.

The occurrence of the grapheme **ѣ** in specific categories has not always lent itself well to automatic quantitative analysis. By analysing the list of the most frequent words containing **ѣ** and **ѣ** in *AntConc*, we concluded that the two graphemes are most commonly used in the prepositions **ѣѣ/ѣѣ**, **ѣѣ/ѣѣ**, and **ѣѣ/ѣѣ**. A statistical overview of the use of these graphemes in these prepositions in the books from the corpus is shown in TABLES 18 and 19.

²⁴ A rare instance of the grapheme **ѣ** in the *Belgrade Gospel* by the printer Mardarije is attributed by Jerković (1972: 94-95) to the manuscript basis from which the books were copied.

²⁵ According to research by V. Jerković (1972: 94-95), the orthography of the printer Mardarije from Mrkšina Crkva was of a single-yer type, which is confirmed by the *Gospel*, while the presence of the graphemes **ѣ** and **ѣ** in the *Triod*, and in the *Gospel*, can be associated with the basis from which the book was copied.

TABLE 18. Spelling of the prepositions **ѣѣ** and **ѣѣ** in the corpus

Book	ѣѣ	%	ѣѣ	%
<i>Lit. 1520</i>	411	31,88%	878	68,11%
<i>Psal. 1520</i>	735	34,09%	1421	65,90%
<i>Misc. 1536</i>	255	23,67%	822	76,33%
<i>Men. 1538</i>	744	15,38%	4092	84,61%
<i>Euch. 1538-1540</i>	198	12,88%	1339	87,11%

TABLE 19. Spelling of the prepositions **ѣѣ** and **ѣѣ**, **ѣѣ** and **ѣѣ** in the corpus

Book	ѣѣ	%	ѣѣ	%	ѣѣ	%	ѣѣ	%
<i>Lit. 1520</i>	84	26.00%	239	73.99%	81	25.15%	241	74.84%
<i>Psal. 1520</i>	129	39.69%	196	60.30%	36	23.68%	116	76.31%
<i>Misc. 1536</i>	74	24.02%	234	75.97%	39	16.18%	202	83.81%
<i>Men. 1538</i>	154	13.12%	1,019	86.87%	125	10.77%	1,044	89.53%
<i>Euch. 1538-1540</i>	43	12.87%	291	87.12%	38	13.14%	251	86.85%

Unlike in the *Psalter with Appendices* from the Gorazde printing shop – in which the graphemes **ѣ** and **ѣ** are equally present in the prepositions **ѣѣ/ѣѣ** and **ѣѣ/ѣѣ**, while the grapheme **ѣ** is more frequent in the preposition **ѣѣ/ѣѣ** (Grbić 2008: 247-248) – spellings with the grapheme **ѣ** in all the investigated books from Božidar Vuković's printing shop prevail in these prepositions. Orthographic variations in individual books and this category generally fit with the overall relations presented in TABLE 17. The highest frequency of occurrences of the grapheme **ѣ** was registered in *Lit. 1520* and *Psal. 1520*, a slightly lesser frequency in *Misc. 1536*, and the least of all in *Men. 1538* and *Euch. 1538-1540*. Except in *Euch. 1538-1540*, where the use of the grapheme **ѣ** is balanced in all three prepositions, in the other books, the grapheme **ѣ** is more often found in the prepositions **ѣѣ** and **ѣѣ**.

The use of **ѣ** in other categories typical of the Resava orthography (prefixes **ѣѣ-**, **ѣѣ3-**, and **ѣѣ-/ѣѣ-**, pronominal and adverbial root **ѣѣѣ-**) does not readily lend itself to look-up and automatic extraction of examples. By performing a look-up by using the regular expressions $\wedge\text{ѣѣ}\backslash\text{S}$ and $\wedge\text{ѣѣ}\backslash\text{S}$ (**ѣѣ** at the beginning of a word and any other character other than a blank space, or **ѣѣ** at the beginning of a word and any character other than a blank space), we can automatically obtain examples of the spellings **ѣѣ** and **ѣѣ** when they are not a part of a preposition, but not data about the relations in the categories of the prefixes **ѣѣ-/ѣѣ-**, **ѣѣ3-/ѣѣ3-**, **ѣѣѣ-/ѣѣѣ-** or the pronominal and adverbial root **ѣѣѣ-/ѣѣѣ-**. By potentially narrowing down the look-up with the regular expressions $\wedge\text{ѣѣѣ}\backslash\text{S}$ or $\wedge\text{ѣѣѣ}\backslash\text{S}$ (**ѣѣѣ** at the beginning of a word and any other character other than a blank space, or **ѣѣѣ** at the beginning of a word and any other character other than a blank space), we would obtain data where there would still be overlap between examples with the prefixes **ѣѣѣ-/ѣѣѣ-** and ones with the pronominal and adver-

bial root *вѣс-/вьс-*. Narrowing down the look-up using the regular expressions $\wedge\text{вѣз}\backslash\text{S}$ or $\wedge\text{вьз}\backslash\text{S}$ (*вѣз* at the beginning of a word and any other character other than a blank space) would, however, not only allow us to obtain examples with the prefixes *вѣз-/вьз-*, but would also yield examples such as *вѣзвати*, in which we find the prefix *вѣ-* before a verb beginning with *з*. By using the regular expressions $\wedge\text{сѣ}\backslash\text{S}$ or $\wedge\text{сь}\backslash\text{S}$ (*сѣ* at the beginning of a word and any other character other than a blank space, or *сь* at the beginning of a word and any character other than a blank space), we obtained a result with the smallest number of ‘false’ hits. The largest number of resulting examples did correspond to the prefixes *сѣ-/сь-*, whereas a smaller number of examples could also belong to other categories (for instance, the noun *сѣнь*, pronoun *сьи*, adverb *сѣда* and the like). As with all the categories mentioned above, it is necessary to conduct a qualitative analysis after the automatic extraction and to filter the resulting data manually.

4.7. Grapheme *s*

Prior research into the orthographies of early Serbian printed books indicate that the grapheme *s* was most commonly used in the words *сѣло*, *сѣвѣзда*, *сѣвѣрь*, as well as derived terms, and less often in corresponding grammatical cases with the Proto-Slavic second palatalization (cfr. Grković-Mejdžor 1994: 41-42). Performing a look-up of the graphemic combinations *сѣл-/зѣл-*, *сѣвѣзд-/зѣвѣзд-*, and *сѣвѣр-/зѣвѣр-*, we obtained a statistical overview of the spelling of the grapheme *s* in these words from the corpus, as represented in TABLE 20.

TABLE 20. Writing the words *сѣло*, *сѣвѣзда* and *сѣвѣрь* in the corpus

Book	<i>сѣл-/зѣл-</i>	<i>сѣвѣзд-/зѣвѣзд-</i>	<i>сѣвѣр-/зѣвѣр-</i>
<i>Lit. 1520</i>	9/–	8/1	/
<i>Psal. 1520</i>	39/1	19/1	1/15
<i>Misc. 1536</i>	21/–	12/1	5/6
<i>Men. 1538</i>	33/–	158/7	55/12
<i>Euch. 1538-1540</i>	–/11	–/6	–/2

The table shows that in the vast majority of the books from Božidar Vuković’s printing shop (*Lit. 1520*, *Psal. 1520*, *Misc. 1536*, and *Men. 1538*), the grapheme *s* can be found with a higher or a lower frequency when writing the words *сѣло*, *сѣвѣзда*, and *сѣвѣрь* (and words derived from them), while only *Euch. 1538-1540* manifests a consistent spelling of these words with the grapheme *з*. In the first group of books, the grapheme *s* was registered uniformly or almost uniformly in the spellings of the words *сѣло* and *сѣвѣзда*, while the spelling of *сѣвѣрь* points to an unstable practice: we see an almost uniform spelling of *зѣвѣрь* in *Psal. 1520*, an equal distribution of the spellings of *сѣвѣрь* and *зѣвѣрь* in *Misc. 1536*, and the predominance of the spelling *сѣвѣрь* in *Men. 1538*. The grapheme *s* is also found with a

somewhat higher frequency only in *Misc. 1536* and *Men. 1538* in *SMĭA* and derived words; in *Misc. 1536*, the use of *s* and *ʒ* in this word is balanced, while in *Men. 1538*, there is a considerable predominance of *s*. Outside the words mentioned above, the grapheme *s* in the books from Božidar Vuković's printing shop can be found only in rare or isolated instances.

5. Concluding Remarks

By analyzing the orthographic variations observed in Serbian early printed books from Božidar Vuković's printing shop in Venice, this paper has demonstrated that philological investigations of the early Serbian written and printed heritage can be based not only on a qualitative analysis of small-scale textual samples, but also on a quantitative analysis of entire automatically transcribed texts. Thanks to an HTR model for the automatic text recognition of Serbian early printed books previously trained on the *Transkribus* platform, we were able to conduct a quantitative investigation of orthographic variations in Serbian early printed books from Božidar Vuković's printing shop in Venice using a vast corpus of automatically recognized texts that were not corrected manually. The omission of manual correction did not have a significant impact on the results of the quantitative analysis, since CER for automatic recognition was extremely low (1-2%) and any errors were mostly related to spacing.

Orthographic variations in the textual corpus produced in this manner were analysed at the macrolevel using computer stylometry (*R stylo* package), as well as at the microlevel by means of look-up, automatic extraction, and statistical processing of examples of the most important orthographic features of post-Resava orthography, using the program *AntConc*. Automatic computer stylometric analysis of the 100 most frequent bigrams on the character level using the *R stylo* package confirmed the initial hypothesis that orthographic macrovariations in Serbian early books from Božidar Vuković's printing shop in Venice generally depend on the period in which they were printed and the individual printer.

The quantitative analysis of the most important individual features of the post-Resava orthography conducted using *AntConc* confirmed the previous hypothesis only in the instance of *Lit. 1520* and *Psal. 1520*, the books printed by Hieromonk Pahomije in the first period of Božidar Vuković's activity as a printer. The statistical relations in the most important individual orthographic features in these books usually match, with the sole exception that the combinations of graphemes *ѣа* and *ѣѣ* are used to write out [eja] in Slavonic words. A further partial exception was noted with regard to the frequency of the preposition *ѣъ/ѣь*. In both books, the Resava orthography prevailed or was used almost uniformly to spell the phonemic groups [aja], [ija], [ije], and [iju]. The reverse – a considerable predominance of Raška spellings or almost uniform use of them – was registered for the phonemic groups [oja], [uja], [aje], [eje], [oje] and [uje]. A balance between the two or a moderate prevalence of the Raška manner was detected in both books with respect to the spelling of the [je] group in initial position. Both books are characterized by a similar frequency of use of the graphemes *ы* and *ѣ*, as well as of *s* in the words *ѣѣао* and *ѣѣѣаа*.

Variations in the most prominent features of the post-Resava orthography in *Misc. 1536*, *Men. 1538*, and *Euch. 1538-1540* – the books printed in the second period of Božidar Vuković's activity in Venice – were considerably more noticeable. Apart from a similar frequency of the grapheme ы, the only shared features noted among these books were the spelling of [ije] almost uniformly in the Resava manner, as well as the phonemic groups [oje] and [uje] being spelt uniformly or almost uniformly in accordance with the Raška orthographic norm. While *Misc. 1536* and *Euch. 1538-1540* are characterized by the almost uniform use of Resava orthography when marking the phonemic groups [ija] and [iju], and of Raška orthography when it comes to the groups [eja] and [uje], in *Men. 1538* these features are prominent to a somewhat lesser extent. *Misc. 1536* and *Euch. 1538-1540* can also be placed within a single group with respect to the prevailing spelling of the phonemic groups [aje], [eje], and [oje] in the Raška manner, in contrast to *Men. 1538*, in which the Resava orthography predominates for these categories. A different situation is noted in the spelling of the phonemic group [aja]: in *Misc. 1536* and *Men. 1538*, we observed an almost uniform use of the Resava orthography, while in *Euch. 1538-1540*, both orthographic manners were employed with almost equal frequency. *Misc. 1536* and *Men. 1538* can be placed into a single group with regard to the uniform or almost uniform use of the grapheme s in the words *сѣло* and *сѣвѣдѣа*, and partially in *сѣрѣ*, while in *Euch. 1538-1540* the grapheme s was almost never used. Because they both employ the grapheme ѣ less than half as often as *Misc. 1536*, we can classify *Men. 1538* and *Euch. 1538-1540* together within the same group. The level of variation in the books typeset during Božidar Vuković's second period in Venice is especially well illustrated by the different spellings of the phonemic group [je] in initial position: in *Men. 1538*, there is a considerable predominance of the Resava tradition, in *Euch. 1538-1540* the Raška version considerably prevails, whereas in *Misc. 1536* we can note an even distribution of the two spellings.

Our investigation has confirmed the hypothesis that the use of the most prominent features of the Resava and Raška orthographies was normalized in the Serbian books from Božidar Vuković's printing shop in Venice, and it has also for the first time presented more precise statistical data in relation to competing orthographic solutions in 16th-century Serbian printed books, which had previously not been possible with qualitative methods applied to smaller textual samples. The computer-assisted, quantitative approach using tools applied here for the first time to Serbian printed books (automatic text recognition with a *Transkribus* HTR model, automatic look-up and extraction of examples using *AntConc*, stylometric analysis with the *R stylo* package) can be applied to other orthographic and linguistic features of Serbian early books from Božidar Vuković's printing shop in Venice, as well as to other medieval Serbian manuscripts and early Serbian printed books. The limitations of the approach presented in this paper can be overcome by combining it with qualitative methods (as part of a so-called *mixed-methods approach*), and by developing specific AI models for automatic lemmatization and morphosyntactic annotation of Serbian Church Slavonic manuscripts and printed books, which could in turn lead to the creation of an electronic reference corpus of Serbian Church Slavonic.

Sources

- Lit.* 1520: *Liturgikon* – Novi Sad, Matica Srpska Library, catalogue no. PCp II 12.1.
- Psal.* 1520: *Psalter with Appendices* – Novi Sad, Matica Srpska Library, catalogue no. PCp II 1.1.
- Misc.* 1536: *Prayer Book (Miscellany for Travellers)* – Novi Sad, Matica Srpska Library, catalogue no. PCp I 3.1.
- Men.* 1538: *Festal Menaion* – Novi Sad, Matica Srpska Library, catalogue no. PCp IV 1.1.
- Euch.* 1538-1540: *Prayer Book (Euchologion)* – Novi Sad, Matica Srpska Library, catalogue no. PCp II 8.1

Literature

- Bester-Dilger, Rabus 2021: J. Besters-Dilger, A. Rabus, *Neural Morphological Tagging for Slavic: Strengths and Weaknesses*, “Scripta & e-Scripta”, XXI, 2021, pp. 79-92.
- Burlacu, Rabus 2021: C. Burlacu, A. Rabus, *Digitising (Romanian) Cyrillic using Transkribus: New Perspectives*, “Diacronia”, XIV, 2021, pp. 1-9.
- Burrows 2002: J. Burrows, *Delta – a Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship*, “Literary and Linguistic Computing”, XVII, 2002, 3, pp. 267-287.
- Büttner et al. 2017: A. Büttner, F. M. Dimpel, S. Evert, F. Jannidis, S. Pielstöröm, T. Proisl, I. Reger, C. Schöch, T. Vitt, *Delta in der stylometrischen Autorsschafts-attribution*, “Zeitschrift für Digitale Geisteswissenschaften”, 2017, DOI: 10.17175/2017_006.
- Đorđić 1991: P. Đorđić, *Istorija srpske ćirilice*, Beograd 1991.
- Eder et al. 2017: M. Eder, J. Rybicki, M. Kestemont, *Stylometry with R: a Package for Computational Text Analysis*, “R Journal”, VIII, 2016, 1, pp. 107-121.
- Eder 2011: M. Eder, *Style-Markers in Authorship Attribution: A Cross-Language Study of the Authorial Fingerprint*, “Studies in Polish Linguistics”, VI, 2011, pp. 99-114.
- Górski et al. 2019: R. Górski, M. Król, M. Eder, *Zmiana w języku. Studia kwantytatyw-no-korpusowe*, Kraków 2019.
- Grbić 2008: D. Grbić, *Ortografske odlike Goraždanskog Psaltira sa posledovanjem iz 1521. godine*, in: D. Barać (ur.), *Goraždanska štamparija 1519-1523*, Beograd-Istočno Sarajevo 2008, pp. 225-264.

- Grbić 2020: D. Grbić, *Tipografske odlike i varijante izdanja štamparije Božidara Vukovića u Veneciji*, "Ricerche slavistiche" N.S., III (LXIII), 2020, pp. 75-91.
- Grbić et al. 1994: D. Grbić, K. Minčić-Obradović, K. Škorić, *Ćirilicom štampane knjige 15-17. veka Biblioteke Matice srpske*, Novi Sad 1994.
- Grković-Mejdžor 1994: J. Grković-Mejdžor, *Jezik "Psaltira" iz štamparije Crnojevića*, Podgorica 1994.
- Grković-Mejdžor 2012: J. Grković-Mejdžor, *Funkcionalne odlike predgovora i pogovora iz štamparije Đurđa Crnojevića i Božidara Vukovića*, in: J. Stojanović (ur.), *Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas*, Nikšić 2012, pp. 27-36
- Hrvaćanin 2017: R. Hrvaćanin, *Istorijsko-bogoslovska analiza srpskih štampanih liturgijara XVI veka*, Beograd 2017.
- Jerković 1967: V. Jerković, *Osobine glagolskih oblika u Služabniku Božidara Vukovića*, "Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu", X, 1967, pp. 155-160.
- Jerković 1968: V. Jerković, *Cvetni triod iz 16. veka: pravopisne i fonetske odlike*, "Zbornik za filologiju i lingvistiku", XI, 1968, pp. 85-96.
- Jerković 1970: V. Jerković, *Dva četvorjevanđelja štampara Mardarija iz Mrkšine crkve*, "Prilozi proučavanju jezika", VI, 1970, pp. 1-17.
- Jerković 1972: V. Jerković, *Cvetni triod štampara Mardarija iz Mrkšine crkve*, "Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu", XV, 1972, 1, pp. 89-104.
- Jerković 1980: V. Jerković, *Srednjovekovne ortografske škole kod Srba*, "Jugoslovenski seminar za strane slaviste", XXXI, 1980, pp. 19-28.
- Lahjouji-Sepälä et al. 2022: M. Z. Lahjouji-Sepälä, A. Rabus, R. von Waldenfels, *Ukrainian Standard Variants in the 20th Century: Stylometry to the Rescue*, "Russian Linguistics", XLVI, 2022, pp. 217-232.
- Lazić 2018: M. Lazić, *Venice and Editions of Early Serbian Printed Books*, "Theaurismata", XLVIII, 2018, pp. 161-192.
- Lazić 2021: M. Lazić, *Izdavačka delatnost Božidara Vukovića i Vićenca Vukovića u Veneciji (1519-1561)*, Beograd 2021.
- Lazić 2022: M. Lazić, *Božidar Vuković: između istorije i imaginacije*, Beograd 2022.
- Pešikan 1994: M. Pešikan, *Leksikon srpskoslovenskog štamparstva*, in: M. Pešikan, K. Mano-Zisi, M. Kovačević (ur.), *Pet vekova srpskog štamparstva 1494-1994: razdoblje srpskoslovenske štampe XV-XVII veka*, Beograd-Novi Sad 1994, pp. 71-218.
- Polomac 2022a: V. Polomac, *Serbian Early Printed Books from Venice: Creating Models for Automatic Text Recognition using Transkribus*, "Scripta & e-Scripta", XXII, 2022, pp. 11-29.

- Polomac 2022b: V. Polomac, *Serbian Early Printed Books: Towards Generic Model for Automatic Text Recognition using Transkribus*, in: D. Fišer, T. Erjavec (eds.). *Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities*, Ljubljana 2022, pp. 154-161.
- Rabus 2019: A. Rabus, *Recognizing Handwritten Text in Slavic Manuscripts: a Neural-Network Approach using Transkribus*, "Scripta&e-Scripta", XIX, 2019, pp. 9-32.
- Rabus, Petrov 2023: A. Rabus, I. Petrov, *Linguistic Analysis of Church Slavonic Documents: A Mixed-Method Approach*, "Scando-Slavica", LXIX, 2023, 1, pp. 25-38.
- Rabus et al. 2023: A. Rabus, E. Arnold, A. Jouravel, P. Lendvai, M. Meindl, V. Polomac, E. Renje, *Developing a Pipeline for Automatic Linguistic Analysis of Historical Manuscripts and Early Printings: The Pre-Modern Slavic Case*, in: A. Baillot, T. Tasovac, W. Scholger, G. Vogeler (eds.), *Digital Humanities 2023: Book of Abstracts. Digital Humanities 2023. Collaboration as Opportunity (DH 2023)*, Graz 2023, pp. 112-113.
- Samardžić 2012: B. Samardžić, *Ortografske odlike knjiga Goraždanske štamparije (obilježavanje spojeva ja, je, ju, jo, lja, nja, lje, nje, lju)*, "Filolog", V, 2012, pp. 159-169.
- Samardžić 2013: B. Samardžić, *Ortografske odlike knjiga Goraždanske štamparije (obilježavanje poluglasničkog znaka, vokala u, o i jeri, udvojenih slova, vokalnog r i vokalnog l, sekvence št, glasovne vrijednosti ć i đ i pitanje upotrebe slova)*, "Radovi Filozofskog fakulteta", XV, 2013, 1, pp. 113-123.
- Samardžić 2019: B. Samardžić, *Starostavne goraždanske knjige: ortografija i jezika knjiga Goraždanske štamparije*, Beograd-Banja Luka 2019.
- Sindik 1986: N. Sindik, *Književne odlike predgovora i pogovora u izdanjima Božidara Vukovića*, in: J. Milović, R. Vujošević, Č. Vuković (ur.), *Štamparska i književna djelatnost Božidara Vukovića Podgoričanina*, Titograd 1986, pp. 117-130.
- Stamatatos 2009: E. Stamatatos, *A Survey of Modern Authorship Attribution Methods*, "Journal of the American Society for Information Science and Technology", LX, 2009, 3, pp. 538-556.
- Subotin-Golubović 2020: T. Subotin-Golubović, *Sastav Prazničnog mineja Božidara Vukovića i njegovi rukopisni izvori*, "Ricerche slavistiche" N.S., III (LXIII), 2020, pp. 261-278.
- Von Waldenfels, Eder 2016: R. von Waldenfels, M. Eder, *A Stylometric Approach to the Study of Differences between Standard Variants of Bosnian/Croatian/Serbian, or: is the Hobbit in Serbian more Hobbit or more Serbian?*, "Russian Linguistics", XL, 2016, pp. 11-31.

Abstract

Vladimir Polomac, Achim Rabus

Serbian Early Printed Books from Venice: A Quantitative Approach to Orthographic Variations

The paper analyses the most significant orthographic variations in early printed Serbian books from Božidar Vuković's printing shop in Venice. The research was conducted based on automatically obtained transcripts using a previously trained model for automatic text recognition in the *Transkribus* software platform. Orthographic variations were examined at the macro level using the *stylo* package in the statistical programming language *R*, and at the micro level by extracting the most important features of post-Resava orthography using the program *AntConc*. In addition to confirming the initial hypothesis that orthographic variations generally depend on the period in which the books were printed and individual printers, the paper demonstrates precise quantitative relationships of competing orthographic solutions in the corpus, which was not possible to achieve with the traditional qualitative method based on smaller text samples.

Keywords

Serbian Early Printed Books from Venice; Serbian Church Slavonic; Post-Resava Orthography; Automatic Text Recognition; Computer Stylistics.

Федор Борисович Успенский
Анна Феликсовна Литвина

Кубок и крест, ковчег и надгробье. Имена и вещи в подспудной истории Смутного времени

Личное имя – это тот минимальный сгусток информации, который стремится сохранить всякая традиция. Наивная и чрезвычайно устойчивая вера человека в то, что пока не утрачено его имя, не утрачен и след его бытия, имеет под собой некоторые основания. Особенно это заметно, если мы обращаемся к такому феномену, как русская средневековая многоименность, где каждый антропоним обслуживал ту или иную сферу жизни и пересекались они лишь постольку, поскольку пересекались между собой сами эти сферы.

Отыскивание всех имен конкретного человека зачастую носит почти детективный характер и неспроста завораживает исследователя. Помимо очевидной фактографической пользы, когда мы можем установить, к примеру, дату рождения известного исторического персонажа, обнаружить, что две жены некоего мужа в действительности – одно и то же лицо или выяснить кому принадлежал тот или иной предмет, мы приобретаем возможность заглянуть в те области жизни средневекового человека, куда без знания всех его именовании нам путь закрыт или ограничен. Ономастические разведки оказываются здесь особенно продуктивными, будучи соединены с изучением объектов материального мира – светских и сакральных артефактов, а если говорить о жизни элиты, то и с генеалогическими изысканиями.

1. *Письма царевны Ксении (в монашестве Ольги)*

Начнем, однако, наш экскурс в историю 'иной жизни' позднего Средневековья с источника сугубо письменного – двух образчиков эпистолярного жанра, один из которых был хорошо известен исследователям (АИ II: 213. № 182/1), тогда как другой обнаружен относительно недавно (Тюменцев, Тупикова 2018: 945, прилож. 1). Речь идет о письмах злосчастной царевны Ксении Годуновой. Написаны они в ту пору, когда ее отец, царь Борис, умер, мать и брат были убиты, а она сама после тяжелых испытаний в первые месяцы правления Лжедмитрия I и принятия монашеского пострига оказалась в Троице-Сергиевом монастыре, который в 1609 г. осаждали сторонники Лжедмитрия II.

Годунова пишет двум женщинам, одну из которых именуется *тетушкой*, а другую *бабушкой*, однако в действительности никто из них не состоит с ней в кровном род-

стве, а из писем – практически идентичных по содержанию и изображающих бедственное положение царевны-инокини в настоящем – одно апеллирует, скорее, к славному прошлому, тогда как другое к весьма тревожному и неопределенному будущему. Из чего же складывается эта удивительная ситуация? Задавшись таким вопросом, мы сможем с помощью разнообразных материальных предметов погрузиться в мир неявных политических связей, скрепленный весьма прочной сетью свойств, родства через брак. Ткалась эта сеть по преимуществу женскими руками.

Тетушкой в своем письме Ксения называет некую княгиню Домну Богдановну, урожденную Сабурову, и это обозначение, не имеющее, как мы уже сказали, отношения к биологической генеалогии Годуновых, заставляет нас обратиться к прошлому – ко временам правления Ивана Грозного. В 1571 г., царь женил своего наследника, Ивана Ивановича, на девице из рода Сабуровых, Евдокии Богдановне. Брак с царевичем был для семьи невесты не только мощнейшим социальным лифтом, но и центральным событием истории рода, память о котором хранилась на всем протяжении его существования. В свою очередь, Ирина, родная тетка царевны Ксении, вышла замуж за другого сына Ивана Грозного, царевича Федора. Значимость этого брака для Годуновых невозможно переоценить – он был одной из главных опор их права на власть.

Существенно при этом, что в пространстве свойств, этих некровных, но чрезвычайно значимых уз, возникающих благодаря бракам, Евдокия Сабурова и Ирина Годунова, выйдя замуж за родных братьев, сделались между собою *сестрами*. Далее же в дело вступает механизм автоматического переноса этих только что сформировавшихся связей: коль скоро, Ирина Годунова стала сестрой Евдокии Сабуровой по браку, то все кровные племянники и племянницы Ирины Годуновой (включая, разумеется, и нашу царевну Ксению) сразу же превращаются в *племянников* и *племянниц* и Евдокии Сабуровой тоже. Чем престижнее и полезнее брак для семьи, тем более активно считаются родством, и при малейшей надобности оно может быть актуализировано одной из сторон.

К 1609 г. Ксения Годунова лишилась не только царских палат и блистательных надежд, но и всей ближней кровной родни – у нее нет ни родителей, ни родных сестер и братьев, ни кровных дядьев и теток. Свойство с Сабуровыми отсылало к счастливому прошлому и давало хоть какую-то опору в настоящем. Однако всю символическую нагруженность этих рукотворных связей мы сможем оценить, лишь внимательнее взглядевшись в историю вхождения Евдокии Богдановны Сабуровой в царскую семью.

2. *Имена и надгробье царевны Евдокии (в мон. Александры)*

Как известно, сын Ивана Грозного, царевич Иван, был женат трижды, и все его жены, несмотря на различие жизненного пути, заканчивали более или менее одинаково – они оказывались насельницами того или иного монастыря. Можно сказать,

что нашей Евдокии Сабуровой повезло даже больше других. Она недолго терпела тяготы принадлежности к семье царя: в 1571 г. ее выдают замуж за царевича, а в 1575 г. он уже женат на следующей избраннице. Тем не менее, как можно убедиться по множеству примет (в частности, и по письму Ксении Годуновой), этот недолгий брак, потеряв, по-видимому, всякое значение для Ивана Грозного, отнюдь не утратил такового в глазах придворной элиты. Для категории свойств на Руси это, вообще говоря, не удивительно – она обладает здесь своеобразной имманентностью и неизменностью как в прошлом, так и в будущем: женщина называется *снохой* князя, даже если она вошла в семью много лет спустя после его кончины, а княгиня из рода Рюриковичей упоминает в завещании свою *сноху*, хотя ее сын еще холост и при жизни матери так и не женится (Литвина, Успенский 2020: 146-151).

Благопристойный развод, разумеется, кладет конец дальнейшему росту карьеры родственников, но отнюдь не мешает с гордостью вспоминать о некогда состоявшемся сверхпрестижном матримониальном союзе. Разведенной же царевне, Евдокии Сабуровой, суждена была весьма долгая по тем временам жизнь. Она пережила не только зловещего свекра и несчастного мужа, погибшего от руки собственного отца, но застала конец всей династии Рюриковичей на московском престоле, наблюдала все перипетии Смутного времени и скончалась в 1614 г., уже при воцарившихся Романовых – грамоту о ее погребении игуменье суздальского Покровского монастыря, где подвизалась наша Сабурова, ставшая инокиней Александрой, пришлет молодой государь Михаил Федорович (Шокарев 2022: 44). В ту пору Романовым еще очень важна была идея родства/свойств с Рюриковичами через брак Ивана Грозного с Анастасией, а стало быть, небезразлична и мысль о свойстве с первой женой царевича Ивана Ивановича, который состоял с ними в кровном родстве.

В том, что касается исследовательского интереса, Евдокии Сабуровой не во всем повезло – достоверных сведений о ней до сих пор было собрано не так много¹, но при этом ее фигура успела обрасти несколькими историографическими мифами. Так, считается, что надгробная плита из Покровского монастыря, где есть надпись о кончине иноки Александры, поставлена именно по ней:

лѣта 7097/1589] мца авг8(с)а в(ъ) з1 [17] (дн) на памѣ(т) сѣта(го) мѣника Мирона престависѣ раба Бож(и)[а] инока Алє(к)сандра Ѳєдота до(ч) Ивановича Сабѳрова².

Совершенно очевидно, что это неверно: погребенная под плитой инокиня Александра Сабурова скончалась 17 августа 1589 г., тогда как наша Евдокия (Александра), хотя и пребывала в этой обители, дожила до 28 ноября 1614 г. Однако отталки-

¹ Наиболее полно сведения о Евдокии Сабуровой представлены в работе С.Ю. Шокарева (2022), с указанием литературы.

² Гипотеза о принадлежности плиты Евдокии (Александре) Сабуровой была выдвинута Н.М. Кургановой (2007: 50-51), транскрипция же надгробной надписи выполнена А.М. Житеновой (Курганова 2007: 97, прилож. 5).

ваясь от этой ошибочной атрибуции, мы можем полнее представить жизнь и окружение царевны Евдокии в монастыре. Инокня Александра, умершая в 1589 г., по всей видимости, приходилась дочерью небезызвестному воеводе Федору Сверчкову-Сабурову – этот персонаж грозненской эпохи хотя и звался в публичном обиходе *Федор Пот*, в крещении был, судя по всему, *Феодотом* (так он и назван на интересующем нас надгробном камне).

Таким образом, в монастыре жили одновременно две старицы Александры Сабуровы, которые состояли друг с другом в 8-й степени кровного родства, что кажется весьма отдаленной связью для современного человека, но несомненно было вполне актуально и значимо для знатных женщин XVI столетия³. Более того, еще одна их знаменитая родственница – разведенная и постриженная насильно супруга Василия III, великая княгиня Соломония Сабурова (в монастыре Софья) – в свое время тоже жила в этой обители и была там погребена. Иначе говоря, суздальский Покровский монастырь оказывается своего рода прибежищем для женщин из клана Сабуровых, и наша юная царевна Евдокия (Александра) оказавшись здесь, ходила мимо могилы одной своей родственницы, чья судьба была еще хуже ее собственной, и какое-то время разделяла монастырскую жизнь с другой.

Существенно, что при этом не прекращалась ее связь и с родительской семьей, пребывавшей в миру, и особенно характерно, что она была тесно переплетена с воспоминаниями о былом замужестве. Так, архиепископ новгородский Леонид благословил царевича Ивана Ивановича – по всей видимости, в связи с первой его женитьбой – иконой “Предста царица”, которая сохранилась до наших дней (Государственный Русский музей, инв. № ДРЖ-2060). Когда же этот брак был расторгнут, икона не осталась в царских палатах, но последовала вместе с Евдокией в Покровский монастырь. Полтора десятка лет спустя к тыльной стороне ее была прикреплена шелковая лента с сообщением о кончине некоей Ксении Сабуровой:

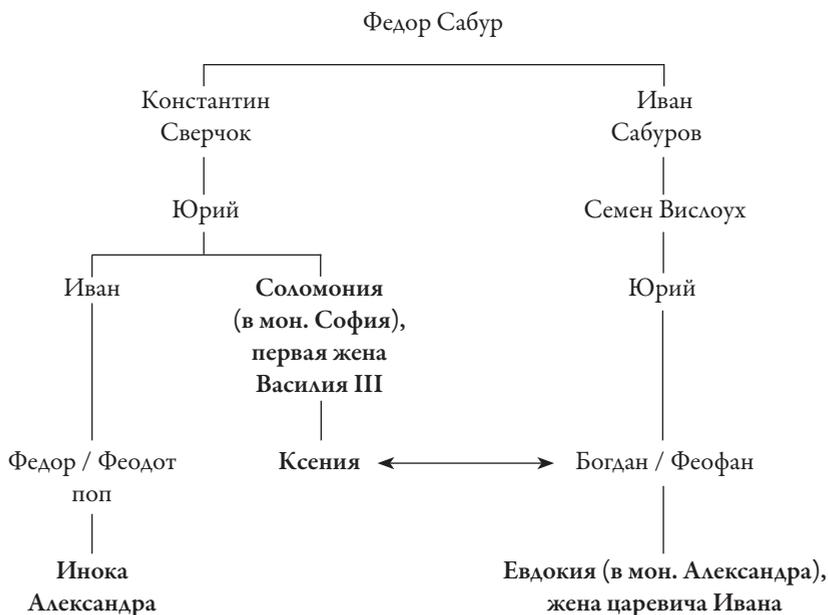
Лета 343-го [7097/1589] пристави(ся) Бо(г)данова ... Сабурова Ксения 3Р?? года
(Вилинбахова 1994: 9-10; Шалина 2018: 95)⁴.

Здесь-то и складывается еще один историографический миф: будто бы речь в этой надписи идет о смерти самой царевны Евдокии Богдановны, а, стало быть, у нее было еще одно имя, *Ксения* (Шалина 2018: 95-96, 121-122, прим. 153-155). Первая часть этого утверждения неверна (мы помним, что царевна скончалась четвертью века позже), а вторая – не только неверна, но и избыточна. Имени *Ксения* ни в миру, ни в монастыре у Евдокии Сабуровой не было – зато *Ксенией* звали ее мать, супругу Богдана

³ Весьма возможно, что это совпадение имен неслучайно – представители одного и того же рода склонны воспроизводить не только светские, но и монашеские имена друг друга.

⁴ Последняя дата в надписи на ленте читается очень плохо. Между словами “Богданова” и “Сабурова” явно было некое ныне нечитаемое слово.

ТАБЛИЦА I



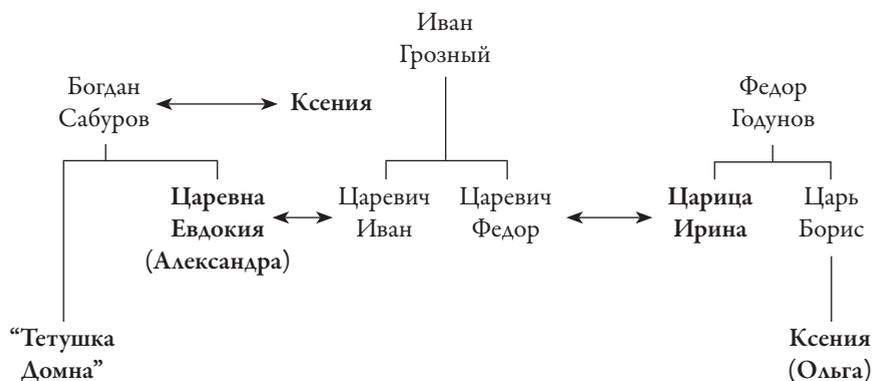
Сабурова⁵. Очевидно, что слово *жена* или *семья*, нечитаемое теперь, присутствовало некогда на шелковой ленте, и *Бо(з)данова* здесь – не отчество, а совершенно стандартное именование женщины по мужу.

Таким образом, мы видим как царевна-инокиня, живущая в суздальском Покровском монастыре, присоединяет к своей свадебной (?) иконе мемориальную записку о кончине матери (см. ТАБЛИЦУ I).

Вернемся, однако, к письму другой царевны-инокини, Ксении (Ольги) Годуновой, с которого мы начали наш рассказ. Мы говорили о том, насколько для Годуновой было важно давным-давно установившееся свойство с Сабуровыми. Само собою напрашивается предположение, что именно Евдокии Сабуровой она и пишет, называя ее *тетюшкой*, что одна монахиня из царской семьи обращается к другой. Отчество *Богдановна*, разумеется, только подкрепляет эту догадку, и ее до сих пор придерживается целый

⁵ Ср., например, запись о заупокойном вкладе Богдана / Феофана Сабурова “по своей жене по Ксенье”, сделанных в 7100/1592 г., (Алексеев 2006: 46, л. 40; ср.: Сахаров 1851: 74; Шаблова 2012: 132, л. 228). Предположение (по всей видимости, устное) о том, что в надписи при иконе упоминается не кто иная, как мать Евдокии (Александры), Ксения Сабурова, сделал в свое время Н.Б. Тихомиров – см. упоминание об этом в работе Т.Б. Вилинбаховой (1994: 9-10).

ТАБЛИЦА 2



ряд исследователей⁶. Однако и это предположение неверно, что еще в начале XX в. блестяще продемонстрировал Д.Ф. Кобеко (1905). В самом деле, при такой атрибуции приходится домыслить Евдокии (Александре) еще одно имя – *Домна* (напомним, что Ксения обращается к своему адресату как к “сударыне моей свету-тетушке, княгине Домне Богдановне”), а никаких свидетельств того, что Евдокия Сабурова носила еще и имя *Домна* у нас нет. Хуже того, нам пришлось бы объяснять, почему Годунова, адресуясь к инокине, никак не упоминает ее монашеского сана и имени, но зачем-то приписывает ей светский титул, которого у той и в миру никогда не было.

На деле же ситуация объясняется весьма просто. Ксения пишет вовсе не самой Евдокии (Александре) Сабуровой, а ее родной сестре, женщине вполне светской и хорошо известной – Домне Богдановне Сабуровой, вышедшей замуж за князя Ивана Андреевича Ноготкова и тем самым сделавшейся *княгиней*. Пресловутый механизм расширительного пересчета свойства делал – благодаря царственному браку сестры – и Домну Богдановну *теткой* Ксении Годуновой (Кобеко 1905)(см. ТАБЛИЦУ 2).

Мы можем, таким образом, не только избавить Евдокию Сабурову от ‘лишних’ имен, но и разглядеть несколько женских образов, несколько узлов в той сети свойства, которая продолжала работать несмотря на быстротечный ход времени и все невзгоды, сопровождающие смену династий на московском престоле. Когда две родные сестры, Евдокия и Домна, выходили замуж, матримониальный союз первой из них выглядел несравненно удачнее брака другой – казалось, что царственная родня Евдокии обеспечит благополучие и процветание и сестре Домне, и их матери Ксении. Хотя судьба и распорядилась иначе, непрерывная связь поддерживалась и между эти-

⁶ См.: Веселовский 1963: 232, 299, 460; Балдин, Манушина 1996: 383, прим. 48; Соколов 2007: 66, № 177; Алексеев 2006: 109, прим. 136; Кучкин 2013: 57-58; Корзинин 2016: 185.

ми кровными родственницами, и между вовлеченными в их круг свойственницами. Покровительствуемые и покровительствующие подчас могли меняться местами, но всегда сохранять надежду если не на действенную помощь, то хотя бы на сочувствие и утешение. Не исключено, что расчет на практическую поддержку Ксения Годунова вкладывала в письмо к другой женщине, которую она именует *бабушкой*. На чем же могли основываться ее чаяние?

3. *Английский кубок в руках русской княгини*

Адресат второго письма, *бабушка* Стефанида Андреевна, это не кто иная, как Стефанида / Матрона Годунова, которая была вдовой двоюродного деда царевны Ксении (Ольги), знаменитого царского дяди, боярина Дмитрия Ивановича Годунова (подробнее о ней: Литвина, Успенский 2022: 100-143; Литвина, Успенский в печати [а]). Хотя Ксения и не состояла с ней в кровном родстве, та близость между ними, которую она демонстрирует, не была, по всей видимости, сугубо этикетной. Дядя царя Бориса в свое время заменил рано осиротевшим племянникам отца, и именно благодаря ему они оказались при дворе Ивана Грозного. Дмитрий Иванович дожил до глубокой старости, так что отпрысками Бориса Годунова он не мог не восприниматься как полноценный заместитель родного деда, а Стефанида / Матрона, которая была за ним замужем с 1589 г., вполне могла играть в их глазах роль бабушки по отцу.

Что же, однако, кроме сострадания бедственному положению Стефанида / Матрона могла дать своей названной внучке в 1609 г.? Казалось бы, могущество и благополучие семьи Дмитрия Годунова в последние годы держалось на царских привилегиях его племянников – сперва Ирины, а потом Бориса, и со смертью последнего (1605 г.) неизбежно должно было кончиться, тем более что и сам Дмитрий Иванович скончался несколькими месяцами ранее. Впрочем положение его вдовы, парадоксальным образом, оказалось вовсе не таким плачевным, как положение самой Ксении, потерявшей отца, мать и брата. Здесь следует обратить внимание на то, к кому обращены благопожелания царевны-инокини – Ксения выказывает заботу о некоем сыне Стефаниды / Матроны, *князе Иване Семеновиче*, и о ее невестке, *княгине Алене Ивановне*. В последние годы удалось совершенно надежно установить, что это за люди.

Публикаторы письма Ксении Годуновой не воспроизвели запись, содержащуюся на его оборотной стороне, а она-то как раз безошибочно раскрывает личность князя Ивана Семеновича⁷. Мы узнаем, что речь идет о князе Куракине, который не имел отношения к Годуновым по крови, но состоял с ними в весьма тесном свойстве – Стефанида / Матрона родила его в первом браке, и ее второму мужу, Дмитрию

⁷ Эту адресную надпись можно видеть, например, на сайте шведского Государственного архива в Стокгольме (Stokholm. Riksarkivet. Ryskabrev. E 8610. PEA 34): <https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0002739_00002#?c=&m=&s=&cv=1&xywh=394%2C3027%2C976%2C1383&r=270>.

Ивановичу Годунову, он стал *пасынком*, а царю Борису, так сказать, *сводным кузеном* (подробнее об этом см.: Литвина, Успенский в печати [а]).

Установление такой родственной связи, вообще говоря, весьма существенно для воссоздания биографии Куракина, этого литератора⁸ и вельможи, преуспевшего при Годунове, недурно продолжившего свою карьеру при Лжедмитрии I, пережившего головокружительный взлет во времена правления Шуйского и даже при Романовых первое время продолжавшего пользоваться определенным влиянием. Алена Ивановна, охарактеризованная в письме как *невестка* Стефаниды / Матроны, это не кто иная, как жена Ивана Семеновича (урожденная княжна Туренина). Пока были живы царь Борис и его дядя, Дмитрий Иванович, они покровительствовали этой семье, тем более что родных детей, доживших до взрослого возраста, у Дмитрия Ивановича не было, и пасынку с супругой в какой-то степени суждено было занимать их место.

До наших дней дошли своеобразные материальные знаки этой приязни старшего поколения к младшему. Так, удалось установить (Литвина, Успенский в печати [а]), что драгоценный кубок английской работы, ныне хранящийся в ризнице Троице-Сергиевой лавры (инв. № 151 ихо)⁹, в свое время был не чем иным, как подарком Дмитрия Ивановича нашей княгине Куракиной – об этом свидетельствует двухчастная выразительная надпись на этом сосуде:

КѢБОКЪ БОДРИНА КОНЮШЕГО ДМИТРИЕѦ ИВАНОВИЧА ГОДУНОВА
ДАНЪ КНЯГИНЕ ЄЛЕНЕ ИВАНОВНЕ ПИТИ ИЗ НЕВО НА ЗДРАВІЕ

Биографии двух женщин – свекрови и невестки – удастся реконструировать куда лучше с того момента, когда было установлено, что обе они обладали двумя христианскими именами в миру. Старшая из них, как мы здесь уже упоминали, носила публичное имя *Стефанида*, но в крещении была *Матроной*, хотя долгое время искусствоведы и историки предполагали, что речь идет о разных женщинах, двух спутницах Дмитрия Годунова, и спорили о том, какую роль каждая из них сыграла в развитии русского декоративного искусства. Родилась Стефанида / Матрона в семье князей Стригиных-Ряполовских, а будучи замужем за Дмитрием Ивановичем Годуновым, стала хозяйкой одной из самых интересных художественных мастерских последних десятилетий XVI-начала XVII в., из которой вышли десятки великолепных

⁸ Перу Куракина принадлежал довольно пространный и витиеватый текст, известный как “Чаша Государева”, адресованный царю Михаилу Федоровичу. При этом исследователи давно отмечают его сходство с другим образчиком этого риторического жанра, “Чашей” Бориса Годунова (Соколова, Солодкин 1993). Зная теперь о столь близком свойстве Куракина и царя Бориса, не следует ли предположить, что Иван Семенович был автором и этого сочинения? См. более подробное обсуждение этого вопроса в: Литвина, Успенский в печати (а).

⁹ Об английском происхождении кубка, изготовленного, согласно именованному клейму, известным лондонским мастером Симеоном Бруком (Semeone Brooke) в 1584/85 г., см.: Гольдберг 1954: 440.

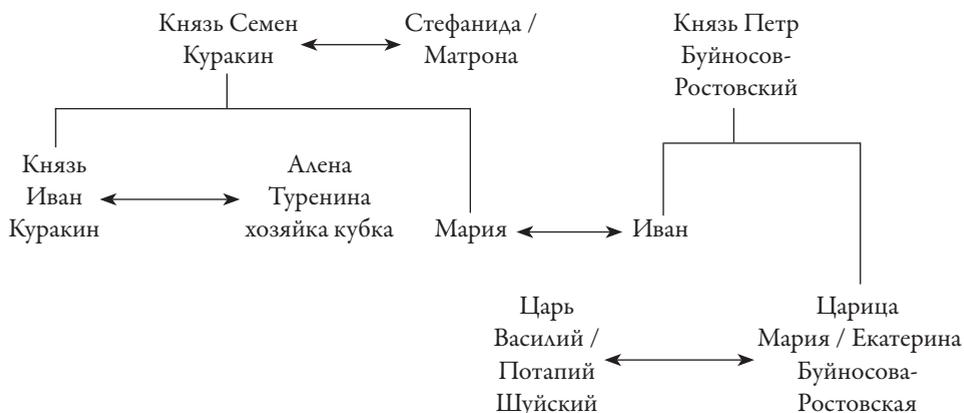
ТАБЛИЦА 3



образчиков лицевого шитья, сохранившихся до наших дней. Вместе с Годуновым она выступала как заказчик и жертвовatelj богато украшенных рукописей и драгоценных предметов, и даже сделавшись монахиней, сохранила возможность распоряжаться некоторыми земельными владениями и немалыми суммами денег, о чем напрямую свидетельствует жалованная подтверждающая грамота царя Михаила Федоровича, выданная 31 декабря 1621 г. инокине Александре, "что была в мире боярина Дмитреева жена Ивановича Годунова" (АСЗ IV: 438-439, № 527) (см. ТАБЛИЦУ 3).

Ее невестка, в публичном обиходе *Алена* (т. е. *Елена*) и *Гликерия* в крещении, принесла мужу множество новых и весьма значимых связей по свойству, несомненно способствовавших продвижению Куракина (см. о них подробнее: Литвина, Успенский в печати [а]). Таким образом, в дальнейшем, когда дом Годуновых сошел со сцены, труды Стефаниды / Матроны, умевшей обеспечить своим детям, Ивану и Марии, сначала более чем влиятельного отчима, а потом и выгодные браки, не пропали даром. Овдовев, она еще долгое время сумеет прожить в почете и достатке в Москве, в доме четы Куракиных. Более того, если прежде молодой князь Куракин мог полагаться на помощь своих близких свойственников Годуновых, то теперь царевна-инокиня Ксения (Ольга) стремится дать ему знать о своем бедственном положении, явно или подспудно надеясь на помощь этого успешного полководца и приближенного царя Василия Шуйского в вызволении из тягот осады и дальнейшую поддержку. На тот момент он был, пожалуй, самым влиятельным из ее свойственников, а его супруга Елена / Гликерия, урожденная Туренина, дочь одного из ближайших приверженцев Бориса Годунова, сохраняла при дворе все свои родственные связи.

ТАБЛИЦА 4



При этом у князя Ивана Семеновича Куракина в руках было два инструмента, позволявших ему при всех переменах фортуны очень долго удерживаться в самой сердцевине дворцовой жизни: связи по свойству и умение мгновенно пренебречь этими связями, как только они прекращали приносить пользу. Так, своим успехом в годы правления Шуйского он был обязан не только собственной политической ловкости, но и вполне конкретному матримониальному обстоятельству – муж его родной сестры, Марии Семеновны, князь Иван Петрович Буйносов-Ростовский, сделался не кем иным, как царским шурином. Мария / Екатерина, его сестра, урожденная Буйносова-Ростовского, как известно, стала супругой царя Василия Шуйского. Когда же чета Шуйских была свергнута с престола и насильственно пострижена в монахи, главой дознавателей, обвинявших недавнюю царицу Марию / Екатерину в растрате государственной казны, стал, ни мало не смущаясь своим свойством, наш Иван Куракин – судя по материалам дела, он отличался оскорбительной дотошностью, выясняя судьбу мелких предметов, явно не имевших никакого государственного значения (Савелов 1914)(см. ТАБЛИЦУ 4).

4. *Имена и крест Василия Шуйского*

До сих пор мы говорили о том, как в тяжелые времена женщины пытались искать опору в свойстве, коль скоро кровное родство уже не могло служить им поддержкой. Что же касается Василия Шуйского, то тщательно конструируемое свойство, пожалуй, не сослужило ему доброй службы в пору низвержения с московского престола. Только что мы отмечали неприглядную роль Ивана Куракина в жизни царицы Марии / Екатерины, а согласно летописным известиям, в заговоре против царя участвовал и более близкий его родственник по браку – князь Иван Михайлович Воро-

тынский, женатый на сестре царицы (ПСРА XIV: 100). Родные же братья во многом разделили с царем Василием его изгнанническую участь, так что в целом судьба семьи Шуйских в эту эпоху выглядит как своеобразный генеалогический предел – тупик в работе всех связей по кровному родству и свойству.

Особый сюжет в истории этого краха связан, как ни удивительно, с принадлежавшими государю личными именами.

Относительно недавно удалось установить, что всю жизнь Шуйский был не только *Василием*, но и *Потапием* (Литвина, Успенский 2021a; Litvina, Uspenskij 2024). Как *Потапия* его предписывается помянуть, например, в кормовой книге Троице-Сергиева монастыря 1674 г.:

<8 декабря> Пр(е)п(о)д(о)бнаго о(т)ца нашегѡ Потапія.

Корм по ц(а)рѣ и великом кн(я)зе Васи́ліи Ивановиче всеа Россіи Поминати м(о)л(и)твенное имя Потапіи... (Кириченко, Николаева 2008: 145, л. 109 об.)¹⁰.

Знание двух мирских христианских имен правителя позволяет, помимо всего прочего, надежно атрибутировать драгоценный напрестольный крест-мощевик, ныне хранящийся в экспозиции *Золотая кладовая* Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника (Фондовая коллекция *Драгоценные металлы и камни*, инв. № В-1702 Ц-2036). Вкладная надпись на нем гласит следующее:

принесе^н ч^тны^и кр^сть со ст^ыми мощ^ими во ст^яю ѡбите^а преч^тны^е б^ацы ч^тна^я е^иа по-
кр^ова^а дв^ач^ь м^анасты^р б^ог^осп^аса^емо^м(^б) гра^ае су^ждале мн^ог^огр^ѣш^ны^и ра^б б^жи^и василе^в во
сто^мб^ь кр^сщ^ни^и потапе^н л^ѣт^ѣ рви^ѣ ~ [112] по се^мо^и ты^сащи ~ [1603/04]

Памятуя о теснейшей связи княжеского семейства Шуйских с этой уже знакомой нам по истории с Сабуровыми обителью, нетрудно догадаться, что упомянутый здесь *раб Божий Василий, во святом крещении Потапий* – это не кто иной, как будущий правитель Василий / Потапий Шуйский. Антропонимическое сочетание *Василий / Потапий*, вообще говоря, довольно редкое и ошибиться здесь практически невозможно. Более того, очевидно, что Василий / Потапий Иванович, происходящий из рода суздальских князей, попросту действует так же, как в разное время поступали его ближайшие родственники, которые пожертвовали в Покровский монастырь немало драгоценных предметов (Литвина, Успенский 2023; Литвина, Успенский в печати [6]).

С другой стороны, атрибуция креста раз и навсегда вносит ясность в статус обоих имен: теперь мы можем не сомневаться, что будущего царя крестили *Потапием*, а

¹⁰ Соответствующие указания на двуименность Шуйского и в других синодиках обители (ОР РГБ, ф. 304/І. 818. Л. 23; ОР РГБ, ф. 304/І. 818. Л. 29; ОР РГБ, ф. 304/І. 814. Л. 59 об.); встречаются они и в одном из синодиков Александра Свирского монастыря (БАН, ф. Алекс.-Свирск. 55. Л. 90/93), тогда как в другом есть упоминание “кн^за Потапіа”, над которым киноварью приписано: “ц^рь Васи́ліи” (БАН, ф. Алекс.-Свирск. 57. Л. 15 об.).

имя *Василий* было выбрано для него по родовым соображениям в качестве публичного. В свою очередь, это новообретенное знание проливает свет на политический подтекст его монашеского имени. В самом деле, в эту эпоху существовала строгая закономерность: чаще всего монашеское имя подбирают по первой букве или по созвучию к тому христианскому имени, которое человек носил в миру, и если он был двуименным, то основой для такого подбора служило исключительно имя крестильное. С царем же, который отказывался даже произносить слова монашеского обета, поступили иначе – при насильственном постриге ему нарекли имя *Варлаам*, подходящее исключительно к публичному *Василий*. Заговорщики пренебрегли крестильным именем *Потаный* не случайно. Хотя многим из них оно было известно, важнее всего было донести до широкой аудитории, что нет более того царя, которого все знали как *Василия*, а есть только *инок Варлаам*.

Замечательно при этом, что его супругу, царицу Марию / Екатерину, постригли “как положено” – в монашестве она сделалась *Еленой*, поскольку в крещении была *Екатериной*. Некоторое время спустя после пострига царица-инокиня оказалась все в том же Суздальском Покровском монастыре, столь важным для семьи ее низверженного мужа – здесь она не могла не встретиться с нашей Евдокией (Александрой) Сабуровой, разлученной с супругом и постриженной тремя десятками лет ранее.

5. *Ковчег князя Хворостинина*

Наблюдения над матрилинейной генеалогией – на этот раз речь пойдет о родстве кровном и самом что ни на есть близком – в совокупности с составлением полного антропонимического досье знатной женщины способны прояснить судьбу и статус еще одного драгоценного предмета, связанного одновременно и с грозненским временем, и с эпохой Смуты, и с тем периодом, когда династия Романовых утверждалась во власти. Любопытным образом, работа ономаста здесь по своему вектору окажется чем-то противоположным исследованию креста Шуйского: если там открывается необходимость повышения официального статуса предмета, то здесь дело идет, скорее, о своеобразном понижении, привнесении собственно семейной, почти интимной составляющей в историю того объекта, который прежде считался чуть ли не государственной инсигнией.

Мы говорим о знаменитом ковчеге Ивана Андреевича Хворостинина, хранящемся в коллекции музеев Московского Кремля (инв. № МР-1059/1-7). Для начала перечислим (предельно схематично) элементы, составляющие этот комплексный объект, отсылая читателя за детализированным описанием к работам М. В. Мартыновой (2000; 2003). Интересующий на ковчег – это не что иное, как деревянный ящичек с крышкой, обитый золотыми и серебряными пластинами, причем и крышка, и окружающая ее рама изобилуют черневыми изображениями. На задней стороне ковчега есть три потайные ящичка, в которых сохранились два серебряных мощевика с резными изображениями св. Матфея, новомученика и чудотворца, и великомученицы

Гликерии. Снаружи на нижней части крышки крепится пластина с надписью. Внутри самого ковчега находится серебряная золоченая икона, к которой прикреплен шестиконечный деревянный крест с золотой оправой, а в нижнюю ее часть вставлена своего рода панагия (так ее называют в описях; она же именуется “скрыжаль” или “скрыжальца” в текстах самого ковчега).

Надписи присутствуют на всех элемента комплекса – на кресте, на иконе, на раме, на крышке, на панагии и мощевиках, так что в известном смысле, наш ковчег – сам себе опись, составленная его заказчиком, князем И.А. Хворостининым. Вот самый пространный из этих его текстов:

В семь киоте крѣтъ стго и животворящаго древа на нем же ра(с)па(с)на Хсъ Бгъ а сеи стѣи крѣтъ сѣтворенъ живатв(о)рацимъ сомосушнымъ древесем а сие стое древо ω(т) того крста иже бѣ присланъ ω(т) Константинополя в Киевъ великому кнсю Владимероу Манамахоу Константина Манамаха единогласна нареченнаго шапкоу и диωдимоу и сердоличноюу чаркоу из неѣ же иногда веселасл. Августъ кесарь римский еще же и тои стѣ крѣтъ тогда приѣѣ ω(т) митрополита Неоѣѣта эфесскаго и митоулиискаго и милитѣискаго и и протчих семь оубо свидѣтельствуеѣт во ωсмой главѣ в степенной книге. в том же киотѣ скрыжальца имоуще камень живоноснаго гроба г(с)дна и ω(т)валенный ω(т) гроба ихъ же Θεωфан патрархъ иеросалимский на своихъ персеѣхъ носивъ да в том же киотѣ мощи мѣницы Гликерии мощи прпдныѣ Парасков(ы)ѣи во плоти мощи Матфѣѣя новомученнаго во плоти. оукрашение сие и искание кнся Ёѣанна Гндрѣевича Хворотинина начать же бысть оукрашати дѣло сие в почестъ Хса Бга ншего в лѣта зргі [1605] а совершено бысть в лѣта зркѣ [1621] году (Мартынова 2000: 63; Мартынова 2003: 97-98).

В описях же, так сказать, внешних, восходящих к первой половине XIX столетия, содержащимся в ковчеге предметам, как и всему этому артефакту в целом, придавалось чрезвычайное значение. Тенденция эта была подхвачена исследовательской традицией и в том или ином виде просуществовала до наших дней. Так, высказывалось предположение, что находящийся здесь крест был изготовлен специально для помазания на царство Ивана Грозного или что им пользовались при венчании на царство ранних Романовых (в частности, царя Федора Алексеевича)¹¹. Предполагалось также, что в соседствующей с крестом панагии содержится тот самый камень от Гроба Господня, на котором по повелению патриарх Гермогена были написаны имена Ивана Васильевича Грозного, его сына Федора Ивановича и Бориса Годунова.

Существенно, однако, что ни одно из этих допущений не подкрепляется письменными данными, а некоторые из них напрямую им противоречат. Более того, решительно непонятно, почему, если речь идет о столь значимых церемониальных регалиях, заказ на изготовление ковчега был поручен такому лицу, как князь Иван

¹¹ Обзор предшествующих интерпретаций и библиографические указания см. в работе: Мартынова 2003.

Андреевич Хворостинин († 1625), фавориту Лжедмитрия I и вольнодумцу, которого при Романовых напрямую обвиняли в отклонении от православной веры, ссылали в монастырь и никогда не допускали до высших государственных должностей. Как мог, наконец, сам князь Иван Андреевич в пространных текстах, вырезанных на ковчеге, рассуждая о Владимире Мономахе или Феофане, патриархе Иерусалимском, никак не упомянуть нынешнего государя Михаила Федоровича, если бы ковчег и впрямь замышлялся как подношение царю или кому-либо из членов его семьи?

Помимо всего прочего, изображения и надписи на разных элементах драгоценного ковчега в значительной степени вторят и перекликаются друг с другом, и в этих повторях акцентируются имена святых, никак с царским домом не связанных. Так, на оборотной стороне ковчега есть три потайные ящичка, в каждом из которых хранилось по одному мощевнику с изображениями св. Гликерии, св. Параскевы и св. Матфея Нового Чудотворца. Изображения свв. Гликерии и Параскевы появляются и на верхней стороне ковчега, на его своеобразной раме. И, наконец, об их реликвиях особо упоминается в пространной финальной надписи на нижней части крышки, где Иван Андреевич как бы подводит итог своему собирательскому труду.

Подобная троекратная репрезентация несомненно свидетельствует об особой важности образов этих мучениц для заказчика. Между тем, если говорить об общерусском прославлении св. Параскевы вполне оправданно, то никаких следов особого культа св. Гликерии (как и случаев соответствующего имянаречения в правящей семье Романовых) не обнаруживается. При этом антропонимическое исследование дает достаточно определенный ответ на вопрос, почему князь Хворостинин уделил столько внимания именно Гликерии при создании своего ковчега, этого сложного комплекса благочестивых артефактов.

Особенно наглядным это объяснение станет, если мы обратимся к драгоценной иконе, помещенной в ковчег. На ней представлены изображения свв. Константина и Елены, и создавалась она, по общему мнению искусствоведов, еще в грозненские времена. Князь Иван Андреевич сообщает, что он начал собирать свой реликварий в 1605 г. (что, помимо всего прочего, лишний раз говорит о том, что первоначально этот предмет с династией Романовых не связывался), а именно в эту пору он – юный фаворит Лжедмитрия I, открывшего царские сокровищницы для своих любимцев – имел возможность делать выбор по своему вкусу и предпочтениям. Почему же князь отобрал икону Константина и Елены и присовокупил к ней мощи и изображения мученицы Гликерии?

Дело в том, что имена *Елена* и *Гликерия*, как недавно удалось установить, носила в миру родная мать Ивана Андреевича – княгиня Елена / Гликерия Васильевна Хворостинина, постригшаяся на склоне лет с именем *Геласия* (Литвина, Успенский 2021б). Ее мужа, Андрея Ивановича, не стало в 1604 г., соответственно, наш Иван Андреевич осиротел совсем молодым человеком. Мы ничего не знаем о его родных братьях или о каком-то специальном покровительстве, оказываемом ему дядьями по отцу, ничего не известно и о помощи свойственников, да и вообще о его браке как

таковом (потомства по себе он, во всяком случае, не оставил). Иначе говоря, мать – Елена / Гликерия Васильевна – оставалась, в сущности, единственным родным свидетелем всех взлетов и падений его дворцовой карьеры, увлечений западническими идеями, писательских опытов и художественных пристрастий. Подобно князю Ивану Семеновичу Куракину, Хворостинин поневоле оказался, так сказать, “маменькиным сынком”, и хотя жизненный путь их несхож, оба они лишь ненадолго пережили своих матерей.

Таким образом, едва ли стоит удивляться, что, собирая на протяжении 16 лет драгоценные элементы ковчега, он так или иначе группирует их вокруг двух небесных покровительниц своей матери. Ничто, как уже отмечалось, не указывает ни на монарший заказ, ни на заранее продуманное намерение Хворостинина преподнести этот плод своих многолетних трудов царской семье. Возможно, князь сделал это незадолго до своей кончины в последней попытке самооправдания, но, скорее, ковчег попал в государеву Большую казну уже после кончины бездетного князя. Здесь этот артефакт пришелся весьма ко двору, чему немало способствовало увенчивающая его каталогизаторская надпись, поскольку все это в полной мере отвечало стремлению молодой династии продемонстрировать свою связь и преемственность как с первыми правителями Руси, так и с древней константинопольской церковью.

Итак, распутывая клубок генеалогических связей, хитросплетений антропони- мических досье и происхождения предметов, мы можем лучше разглядеть тот айсберг семейного существования элиты XVI-XVII вв., от которого до наших дней дошла только крошечная верхушка. В самом деле, в нашем распоряжении есть лишь два письма царевны Ксении Годуновой, но их структура и характер практически не оставляют сомнений в том, что это небольшой фрагмент некоего коммуникативного потока, чудом сохранившиеся образчики обширной и регулярной переписки. Поэтому-то нам так важно иметь максимально полное представление, о судьбах и биографиях тех женщин, к которым она обращалась. Это знание – невозможное без ономастики – дает нам шанс восстановить целую ткань родства через женщин, ту теневую сторону истории рода, которая обеспечивала хотя бы толику преемственности и стабильности в эпоху потрясений и смуты, репрессий и гражданской войны.

Хорошо известно, например, что брак с представителями великокняжеского и царского дома служил своеобразным социальным лифтом для родни невесты. Не менее существенно, однако, что возникающая при этом гибкая и прочная система связей через женщин могла хотя бы отчасти служить страховочной сеткой для тех, кто из этого лифта выпадал. Мужчины-свойственники порой без труда передают друг друга, тогда как женщины склонны, скорее, залатывать образовывающиеся прорехи. Они образуют некий тесный круг, иногда вовлекающийся в политическую борьбу, а иногда дающий возможность от нее отстраниться. Мы видим как вдовы, вновь выходя замуж или попросту оставаясь в миру, продлевают жизнь угасающих родов,

позволяя им напоследок вспыхнуть новым блеском. Такие овдовевшие матери, как выясняется, играли еще бóльшую, чем могло когда-то казаться, роль в придворной и церковной жизни своих сыновей, так что впору задуматься, к примеру, над исследованием об их месте в истории словесности, да и зарождающейся в XVII в. литературы нового типа. Не менее интересно наблюдать, как знатные монахини, вольные и невольные, остаются непосредственными участницами светской жизни, объединяясь со своими родственницами-мирянками или формируя своеобразные кланы внутри монастырских стен.

Помимо всего прочего, традиционность и консерватизм династического быта XVII в., несколько неожиданные для новой династии, воцарившейся после стольких перипетий Смутного времени, были, по-видимому, хотя бы отчасти обязаны своим существованием долгожительству системы свойства, кое-как объединявшей новую эпоху с давними – более спокойными – временами. С одной стороны, коммеморативные записи, имена собственные, переходящие из рук в руки сакральные и светские предметы – это не только благодарный материал для современного историка, но и олицетворение живой памяти для самих людей позднего Средневековья, поддерживающей ощущение естественной преемственности в повседневной и духовной жизни. С другой стороны, не менее важны и, так сказать, сиюминутные политические манипуляции с именованиями и предметами, оценить которые можно лишь досконально разобравшись в ономастических сюжетах – воцарение Годуновых, низведение Шуйского или легитимизация Романовых сопровождается обильным антропонимическим и генеалогическим конструированием, к которым прибегают как новые династы, так и их противники.

Сокращения

АИ II:	<i>Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией, II, Санкт-Петербург 1841.</i>
АСЗ IV:	А.В. Антонов (сост.), <i>Акты служилых землевладельцев XV-XVII века, IV, Москва 2008.</i>
БАН:	Библиотека Академии Наук, Санкт-Петербург.
ОР РГБ:	Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, Москва.
ПСРА XIV:	<i>Полное собрание русских летописей, XIV, Санкт-Петербург 1910.</i>

Литература

- Алексеев 2006: А.И. Алексеев, *Вкладная и Кормовая книга Московского Симонова монастыря*, “Вестник церковной истории”, 2006, 3, с. 5-184.
- Балдин, Манушина, 1996: В.И. Балдин, Т.Н. Манушина, *Троице-Сергиева лавра: Архитектурный ансамбль и художественные коллекции древнерусского искусства XIV-XVII вв.*, Москва 1996.
- Веселовский 1963: С.Б. Веселовский, *Исследования по истории опричнины*, Москва 1963.
- Вилинбахова 1994: Т.Б. Вилинбахова, *О трех иконах из Покровского монастыря Суздаля в собрании ГРМ*, в: *Древнерусское искусство: Новые атрибуции*, Санкт-Петербург 1994, с. 3-12.
- Гольдберг 1954: Т.Г. Гольдберг, *Из посольских даров XVI-XVII веков: Английское серебро*, в: *Государственная Оружейная палата Московского Кремля: Сборник научных трудов по материалам Государственной Оружейной палаты*, Москва 1954, с. 435-506.
- Кириченко, Николаева 2008: Л.А. Кириченко, С.В. Николаева, *Кормовая книга Троице-Сергиева монастыря 1674 г. (Исследования и публикация)*, Москва 2008.
- Кобеко 1905: Д.Ф. Кобеко, *Сабуровы и князья Ноготковы*, “Летопись Историко-родословного общества в Москве”, 1905, 2, с. 3-6.
- Корзинин 2016: А.Л. Корзинин, *Государев двор русского государства в доопричный период (1550-1565 гг.)*, Москва-Санкт-Петербург 2016.
- Курганова 2007: Н.М. Курганова, *Страницы истории некрополя города Суздаля*. Москва 2007.
- Кучкин 2013: В.А. Кучкин, *Московские Рюриковичи (генеалогия и демография)*, “Исторический вестник”, 2013, 4 (151), с. 6-71.
- Литвина, Успенский 2020: А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский, *Династический мир домонгольской Руси*, Санкт-Петербург 2020.
- Литвина, Успенский 2021а: А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский, *Два имени государя (Потопий Максимович Матвеев внук или Василий Иванович Шуйский)*, в: О. Воскобойников, О. Тогоева (сост. и отв. ред.), *Анатомия власти: государи и подданные в Европе в Средние века и Новое время*, Москва 2021, с. 120-134.
- Литвина, Успенский 2021б: А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский, *Из наблюдений над ковчегом князя Ивана Хворостинина (1601-1621 гг.)*, “Slověne/Словѣне. International Journal of Slavic Studies”, X, 2021, 1, с. 94-112.

- Литвина, Успенский 2022: А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский, *Годунов в кругу родни (Биографические разыскания)*, Санкт-Петербург 2022.
- Литвина, Успенский 2023: А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский, *Свержение царя Василия Шуйского в свете новых данных*, “Вопросы ономастики”, XX, 2023, 3, с. 103-119.
- Литвина, Успенский в печати (а): А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский, *Английский кубок в семье русского боярина (просопографические аспекты провенанса)*, в: *Памятники культуры. Новые открытия: Письменность, искусство, археология*, Москва.
- Литвина, Успенский в печати (б): А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский, *Напрестольный крест 1603/04 г. из Покровского монастыря в Суздале: Идентификация вкладчика*, в: Т.В. Гимон, П.В. Лукин, Е.А. Мельникова (отв. ред.), *Древнейшие государства Восточной Европы. 2024 год: Памяти А.В. Назаренко*, Москва.
- Мартынова 2000: М.В. Мартынова, *Ковчег Ивана Хворостинина*, в: А.М. Лидов (ред.-сост.), *Христианские реликвии в Московском Кремле*, Москва 2000, с. 63-66.
- Мартынова 2003: М.В. Мартынова, *Ковчег Ивана Хворостинина*, в: *Художественные памятники Московского Кремля: Материалы и исследования*, XVI, Москва 2023, с. 91-109.
- Савелов 1914: А.М. Савелов, *Страничка из истории Смутного времени: Царица Мария Петровна Шуйская*, “Русский архив”, 1914, 2, с. 222-234.
- Сахаров 1851: И.П. Сахаров, *Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря*, в: “Записки Отделения русской и славянской археологии имп. Археологического общества”, I, Санкт-Петербург 1851, с. 46-89.
- Соколов 2007: А.Н. Соколов, *Полный относительно изданного до настоящего времени перечень князей и дворян, потомков Рюрика – первого русского князя, основателя династии Рюриковичей и русской государственности*, Нижний Новгород 2007².
- Соколова, Солодкин 1993: А.В. Соколова, Я.Г. Солодкин, *Куракин Иван Семенович*, в: *Словарь книжников и книжности Древней Руси*, III (XVII в.) / 2 (И-О), Санкт-Петербург 1993, с. 206-212.
- Тюменцев, Тупикова 2018: И.О. Тюменцев, Н.А. Тупикова, *Новые письма и челобитные Смутного времени из Троице-Сергиева монастыря и его вотчин*, “Вестник Санкт-Петербургского университета. История”, XLIII, 2018, 3, с. 935-948.

- Шаблова 2012: Т.И. Шаблова, *Кормовое поминовение в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре в XVI-XVII веках. Публикация: Синодичное предисловие; Книга кормовая; Синодик кормовой*, Санкт-Петербург 2012.
- Шалина 2018: И.А. Шалина, *Иконы из ризницы Покровского Суздальского монастыря в собрании Русского музея*, в: *К 25-летию возрождения Свято-Покровского женского монастыря г. Суздаля (1992-2017). Материалы научных чтений 13 октября 2017 г.*, Суздаль 2018, с. 51-126.
- Шокарев 2022: С.Ю. Шокарев, *Смерть царицы старицы Александры (1614 год) и русский погребальный обряд XVI-XVII веков*, "Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук", 2022, 1 (53), с. 40-47.
- Litvina, Uspenskij 2024: A. Litvina, F. Uspenskij, *The Sovereign's Two Names (Potapii Maksimovich the Grandson of Matvei, or Vasilii Ivanovich Shuiskii)*, в: Á. Kriza, W.F. Ryan (ed.), *Enigma in Rus and Medieval Slavic Cultures*, Berlin-Boston 2024, с. 349-361.

Abstract

Fjodor Uspenskij, Anna Litvina

Goblet and Cross, Casket and Tombstone. Names and Things in the Hidden History of the Time of Troubles

In this work we discuss new attributions of valuable and commemorative objects from the mid-16th to the early decades of the 17th century, namely the tombstone of Aleksandra Saburova, the reliquary of Ivan Chvorostinin, the cross from the Gold Storeroom of the Vladimir-Suzdal' Preserve Museum, the goblet from the sacristy of the Trinity Monastery of St. Sergius, and letters of Ksenija Godunova. Reconsidering the provenance of these objects through the lens of historical onomastics allows us, in particular, to observe the inner functioning of the complex system of the in-law connections and matrilineal kinship, which simultaneously unites and divides the court elites and the Czar, whilst forming the bridge of continuity between the two eras. For the families of Ivan the Terrible, Godunov and Šujskij, the choice of a name once again becomes the space where purely political tasks, everyday life and personal piety collide and intersect.

Keywords

Ivan the Terrible's Family; the Saburovs; the Godunovs; Vasilij Ivanovič Šuiskij; Secular Christian Binominality; Kinship and Affinity Among the Court Elites.

Ирина Александровна Вознесенская
Георгий Анатольевич Мольков

Первые морские уставы Петровского времени: переводы и адаптация*

Появление военно-морского флота в России на рубеже XVII-XVIII вв. потребовало от государства подготовки военно-морского законодательства. Исследование законодательной деятельности этого периода началось еще в XIX в. Публикация голландского флотского дисциплинарного устава 1662 г. в русском переводе состоялась в Морском сборнике в 1855 г. (Мельницкий 1855: 162-218). Автор публикации сообщил, что нашел в эрмитажной библиотеке в собрании книг Петра I "три голландских морских устава: один печатный¹ в двух экземплярах (один экземпляр с русским и голландским текстами, другой с одним русским) и другие два рукописные переводные" (Мельницкий 1855: 169). В 1859 г. С.И. Елагин (1859: 10-11) ввел в научный оборот *Правила службы на судах* 1698 г. – так называемые "Артикулы" К. Крюйса, составленные на основе голландского морского законодательства. Сравнив *Правила службы на судах* и *Инструкцию и Артикулы военные Российскому флоту* – печатное издание 1710 г., Елагин пришел к выводу, что *Инструкция* 1710 г. является результатом редактирования *Артикулов* 1698 г. (Елагин 1859: 15-40). Этот вывод поддержал Ф.Ф. Веселаго и доказал, что *Правила службы на судах* использовались военно-морскими кригсрехтами в судебных делах с 1702 г. до издания *Инструкции* 1710 г. (Веселаго 1875: 569). Чуть позже М.П. Розенгейм (1878: 103-104, 357-362) опубликовал *Артикул корабельный* 1706 г. из "ручной книги" поручика И.И. Кожевникова.

В современной историографии один из крупнейших специалистов по истории флота петровского времени П.А. Кротов (2017: 664) установил прямую текстуальную зависимость *Артикула корабельного* 1706 г. от голландского дисциплинарного устава 1662 г., изданного в русском переводе в 1855 г. М.О. Акишин (2020: 8-25) опубликовал *Правила службы на судах* 1698 г. по списку перевода из РГАДА², предварив публикацию подробным изложением историографии вопроса и анализа текста. По его мнению, *Правила службы на судах*, являясь переработкой голландского дисципли-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, в рамках научного проекта № 23-18-00420.

¹ Речь идет о *Книге ордера* Вильгельма Оранского; описание см.: Быкова, Гуревич 1955, № 75, 79, 880.

² РГАДА. Ф. 150. Оп. 1. Д. 9. Л. 245-262 об.

нарного устава 1662 г., были первым военно-морским уставом российского флота в период 1698-1710 гг. и действующим нормативно-правовым актом для иностранных морских специалистов, нанятых на службу в Военно-морской флот России; также они, по мнению М.О. Акишина, оказали существенное влияние на становление административного и уголовного права Военно-морского флота России.

Картину развития морского законодательства на рубеже веков дополняют рукописи из собрания библиотеки Петра I, содержащие морские уставы, не привлекавшие до сих пор должного внимания специалистов. Одна из рукописей – *Сборник морских уставов* (БАН. П I Б № 31), появление которого датируется ноябрем 1692 г. Писец и, возможно, переводчик этой рукописи нам неизвестен, в конце текста он оставил только инициалы “РК”. Книга переплетена в красный сафьян с золотым тиснением, обрез тоже золоченый. Блок дополнен завязками, которые изготовлены из шелковой зеленой с желтым орнаментом тесьмы. Внешний вид рукописной книги позволяет сделать предположение о ее подносном характере. Рукопись написана на бумаге с филигранью Семь провинций с литерами AI (курсив) и контрамаркой CDG одним почерком (Churchill 1935: № 110 [1654]; Heawood 1950: № 3144 [1686]).

Первой в сборнике выступает *Артикульная грамота или наказ карабельного всякого чина людем* – перевод голландского текста, написанного в Гааге в 1662 г. Атрибуция следует из записи в конце грамоты перед присягой: “И сие учинено и написано в Гаге сего 1662 года сентября в 17 день. Закреплено руками президента и пенсионара, и приложена печать статская на красном воску”³. Следующий текст сборника *Генеральные знаки, или ясаки, обыче и звычайные на караблях воинских, которые принадлежат к караваном господ высокопочных Стат Соединенных Недерлянд. Так же как случится воинским провожатъ купецкие карабли* написан в 1688 г. на корабле “Кортин”, он также представляет собой перевод с голландского языка. *Наказ во осмотрение королевского величества аглинского карабельного воинского каравана во время бою*, завершающий сборник, не имеет “выходных данных” и, видимо, является переводом с английского.

Сравнение настоящего сборника с публикацией В. Мельницкого в “Морском сборнике” 1855 г. показывает, что именно эта рукопись послужила оригиналом для публикации “голландского морского законодательства”. Предваряя публикацию, Мельницкий сообщил, что нашел морские уставы в эрмитажной библиотеке среди книг “собственной” библиотеки Петра I. Следует отметить, что настоящий сборник хранился в собрании Петровской галереи под номером 21 (24) и поступил в БАН в 1932 г. Артикульная грамота была опубликована (Мельницкий 1855: 185-205) полностью без лакун с параллельным добавлением статей из Морского устава 1720 г. к тем артикулам, которые по мнению публикатора были заимствованы, с указанием книги, главы и параграфа. “Генеральные знаки или ясаки” были опубликованы не полностью, а только в виде “выписок” из отдельных артикулов (Мельницкий 1855: 206-207).

³ БАН. П I Б № 31. Л. 26.

Указы во время погоды туманной, заключающие текст *Генеральных знаков* с собственной нумерацией статей, Мельницкий посчитал отдельным уставом, но публиковать не стал, приведя лишь колофон в конце текста: “Писана на воинском карабле Кортине октября в 26 день 1688 году” (Мельницкий 1855: 208).

Таким образом, переводы голландского морского законодательства 1662 и 1688 гг. предоставляются в распоряжение Петра в 1692 г. В этом году Петр Алексеевич и голландец Карстен Брандт строят на Плещеевом озере потешную флотилию, и летом здесь проходят первые маневры потешного флота совместно с пехотой и артиллерией.

Из вошедших в *Сборник морских уставов* текстов первый – *Артикульная грамота* – в наибольшей степени привлекал внимание российской стороны, т.к. этот голландский устав 1662 г. на рубеже XVII-XVIII вв., по нашим наблюдениям, переводился на русский язык неоднократно. Часть этих переводов осталась неизданной и сохранилась в той же Библиотеке Петра I в БАН. Рукопись под названием *Правы морские* датируется концом XVII-началом XVIII в. (БАН. П I Б № 29). Переплет рукописи выполнен из голубого шелка с широкими шелковыми розовыми завязками. Картон обтянут шелком с обеих сторон, обрез вызолочен. Это также позволяет предположить, что настоящая рукопись – подносной экземпляр. Текст имеет преамбулу, написанную от имени Петра Алексеевича с титулатурой. В тексте сам документ называется статейной грамотой и содержит 63 статьи или артикула. Еще одна рукопись (БАН. П I Б № 30) содержит похожий текст из 63 артикулов возможно более позднего времени: кириллическая цифирь в тексте заменена арабскими цифрами. Обе рукописи, по нашим наблюдениям, представляют собой разные переводы *Артикульной грамоты*.

В 1710 г. в Москве тремя тиражами были изданы *Инструкции и артикулы военные надлежащие к Российскому флоту*, текст которых без сомнения близок переведенной с голландского языка *Артикульной грамоте* из сборника 1692 г.⁴ Выше уже отмечалось, что *Инструкции и артикулы* 1710 г., по мнению предшествующих исследователей, являлись переработкой голландского дисциплинарного устава 1662 г., то есть *Артикульной грамоты* из сборника БАН (П I Б, № 31) – по нашим наблюдениям, это не совсем точно отражает историю текста. Книги были напечатаны только на русском языке (Быкова, Гуревич 1955: № 38, 39, 40). Заметим, что в первом тираже страницы издания были разделены на два столбца, текст помещен на левой стороне, правая для параллельного голландского текста оставлена пустой. В 1714 г. *Инструкции и артикулы* снова были напечатаны уже в Санкт-Петербургской типографии с параллельным голландским текстом двумя тиражами в марте и июле (Быкова, Гуревич 1955: № 80, 110). На титульном листе *Инструкций* была помещена гравированная виньетка.

⁴ Кроме того, *Генеральные сигналы надзираемые во флоте его царского величества...*, многократно печатавшиеся с 1708 г., при сравнении оказываются редакцией следующего текста, помещенного в сборнике: *Генеральные знаки, или ясаки, обыче и звычайные на караблях воинских, которые принадлежат к караваном господ высококомочных Стат Соединенных Недерлянд...* 1688 г.

История переводов *Артикульной грамоты* остается по сей день малоизученной. Большинству исследователей, обращавшихся к ней, были известны отдельные рукописные списки этого устава. Сравнивая тот или иной список с печатным изданием 1710 г., историки делали вывод о том, что версии текста в списках представляют собой результат редактирования одного и того же русского перевода. Однако сравнение всех известных версий этого устава позволяет установить наличие нескольких переводов, выполненных в течение достаточно небольшого периода.

Всего выявляется по меньшей мере 6 разных русскоязычных версий текста *Артикульной грамоты* 1662 г.:

- БАН. П I Б № 31, 1692 г.
- БАН. П I Б № 29, рубеж XVII-XVIII вв.
- БАН. П I Б № 30, рубеж XVII-XVIII вв.
- *Артикулы* К. Крюйса, 1698 г.
- *Артикул корабельный* 1706 г.
- *Инструкции и артикулы военные...* М., 1710 г.; тот же текст переиздан в 1714 г. с параллельным голландским текстом, на который мы будем опираться в настоящем исследовании⁵.

Ни одна из 6 версий дословно не повторяет какую-либо другую, однако варианты текста, представленные в них, определенно поддаются группировке.

Несомненно, один и тот же перевод представлен в рукописях № 29 и 1698 г. Примерно в половине артикулов текст устава буквально (например, артикул 6-й или 47-й⁶) или с минимальными разночтениями совпадает; разночтения могут касаться изменения порядка слов (в 7-м, 26-м или 38-м артикулах), грамматики отдельных форм (*потеряются* vs. *потеряют*, *вручили* vs. *вручит* в 13-м артикуле, *учрежденныхъ советниковъ* vs. *учрежденного советника* в 59-м и др.), встречаются единичные словообразовательные (*поставленном* vs. *постановленном* в 18-м артикуле, *пременилъ* vs. *переменил* в 24-м) и лексические замены (*на каждомъ карабль* vs. *на томъ корабле* в 5-м артикуле, *нѣкоторыя* vs. *иныя* в 31-м и др.) или уточняющие вставки (в 11-м артикуле к слову *насилства* добавлено *или утеснения*, в 28-м артикуле к слову *живности* добавлено *или запасы*).

⁵ Отдельного издания этой грамоты, по-видимому, не существовало, что косвенно подтверждается наличием удостоверительной части в *Артикульной грамоте* 1662 г.; при этом текст этого устава опубликован в составе книги (Witsen 1671: 386-392).

⁶ Здесь и далее нумерация артикулов, если это специально не оговаривается, будет приводиться по печатному изданию 1710/1714 г. В рукописных переводах нумерация параграфов (начиная с 10-го) не совпадает, т.к. в некоторых вариантах устава появляются вставные параграфы, в некоторых два параграфа объединяются под одним номером или наоборот единый параграф разбивается на два (например, 17-й в *Артикулах* 1698 г. разбит на 17-й и 18-й) и т. д.

Приведенные примеры показывают, что отличия в тексте № 29 и 1698 г. связаны с сознательным редактированием. Помимо перечисленных мелких исправлений в некоторых параграфах проведено более серьезное редактирование. Приведем в качестве примера начало 12-го артикула в этих двух списках (несовпадающий текст подчеркнут):

№ 29

Аще кто без повелѣнія на землю // поидеть, и которые чѣт: кто ни есть тотъ когда онъ послѣ кушанія на карабль придетъ ествы и питія просити не имѣеть, и сверхъ ого наказанъ да будетъ даяние^м два^цца^ти копе^икъ, ис которыхъ половина ко по^азѣ нищихъ, а другая половина наказанъ да будетъ, по разсужденію коменду^ющаго нача^лника. л. 7 об.-8

1698 г.

Аще без ведома и позволения на землю поидет, из котороя четверти кто ни есть, тот, когда он после кушанья на карабль придет, ествы и питія просити не имеет. И сверх того наказан будет полудефимком, из котораго половина нищим, а другая половина профосу дана да будет, или по разсужденію капитана иным образом наказан быти имеет. л. 2.48 об.

Различия двух версий текста касаются также и ряда содержательных параметров, отредактированных по всему тексту. Многие артикулы отличаются в заключительной части, содержащей санкции за правонарушение. В Артикуле К. Крюйса предложены более мягкие или менее конкретные санкции: *смертью наказан да будетъ vs. да наказан будет на теле* (§ 10), *тот трижды проволочень да будетъ под карабль, и биен будетъ от всѣхъ карабелныхъ людей vs. тот наказан да будет* (§ 25), *трижды от райны низверженъ да будетъ vs. наказан да будет* (§ 27), *под наказаниемъ посаждения в желъза на ндлю, и пропитаниемъ с водою и хлѣбомъ vs. под потеряннемъ своего уже выслуженного жалованья* (§ 56), *под пеню висилицы vs. под пеню* (§ 59) и др. Последовательно по всему тексту устава пересчитан в разных денежных единицах размер штрафов: в рукописи № 29 – в российских, а в Артикуле К. Крюйса – в европейских: *под наказаниемъ десяти копейкъ vs. под наказаниемъ шелинга* (§ 2), *даяниемъ дватцати копейкъ vs. полудефимкомъ*⁷ (§ 12), *по десяти рублевъ vs. по 50 гулденов* (§ 20) и др.

Эти случаи систематических исправлений показывают, что текст Артикулов Крюйса – более поздний по отношению к рукописи № 29, с которой, возможно, К. Крюйс работал при подготовке своей версии. Об этом позволяет судить рассмотрение соответствующих замен на фоне других переводов. Во всех рассмотренных случаях – при определении санкций – рукопись № 29 совпадает с остальными переводами: в § 10 все версии устава за нарушение присяги предполагают смертную казнь (и только устав К. Крюйса – наказание *на теле*), в § 12 во всех переводах размер штрафа, выплачиваемого профосу, указан в копейках (а у К. Крюйса – в полудефимках) и т.д. По-видимому, К. Крюйс исправлял устав под конкретную ситуацию – для применения его в смягченном виде (размер штрафов уменьшен) среди завербованных в ходе

⁷ Ср. *ефимок* – ‘русское название талера, монеты, бывшей в обращении в России до середины XVIII века’ (СЛРЯ XVIII, VII: 86).

Великого посольства моряков (Акишин 2020: 11), для которых штрафы были понятнее в шилингах и гульденах, а не в рублях и копейках.

Помимо указанных особенностей устав, подготовленный К. Крюйсом, имеет некоторую специфику в наборе артикулов. В нем отсутствуют имеющиеся во всех прочих переводах артикулы 46-й и 51-й, но при этом добавлен артикул № 63 (по нумерации этой версии текста), не представленный в остальных известных нам русскоязычных вариантах этого устава. В нем оговаривается условие получения месячного жалования.

Тексты в рукописях № 31, № 30, *Артикуле* 1706 г. и печатных Артикулах 1710 / 1714 г. содержат три иных перевода по сравнению с рассмотренной версией № 29 / 1698 г. Первый – вероятно, самый ранний – перевод 1692 г., отраженный, как установил П.А. Кротов⁸, в *Артикуле* 1706 г. Текстовых совпадений с другими списками нет (случайно совпадают отдельные слова и словосочетания, вызванные общностью оригинала). Этот перевод самый краткий – многие артикулы изложены лаконичнее, чем в других вариантах. Возможно, версия голландского устава 1662 г., с которой он сделан, содержала несколько иной вариант текста, чем тот, что лег в основу остальных русских переводов. Представление о соотношении перевода 1692 г. с прочими вариантами даст, например, текст § 14 (в нумерации 1692 г. это § 16):

1692 г.

Никто да дерзнетъ украсти пороху, пулекъ, или каковы^х запасо^в вои^нскихъ, и продавать или на берегъ вести, по^а пѣню ка^нни сме^рт-ной, и такова повѣсить. л. 6

№ 29

Никто *начальныхъ людей ко^нстапеле^н матрозо^в, или иной кто* да не дерзаетъ, пороху, ядеръ, или *иныхъ // воинскихъ припасовъ спря- тать*, продать, ѳли на землю принестъ *любо в бочкахъ, рогакъ, платъяхъ, или инако по^а наказаниемъ вѣшания петлею*. л. 9 об.-10

При одинаковом содержании в тексте артикула 1692 г. отсутствует детализация обстоятельств совершения правонарушения на судне.

В отличие от всех других рассматриваемых версий этого устава артикул 1692 г. сохраняет приуроченность к условиям Голландии – этот документ согласно преамбуле учрежден *въ оборону соединенныхъ недержандъ* и исходит от *высокомочныхъ гдѣ статъ* (л. 1 об.), которые далее в тексте неоднократно упоминаются, тогда как позднейшие переводы оформлены уже как указ от имени российского правителя.

Перевод 1692 г. имеет специфику в наборе артикулов. Как отмечал П.А. Кротов (2004: 295), параграфы № 10 и 12 в нумерации этого варианта отсутствуют в других русскоязычных версиях.

Этот вариант текста – хотя и с некоторыми редакторскими правками – представлен в сокращенном *Артикуле* 1706 г. Таким образом, не вполне корректно счи-

⁸ Исследователь пишет, что “Артикул корабельный (1706) является простым, как правило, дословным извлечением из голландского дисциплинарного устава 1662 г.” (Кротов 2017: 664).

тать его “переработкой” устава К. Крюйса, как предлагает М.О. Акишин (2020: 11), т.к. текст параграфов в этой версии явным образом совпадает со специфической версией 1692 г.

1692 г.

§ 2. Кто во время той службы бж҃ей и млтвѣ, учнетъ смѣяться, издѣваться, или чѣмъ бѣчиновать, тогѡ взявъ привязать къ машту, и бить по сѣдалищу, и доправить на профоса в алтна. л. 2

§ 37. И для убѣжанія всякихъ ссоръ повелѣваемъ ѿнюдь костей зерновы^x, картъ, и такихъ орудій на карабѣ не держати, по^а запрещеніемъ наказанія явнагѡ по ра^ссмотренію. л. 11

1706 г.

§ 1. Кто во время молитвы учнетъ смѣяться или издеватца или чемъ безчинничать тогда привязати к машту и бить по седалищу и доправить на проѡса. с. 357

§ 20. А для (из)бѣжанія всякихъ ссоръ повѣляется отнюдь костей зерновыхъ и картъ и такихъ орудій на карабѣ не держать подъ запрещеніемъ казни. с. 360

В приведенных примерах разночтения касаются словообразовательных (*безчинновать* vs. *безчинничать*) или грамматических (*повелѣваемъ* vs. *повѣляется*) характеристик, а также пропуска некоторых подробностей перевода 1692 г. В некоторых параграфах эти сокращения более существенные. Например, в § 40, ставшем основой для § 23 в *Артикуле* 1706 г., развернутая формулировка санкции – *того трижды под карабѣ проволочъ* – сокращается до одного слова *проволочъ*; денежное взыскание в документе 1706 г. также описано лаконичнее: вместо *заплатитъ ему^х ха^ачи лечебные во что раненому станеть* указано на необходимость *заплатитъ ему раненому за безчестье*. Сопоставление вариантов устава в контексте нескольких известных на сегодня переводов подтверждает мнение П.А. Кротова о происхождении версии 1706 г.

Наконец, два отдельных перевода представлены каждый одним источником – самостоятельный перевод представляет собой текст в рукописи № 30 и устав, напечатанный в 1710 г. Наглядно представить разницу всех четырех выявленных переводов можно на примерах из некоторых артикулов:

1692 г.	№ 29	№ 30	1710 / 1714 г.
§ 32. Ко ^ж дый да будеть до ^ж ень временнѡ на карабѣ взойти, какъ будемъ похѡ ^д , по ^а пѣнею. л. 9 об.	§ 29. Тако ^ж де и каждой обязанъ // да будеть рано на карабѣ прїитить когда по ^н имають парусы под наказаніемъ. л. 16-16 об.	§ 29. всяко ^{му} быть во время на карабѣ когда карабѣ по ^д е ^м на па ^р сахъ. л. 11	§ 29. Каждому долженствует заранѣе на карабѣ быть, егда оныя отплывають: подъ наказаніемъ. с. 16
§ 41. Кто по ^с ле учиненногѡ миру, ѡпять учнетъ дра ^ц а, тому ѡсѣчь руку, которою онъ миръ свой наруши ^а . л. 11 об.	§ 38. Кто на карабѣ ме ^ж ду миромъ і по поставленномъ миру битися станеть тотъ потерять имѣеть руку кѡторо ^а , миръ нарушилъ. л. 20	§ 38. ежели кто с кемъ по ^а ра ^ш и ^с помири ^т ца а по ^с ле ми ^р ы зачини ^т с те ^м же драку і у такова будетъ за то о ^р ублена рука еюже рушили ми ^р . л. 13 об.	§ 38. Кто съ кѣмъ на карабѣ подерется, и помірившійся паки начнетъ тожъ чїнить, и табору онъ помірєніе нарушїль. с. 20

Как видно из примеров, один и тот же смысл выражается четырьмя разными способами без возможности предположить влияние одной версии на другую. Так, момент отплытия корабля, важный для артикула № 29, передают разные формулировки – *как будет поход, когда поднимают парусы, когда корабль поидет на парусахъ, егда оныя <корабли> отплывають* и т. п.

Тем не менее изданный в 1710 г. перевод отличается тем, что содержит текстовые совпадения с более ранними версиями. Для печатного издания был выполнен отдельный перевод, но при этом у переводчика была возможность, помимо голландского текста, сверяться с двумя русскими переводами, выполненными ранее – отраженными в рукописях № 29 и № 30 (возможно, у писца были непосредственно эти рукописи из библиотеки царя). Текстовые заимствования из предшествующих переводов расщеплены по тексту документа и чередуются друг с другом. Такое распределение показывает, что переводчик брал у предшественников отдельные подходящие формулировки, не довольствуясь ни одним из выполненных переводов в целом.

Заимствование формулировок (выделено полужирным) из перевода в рукописи № 29 можно видеть в § 28:

№ 29

1710 г.

Тако*де егда в пристанищахъ // или на рѣкахъ нѣкая карабелная работа приключитца, а имянно живности и иныя потребности нагружати тогда тѣ которые к тому назначены су^т своей указъ исполнить имѣю^т. л. 15 об.-16

И еже ли, будучи въ пристаняхъ, или на рѣкахъ, нѣкая карабелная работа приключитсѣ. А имянно, запасы нагружати, или иныя нужды, то надлежитъ тѣмъ, которые къ тои опредѣлены будутъ оное исполнять. с. 16

В большем объеме переводчик, готовивший текст для печатного издания, заимствует материал из версии рукописи № 30. Текстовую зависимость наглядно показывает, например, текст § 9:

№ 30

1710 г.

а^дмираломъ и протчи^и аеицера^и которые п^ервую кома^нду имѣють пово^лна всегда свои^х люде^й с карабля на карабль пересажива^т тако*к посыла^т на всяки^х суда^х безъ ра^зности по рекамъ. л. 5

Адмиралу, или иному офицеру начальную команду имеющему, повольно всегда людей с карабля на карабль пересаживать. такожь на всякие суды безъ разности по рекам. с. 6

Отметим, что буквально не совпадающий текст приведенного параграфа тем не менее выражен в основном одинаковой лексикой в разных грамматических формах.

Таким образом, печатный текст устава, опубликованный в 1710 г., не связан с *Артикульной грамотой* 1692 г. В основном он является отдельным переводом, однако обнаруживает черты знакомства его автора с двумя другими переводами устава, сохранившимися в рукописях из библиотеки Петра I. Известно, что в подготовке текста устава 1710 г. участвовал лично Петр I (Кротов 2017: 664).

История бытования текста голландского устава показывает, что к переводу этого важного документа были подключены разные переводчики. Такая ситуация – характерное явление для переводов Петровской эпохи: неоднократно переводились, возвращались на доработку переводчикам или передавались в работу кому-нибудь другому сочинения разных жанров. Хорошо описана ситуация с переводом учебника по общей географии Бернарда Варения (Лукичева 1974: 289-296), несколько раз были переведены актуальные для эпохи *Метаморфозы* Овидия (Николаев 1988: 163). Известна история перевода *Механики* И.-Х. Штурма: А. Виниус закончил перевод к Рождеству 1708 г., и к февралю 1709 г. чистовой экземпляр перевода вместе с немецким оригиналом был отправлен Петру I, который счел этот перевод плохим и передал его Я.В. Брюсу для исправления. Брюс же вместо редактирования текста перевел его заново (Лебедева 2003: 169-173). Возможно, непосредственно относится к обсуждаемым текстам сохранившийся в переписке сюжет, описанный П.П. Пекарским. В письме Виниуса Петру от 21 февраля 1702 г. говорится о том, что царь требовал от него перевода устава судебных воинских прав и он собирался “великим постом голландские артикулы совершить” (Пекарский 1862: 203). Исследователи предположили, что дата, приведенная Пекарским, ошибочна и речь идет о *Книге ордера... Вильгельма Оранского* (Быкова, Гуревич 1955: № 75). В любом случае, опираясь на переписку, мы можем предположить, что голландские тексты переводились А. Виниусом, в том числе и *Артикулы* К. Крюйса 1698 г. Однако качество перевода могло, как и в случае с *Механикой* Штурма, потребовать не только редактуры, но и нового перевода.

Большинство разночтений между описанными переводами голландского устава касается параллельных способов перевода одинакового содержания. Однако есть и содержательные различия, показывающие, что в основе русских переводов лежали несколько разные версии голландского дисциплинарного устава (ср. сказанное ранее о содержательной специфике перевода 1692 г.). В качестве оригинала при исследовании привлекалась голландская часть двуязычного издания устава 1714 г.⁹ Начало вступления, написанного от лица Петра I, не могло входить в оригинальный голландский устав и является обратным переводом с русского: *божією мілостію Мы Петръ первый царь и самодержецъ Всероссийскіи > van godts genaade Wy Peter de eerste czaar en aller russen selfs houder* (с. 1). В условиях использования голландского языка на флоте в этот период в качестве основного (Кротов 2004: 296-297) голландская часть целиком могла быть переведена с русской части, уже адаптированной под условия русского флота. Однако сравнение текста некоторых артикулов, имеющих содержательные расхождения в русских переводах, с голландским текстом в издании 1714 г. показывает, что русская и голландская части устава не являются дословным соответствием друг другу, а в некоторых случаях вовсе не совпадают.

⁹ Голландский текст в издании Witsen 1671 включает более полную версию артикулов из 67 пунктов. Его взаимоотношения с разными русскими переводами требуют отдельного рассмотрения.

Наиболее явный пример несоответствия русской и голландской частей в издании 1714 г. касается параграфа № 62, который, по наблюдениям П.А. Кротова (2000: 124-126), отсутствует в оригинальном голландском законоположении¹⁰. В русском издании к этому параграфу механически дан голландский текст оригинального 62-го артикула, не совпадающего по содержанию с русским (здесь текст из рукописи № 30 является точным соответствием голландской части издания 1714 г.):

№ 30	1714 г. гол.	1714 г. рус.
<p>которые ма^трозы и са^даты и ли которые да^втца в службу ц^р- ского величе^ства на водяно^н пу^тне были причтены сего ар⁻ тикула кля^твы и по^ле того за- пишутца и его ц^рского вели- че^ства жалование прииму^т и т^б не м^бнши^х того иму^т быть обя- саны т^бми^х ар⁻тикулы и кля^твою тако^х какъ которые и прито^н были. л. 18 об.</p>	<p>Alle Bootsgesellen, Soldaten, ofte anderen, die hen in dienste va Syne Majesteyt te Water fullen wille begeeven, die in't leefen en besweeren van dese Articulen niet present zijn ge- weest, en namaals hen noch in- schryven laaten, en hoog- gemelte Majesteys geld ont- fangen, die en fullen niet minder aan dese voorsz. Artic- ulen met Eede verplicht en verbonden blyven, dan of zy in't sweere van desen jegen- woordig waren geweest. с. 40</p>	<p>Офицеры, какъ вышніе и нижніе, да не дерзають, сал- дать, пушкареи, матрозовъ и протчихъ въ нашей служ- бѣ пребывающіхъ на свои собственные работы по- сылать, ни инымъ кому въ работу или послуженіе от- давать: подѣ жестоки^м на- казаніемъ по дѣлу и винѣ смотря. Также и галерныхъ невольниковъ ни на какія ра- боты собственные и парти- кулярныя отнюдь не посы- лать. подѣ вышереченныхъ же наказаніемъ. развѣ ко- му по прошенію отъ пра- вителства адміралітейскаго позволено будетъ. с. 40</p>

В русском печатном тексте есть и другие оригинальные дополнения, связанные с российскими реалиями. В конце артикула № 10 есть уточнение для *нашей земли*, отсутствующее в других переводах устава: *В тойже равной силе последуют и те, которые по указу в нашей земле набираны.* (с. 8). Этой фразы нет в параллельном голландском артикуле, который ограничен обычным содержанием данного артикула, отраженным во всех русских переводах.

В основной части текста, содержательно общей всем русским переводам устава, русская и голландская части в рассматриваемом издании совпадают. Несколько переводов одного флотского устава, сделанных за короткий период, на фоне оригинального документа являются наглядным и ранее не использовавшимся лингвистами источником для изучения специальной лексики морского дела в раннюю Петровскую эпоху. Разнообразии способов перевода голландских терминов хорошо показывает разноречивую и вариативную терминологию в первые

¹⁰ Исследователь предполагает, что артикул был добавлен в текст устава лично российским правителем (Кротов 2017: 665).

десятилетия развития флота в России. Работа над русским текстом дисциплинарного устава приходится на 1690-е – 1700-е гг. – период, когда, по наблюдениям исследователей, в ходе создания русского морского языка “шла борьба целых терминологических систем, разноязычных морских номенклатур” и когда еще “не выкристаллизовался тот словарь, который удовлетворил до известной степени требования нашей навигации” (Богородский 2006: 72). Обучение самого Петра I в ходе Великого посольства в Голландии и привлечение на русскую службу большого количества голландских моряков разного ранга давали преимущество голландской системе морских терминов (Сморгонский 1936: 25). Однако монопольного положения англо-голландская система на рубеже XVII-XVIII вв. еще не занимала: интерес Петра I к Черному морю и средиземноморскому региону, ослабевший только после Прутского похода 1711 г. (Копелев 2016: 23), актуализировали итальянскую по происхождению номенклатуру, лежавшую в основе морского языка в этом регионе¹¹. При отсутствии среди иноязычных систем нормы и устоявшегося употребления для изучаемого периода сохраняет свое значение и традиционная русская судовая терминология (Богородский 2006: 72).

Неоднократно переведенный голландский флотский дисциплинарный устав как нельзя лучше позволяет проследить процессы, происходившие в сфере морской лексики на рубеже XVII-XVIII веков. В уставе используются названия флотских чинов и должностей, помещений на корабле и некоторых его частей, специфические понятия морской системы наказаний. Многие из этих слов передаются несколькими разными способами в одном и том же контексте в разных переводах устава – рассмотрим эти примеры.

Во многих примерах с вариативностью в разных переводах конкурируют друг с другом голландское заимствование и уходящее из языка традиционное русское обозначение, в основном незаимствованного характера. В сфере названий должностей выделяются следующие противопоставления: *поварь* – *кокь*, *пушкарь* – *констапель*, *кормщикъ* – *штирманъ* – *стюрманъ*, *корабельщикъ* – *шиперъ* – *шихперъ*, *саръ* – *матрозъ*. В этих соответствиях активность традиционных и новых слов может быть разной.

Из новых заимствований малоупотребительным, по-видимому, было слово *кокь*. По данным СЛРЯ XVIII, это слово заимствуется только в конце XVIII века – первая фиксация только в *Трехязычном морском словаре* А. С. Шишкова 1795 г. (СЛРЯ XVIII, X: 85). Однако в рассматриваемом нами уставе слово *кокь* также появляется, хотя только в одном из переводов – по рукописи № 30: *всемъ коко^м до^лжно жиръ или сало которое о^м мяса о^ттае^нца которое мочно есть зберега^н для варения каши* (л. 15)¹². В

¹¹ В последнее десятилетие были опубликованы важные источники по изучению этой терминосистемы: (Базарова, Копелев 2016; Мартинович 2015).

¹² Можно указать еще на один ранний пример употребления слова в виде *кокь* – в записи лекций М. Мартиновича для участников Великого посольства конца XVII в.: *коги и сото-*

артикуле № 46, где читается данный контекст, в голландском тексте издания 1714 г. закономерно использовано слово *kok* (с. 31); во всех остальных версиях русского текста использовано более общее по значению слово *поварь*. В печатном “Артикуле” 1710 г. текст артикула явно учитывает перевод из рукописи № 30: *Всѣмъ поварамъ, жи́ръ или сало, которое отъ мяса сходѣтъ, коли́ко употребѣмо естъ, соблюдать для варенія каши* (с. 23), при этом слово *кокъ* при редактировании устраниено.

Напротив, малоактивным на фоне прочей традиционной морской терминологии в тексте устава выступает старое обозначение матроса – *сара*. Это слово встретилось только в самом раннем переводе 1692 г., во вступлении и заключительной части устава: *повелѣваютъ всѣмъ свои^м адмираламъ^м, по^д адмираламъ^м, капитанамъ^м, порутчи́камъ^м, начальнымъ людемъ, салдатамъ^м, и рядовымъ^м сарамъ, которые в службѣ гдѣ стаятъ, и кнѣзя оранскогъ, на водѣ будутъ, всѣ нижепослѣдующіе артикулы и статьи, присягою по^дтвердити, и крѣпко держати* (л. 1 об.); в других версиях устава в соответствующих контекстах используется слово *матрозъ* (в голландском тексте также – *geteene Matroosen*, с. 1). Замена слова *сара* на *матрозъ* в одном и том же тексте интересна не только как свидетельство выхода термина из употребления. Как установил Б. О. Унбегаун, *сарамы* в источниках XVII в. называются только иностранные матросы, вербовавшиеся на русскую службу (Унбегаун 1957: 109). Это не противоречит данным разных переводов дисциплинарного устава. Перевод 1692 г. еще не адаптирован под русские реалии: как видно из приведенной цитаты, в предисловии упомянуты *господа статьи* и *князь оранский* – т. е. устав адресован голландскому флоту и под *сарамы* имеются в виду голландские матросы. В других переводах устав уже от имени российского правителя адресован русскому флоту – возможно, что в связи также и с этим использовано более общее по семантике слово *матрозъ*.

Другие случаи варьирования названий должностей, названные выше, показывают, что некоторые заимствования в этой сфере использовались независимо от влияния голландского оригинала. В артикуле № 6 в трех переводах использован разный “набор” наименований:

1692 г.	№ 29	№ 30
всѣ ^м порутчи́камъ, карабе ^м -щико ^м , ко ^р мъщико ^м , и начальнымъ людемъ, повелѣвае ^м поко ^р нымъ быти своимъ капитаномъ, на всякомъ кара ^б лѣ, гдѣ имъ быти лучи ^т ся. л. 3	Всѣ порутчики, ши́поры // шти́рмань, начальники, і матрозы, по ^а даны быти имѣютъ капитаномъ своимъ ка ^ж -дой на своемъ караблѣ на которомъ онъ назначенъ і учре ^д ень. л. 5	всемъ по ^р утчи́камъ шхипер-амъ стю ^р маномъ аеицерамъ ма ^р розамъ быти всяко ^м у своего капитана по ^с лушну того карабля гдѣ онѣ определены. л. 4

гол.: Lieutenanten, Schippers, Stuurliuyden, Officiers en Bootsgesellen (с. 6)

В переводе 1692 г. использованы русские по происхождению термины *карабелщикъ* и *кормщикъ*, которые в дальнейших переводах исследуемого устава почти не используются¹³. Перевод в рукописи № 30 использует голландские термины *шхиперъ* и *штюрманъ*, совпадающие с оригиналом¹⁴, в то время как в уставе по рукописи № 29 (что совпадает и с *Артикулами* К. Крюйса) те же слова использованы в английской огласовке – *шипоръ* (англ. *shipper*) и *штурманъ* (англ. *steersman*) (Bailey 1724). В печатное издание при этом попали генетически неоднородные слова – *шхиперъ* и *штюрманъ*.

Независимо от голландского текста в русском переводе используется слово *констапель*. В отличие от рассмотренных выше случаев это заимствование и его русский эквивалент *пушкарь* не находятся в дополнительном распределении по разным переводам. Слово *пушкарь* встречается во всех рассматриваемых русскоязычных версиях документа. Чаше оно выступает в качестве эквивалента для лексемы *констапель*, заимствованной из голландского языка (СЛРЯ XVIII, X: 141): *констапели и матрозы* (№ 29, л. 11) — *пушкарю и матрозы* (Артикул 1710, с. 11) в артикуле № 17, на фоне голландского: *Busschieters en Matroosen*; но встретился контекст, где обе лексемы совмещены, несколько различаясь по семантике: *никому <...> не ходи^м в комо^в гдѣ поро^х кромѣ ко^нстапеля и пушкарей^и которые к то^в при^нта^лены* (№ 30, л. 15) в артикуле № 45, на фоне голландского текста: *den Constapel, en alsulke Busschieters* (с. 31). Приведенные соответствия показывают, что слово *констапель* используется для перевода двух голландских слов – буквального соответствия *Constapel* ‘морской артиллерийский офицер’ (СЛРЯ XVIII, X: 141), но чаще – в более широком значении слова *Busschietier* ‘канонир, артиллерист’ (WNT)¹⁵. Слово *пушкарь* в приведенных примерах используется с разными оттенками значения; помимо общего обозначения артиллериста в артикуле № 45 оно имеет и более узкую семантику, свойственную голландскому – ‘een Konstaapels maat (т. е. помощник констапеля)’ (*там же*).

Синонимичные термины в тексте устава могут использоваться для глоссирования, при котором традиционное наименование поясняет заимствованную лексему. Такие примеры тематически выходят за пределы названий флотских должностей и встречаются в печатном издании, при подготовке которого, как мы показали выше, привлекались выполненные ранее переводы. В исследуемых переводах встречаются два названия руля на судне – известное с начала XVI в. *сонецъ* и новое слово *рурь* / *руль*. Слово *сонецъ* в Петровскую эпоху, по наблюдениям Б.А. Богородского (2006: 244), “выступает как хорошо известное слово” – это положение иллюстрируется в том числе примером из *Артикула* 1710 г.: *Всѣ пушкарю и матрозы, должни суть вся-*

¹³ Слово *карабелщикъ* появляется в предисловии устава в рукописи № 29.

¹⁴ Гол. *stuurlyuden* – множ. число от *stuurman* (<https://nl.wiktionary.org/wiki/stuurman>), послужившего источником рус. *штурман* / *штюрман* (Фасмер, IV: 481).

¹⁵ <<https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M012436&lemmodern=busschietier&domein=o&conc=true>> (дата обращения 12.05.2024).

къ свои квартирѣ караулѣть у рура, или соцца, стоять (с. 11). Это пояснение в 17-м артикуле, на наш взгляд, появляется при объединении названий руля в более ранних переводах устава, ср.: *при соцце стоять* (№ 29) и *стоя^м у руля* (№ 30) – возможно, это связано с одинаковой употребительностью обоих терминов.

Похожим образом в переводах устава соотносятся наименования баталер-камеры – каюты для хранения продовольствия. Специального узкого термина для этого помещения в старом русском морском языке, по-видимому, не было, в отличие от голландского, где использовалось слово *bottelery* (оно использовано и в голландском печатном тексте 1714 г., с. 18). В артикуле № 23 переводчики пользовались заимствованием (с пояснением) или прибегали к описательному переводу, с использованием слова *казенка*: *припасы необходимо о^мдавать в хачевую казенку* (1692 г., л. 8 об.), *в бутлерію [запасная камора] о^мнестъ* (№ 29, л. 14), *о^мда^м в казенку гдѣ правіантъ* (№ 30, л. 9). По данным исторических словарей русского языка, у слова *казенка* было более общее значение ‘каюта, помещение на судне’ (СЛРЯ XI-XVII, VII: 19-20; СЛРЯ XVIII, IX: 195), что требовало дополнительных определений при использовании его в более специальном значении. В печатном издании при объединении материала предыдущих переводов контекст приобретает следующий вид: *оставшія ѣствы назадъ взявъ въ бутелерію, [то есть казенка или мѣсто] гдѣ правіантъ кладется относитъ* (с. 14). Выражение *мѣсто гдѣ правіантъ кладется* при таком построении фразы выглядит как пояснение к синонимичным словам *бутелерия* и *казенка*, но с большей вероятностью слово *казенка* само является частью пояснения. При повторном упоминании этого помещения в артикуле № 50 список его номинаций пополняется словосочетанием *запасный чуланъ* в переводе 1692 г.; составным обозначением *запасная камора* пользуется в этом контексте и К. Крюйс, заменив на него заимствование *бутлерия*, которое читается в редакции рукописи № 29, служившей ему источником.

Значительное разнообразие наблюдается в ряду обозначений гавани – здесь все четыре выявленные перевода имеют собственный термин: *устье – пристанище – пристань – хавенъ* в артикуле № 27 (в голландском тексте *Haven*). Слова *пристань* и *пристанище* являются традиционными русскими обозначениями для гавани (СЛРЯ XI-XVII, XX: 32). У слова *устье* в XVII в. отмечается значение ‘залив’ (Кутина 1964: 162) (ср. это же значение у слова *пристанище*), от которого (возможно, ситуативно для рассматриваемого текста) автор перевода 1692 г. произвел значение ‘гавань’¹⁶, хотя в тексте артикула № 56 он пользуется и словом *пристань*. Неологизм *хавенъ*, транслитерирующий голландское соответствие, использован в рукописи № 30; его использование в переводе отличает морфонологическая адаптация, при которой звук [e] в основе ведет себя как беглая гласная – форма предложного падежа выглядит как *в хавнѣ* (л. 10 об.).

Тематически дисциплинарный устав не включает более узкоспециальные термины. Характерны для этого документа названия наказаний, специфических для мор-

¹⁶ Слово *устье* не упоминается в ряду синонимов заимствования *гавань* в (СЛРЯ XVIII, V: 78).

ской службы. Они неоднократно повторяются в разных артикулах и, как и уже рассмотренная терминология, не имеют единого стандартного обозначения. Так, при описании наказания путем проволочивания виновного под килем корабля используются два разных глагола – *проволочить / пропустить под корабль*. Еще разнообразнее обозначения для сбрасывания с реи – *спустить в воду с райны, низвергнуть от райны, с райны в море опустить, с райны кунать / окунуть; брошание из райны, низвержение от райны, стущенье с райны*.

В артикуле № 17 в трех переводах встретилось не имеющее прямого соответствия в голландском тексте обозначение одной из флотских команд. В этом правиле описывается, в частности, как младший унтер-офицер командует матросам садиться в шлюпку. В рукописи № 30 и печатном издании сама команда не цитируется, в трех остальных версиях представлены три разных текста:

1692 г.	№ 29	1698 г.
квартерь мейстер ^р закричить, бропись бропись в боту. л. 7	квартірмейстеръ кричить еа"еалю, дабы в шлюпкахъ сидѣть. л. 11	квартирмет кричит: "Фал! Фал!", дабы им в шлупы сесть. л. 251

Вариант команды *бропись бропись* в самом раннем переводе – буквальное соответствие для *Фал! Фал!* (ср. гол. *val!* – букв. 'падай'). Можно предположить, что обозначение той же команды в № 29 – *кричать фанфалю* – имеет разговорное происхождение, поскольку слово *фанфаля* в его составе отражает диссимиляцию согласных [н]:[л] в заимствовании и его морфологическое переоформление в существительное.

Изучение раннего морского устава в России в течение XIX–XX вв. проводилось на отдельных текстах, публиковавшихся в разное время. Привлечение комплекса рукописных источников из библиотеки Петра I, их атрибуция и сравнение с публикациями, позволяют представить историю создания этого важного памятника морского законодательства в России. До появления печатного издания в 1710 г. документ не имел устойчивого названия, в заголовках использовались различные словосочетания: "артикульная грамота", "статейная грамота", "артикул корабельный". Насколько широко текст был распространен в списках, в настоящее время неизвестно, однако мы можем предположить, что распространение рукописей должно было быть остановлено появлением печатных изданий.

Проведенный анализ с привлечением новых рукописных источников позволяет пересмотреть общую схему развития центрального в раннем российском морском законодательстве дисциплинарного устава. В работах предшественников формирования русского текста этого документа описывалось как линейное. Перевод, выполненный в 1692 г., П.А. Кротов (2017: 665) считает общим источником всех последующих версий устава, представлявших его отредактированные варианты. Нами установлено, что существовало как минимум четыре разных перевода, самый поздний из кото-

рых был выполнен при участии Петра I для печатного издания и учитывал переводческие решения двух предыдущих переводов. Непосредственно к переводу 1692 г., изданному в XIX в. по рукописи БАН (П I Б № 31), восходит только сокращенная версия *Артикула* 1706 г., опубликованного М.П. Розенгеймом. Две другие рукописи того же собрания БАН представляют собой два отдельных перевода: рукопись № 29 послужила источником *Артикулов* К. Крюйса 1698 г., а рукопись № 30 была учтена при подготовке печатного издания 1710 г.

Анализ морской терминологии, представленной в разных переводах устава, показал, что для переводчиков лексика голландского оригинала для этого периода еще не была определяющей: даже при заимствовании голландского слова в русский язык в конце XVII в. (известного из других источников) в переводе устава мог быть использован синонимичный термин не голландского происхождения. Отсутствие устойчивого узуса в этой сфере хорошо показывают примеры перевода одних и тех же понятий индивидуальными способами в каждом из четырех переводов. Больше всего традиционных русских терминов представлено в самом раннем переводе 1692 г. (*корабельщик, кормищик, сара, сопец, устье* и др.). На использование заимствований в позднейших переводах могла оказывать влияние как голландская, так и английская морская терминология. Некоторые из этих терминов (*кричать фанфалю*) имеют признаки устного заимствования.

Сокращения

БАН. П I Б № 29:	<i>Устав морской</i> . Нач. XVIII в., 32 л. Рукопись БАН, Библиотека Петра I, Б № 29.
БАН. П I Б № 30:	<i>Устав морской</i> . Нач. XVIII в., 30 л. Рукопись БАН, Библиотека Петра I, Б № 30.
БАН. П I Б № 31:	<i>Сборник морских уставов</i> . 1692 г., 60 л. Рукопись БАН, Библиотека Петра I, Б № 31.
СЛРЯ XI-XVII:	<i>Словарь русского языка XI-XVII вв.</i> , I-, Москва 1975.
СЛРЯ XVIII:	<i>Словарь русского языка XVIII в.</i> , I-, Ленинград–Санкт-Петербург 1984.
Фасмер:	М. Фасмер. <i>Этимологический словарь русского языка</i> . Пер. с нем. и доп. чл.-корр. АН СССР О.Н. Трубачева, I-IV, Москва 1986.
WNT:	<i>Woordenboek der Nederlandsche Taal</i> : < https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=Mo12436&lemmodern=busschieten&domein=o&conc=true > (дата обращения: 02.06.24).

Литература

- Акишин 2020: М.О. Акишин, “Правила службы на кораблях” – первый военно-морской устав России эпохи Петра Великого, “Ленинградский юридический журнал”, 2020, 1 (59), с. 8-25.
- Базарова, Копелев 2016: Т.А. Базарова, Д.Н. Копелев (ред.), *Альбом петровского навигатора*, Санкт-Петербург 2016.
- Богородский 2006: Б.Л. Богородский, *Очерки по истории слов и словосочетаний русского языка*, Санкт-Петербург 2006.
- Быкова, Гуревич 1955: Т.А. Быкова, М.М. Гуревич (ред.), *Описание изданий гражданской печати. 1708-январь 1725 г.*, Москва-Ленинград 1955.
- Веселаго 1875: Ф.Ф. Веселаго, *Очерк русской морской истории*, I, Санкт-Петербург 1875.
- Елагин 1859: С.И. Елагин, *Материалы для истории русского морского законодательства*, I (1669-1720 гг.), Санкт-Петербург 1859.
- Копелев 2016: Д.Н. Копелев, *Средиземноморская страница Великого посольства: Пётр I, московские стольники, Венеция и Алжир*, в: Т.А. Базарова, Д.Н. Копелев (ред.), *Альбом петровского навигатора*, Санкт-Петербург 2016, с. 5-29.
- Кротов 2000: П.А. Кротов, *Об использовании голландского военно-морского законодательства при разработке уставных положений российского флота во второй половине XVII-первой четверти XVIII в.*, в: *Источниковедение: Поиски и находки*, I, Воронеж 2000, с. 124-126.
- Кротов 2004: П.А. Кротов, *Голландцы и фламандцы в Российском флоте в Петровскую эпоху*, в: *Голландцы и бельгийцы в России XVIII-XX вв.: сборник статей*, Санкт-Петербург 2004, с. 290-302.
- Кротов 2017: П.А. Кротов, *Российский флот на Балтике при Петре Великом*, Санкт-Петербург 2017.
- Кутина 1964: Л.Л. Кутина, *Формирование языка русской науки (Терминология математики, астрономии, географии в первой трети XVIII века)*, Москва-Ленинград 1964.
- Лебедева 2003: И.Н. Лебедева, *Библиотека Петра I. Описание рукописных книг*, Санкт-Петербург 2003.
- Лукичева 1974: Э.В. Лукичева, *Федор Поликарпов – переводчик “Географии генеральной” Бернарда Варения*, в: *Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века*, Ленинград 1974 (= “XVIII век”, 9), с. 289-296.
- Мартиновић 2015: *Наутика: предавања Марка Мартиновића руским морнарима у Перасту 1697-1698*, ур. Р. Распоповић, преводиоци Љ. Станишић, М. Ђивуљски, Москва-Подгорица 2015.

- Мельницкий 1855: В. Мельницкий, *Голландское морское законодательство*, в: “Морской сборник”, 1855, 9, IV отд., с. 162-218.
- Николаев 1988: С.И. Николаев, *Об атрибуции переводных памятников Петровской эпохи*, “Русская литература”, 1988, 1, с. 162-172.
- Пекарский 1862: П.П. Пекарский, *Наука и литература в России при Петре Великом*, I, Санкт-Петербург 1862.
- Розенгейм 1878: М.П. Розенгейм, *Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра Великого*, Санкт-Петербург 1878.
- Сморгонский 1936: И.К. Сморгонский, *Кораблестроительные и некоторые морские термины нерусского происхождения*, Москва-Ленинград 1936.
- Bailey 1724: N. Bailey, *An universal etymological English dictionary; comprehending the derivations of the generality of words in the English tongue, either ancient or modern and also a brief and clear explication of all difficult Words...: To which is added, a collection of our most common proverbs*, London 1724².
- Churchill 1935: W.A. Churchill, *Watermarks in paper in Holland, England, France etc. in 17 and 18 c.*, Amsterdam 1935.
- Heawood 1950: E. Heawood. *Watermarks mainly of the 17th and 18th c.*, Hilversum 1950.
- Unbegaun 1957: B.O. Unbegaun, *Eine altrussische Bezeichnung des Matrosen*, “Zeitschrift für Slavische Philologie”, XXVI, 1957, 1, p. 104-114.
- Witsen 1671: N. Witsen, *Aeloude en nedendaegsche Scheeps-bouw en bestier: Waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van Scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen...*, Amsterdam 1671.

Abstract

Irina M. Voznesenskaja, Georgiy A. Molkov

The First Maritime Charters of the Petrine Epoch: Translations and Adaptation

The article examines the development of the text of the maritime charters in the late 17th-early 18th centuries Russia. New sources have made it possible to establish that there were at least four different translations of the Dutch charter. An analysis of the maritime terminology presented in different translations of the charter showed that for translators the vocabulary of the Dutch original was not yet decisive for this period. Even when the Dutch word was borrowed into the Russian language at the end of the 17th century to translate it, a synonymous term of non-Dutch origin could be used in the charter. The lack of stable usage in this area is clearly demonstrated by examples of translating the same concepts in individual ways in each of the four translations. Most of the traditional Russian terms are presented in the earliest translation of 1692. The use of borrowings in later translations could be influenced by both Dutch and English maritime vocabulary. Some of these terms show signs of borrowing through the oral environment.

Keywords

Petrine Epoch; Maritime Charters; Russian Language of the 18th Century; Historical Lexicology; Synonymy.

Věra Dvořáčková

The Origins of Czech Academic Lexicography. From Foreign Inspiration to State Formation Potential

The very first Slavic academic¹ explanatory dictionary, and still the most extensive dictionary of the Czech language, is the *Příruční slovník jazyka českého* 'Reference Dictionary of the Czech Language'. It was published in 1935-1957 and its nine large volumes record, in their considerable complexity, the lexical, grammatical, stylistic, orthographic, and orthoepic aspects of more than two hundred thousand words². Its compilation was preceded by in-depth preliminary investigations lasting many years, involving not only the gathering and classification of linguistic material but also a thorough study of lexicographic methodology and the design of a particular approach, as compatible as possible with Czech – an inflected, synthetic language, formed under circumstances of linguistic contact with German, the process of Czech national revival, and the formation of the so-called First Czechoslovak Republic.

This work had to be undertaken within the broader context of European lexicography, which was the chief source of inspiration during the evolution of Czech lexicography. It also led to a crucial understanding of the specific contemporary local (Central European) linguistic circumstances that gave the *Příruční slovník jazyka českého* its exceptional character. The objective of the present article is therefore not only to explain the unique local political, economic, and cultural conditions under which the dictionary was compiled but also to place the origins of Czech lexicography in the context of developments in European lexicography. In addition to the already existing literature, it draws upon previously unexplored archival sources of the Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences (*Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR: MÚA AV ČR*) housed at the Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences and Arts (*Ústav pro jazyk český České akademie věd a umění: ÚJČ ČAVU*).

1. *The Czech Lexicographical Tradition*

The primeval phase of Czech lexicography was perhaps the translational and interpretational comments added to texts written in a foreign language, in particular Latin.

¹ The term 'academic' herein refers to a scientific institution, usually an academy of sciences or a university.

² The afterword to the *Příruční slovník jazyka českého* states that it comprises some 250,000 entries. However, it was found during the digitisation of the dictionary, carried out by the CAS Czech Language Institute in 2007-2008, that the total count is slightly above 200,000.

Such comments are found, for instance, in the Latin treatise *Mater verborum* 'Mother of Words', dating back to the 13th century (Hladká 2005: 141). No systematic lexicographic work, however, existed before the 14th century when Bartoloměj z Chlumce (Bartholomew of Chlumec, also known as Claretus de Solentia), a teacher at the St Vitus's school (Vidmanová 1980: 218) and Master of the newly founded Charles University, enriched Czech science and literature. His dictionaries of Latin vocabulary and terminology with their Czech translations, written in verse, were intended primarily to be of assistance to university students (Šlosar 1990: 17). The publisher, linguist, historian, and philosopher Daniel Adam of Veleslavín published his work in the 16th century. His influence on Czech culture is considered so fundamental that the period in which he worked is referred to as the (golden) age of Veleslavín. His tetralingual dictionary was titled Bohemian-Latin-Greek-German quadrilingual nomenclature (*Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus*) and was first issued in 1598 (Zíbrt 1900: 169). In the early 17th century the 'teacher of nations', the founder of modern pedagogy Jan Amos Komenský, prepared a great dictionary entitled *Thesaurus Linguae Bohemicae* 'The Wealth of the Czech Language'; he was unable to finish it, however, because his work was destroyed by a great fire in Leszno, Poland in 1656. His dictionary was intended to be a full lexical, grammatical, and phraseological compilation of the Czech vocabulary, from both a synchronic and a diachronic perspective (Hladká 2005: 145-146). Shortly after Komenský, still in the 17th century, Václav Jan Rosa began compiling a Czech-Latin-German dictionary with the same name (*Thesaurus Linguae Bohemicae*). His work was never finished but formed the basis for Josef Jungmann's highly valued 19th-century dictionary (Opelík *et al.* 2000: 1273)

In the 19th century, several significant bilingual dictionaries emerged, which were quite innovative for their time. These include the German-Czech Dictionary (*Deutsch-böhmisches Wörterbuch*), the first volume of which was published by Josef Dobrovský in 1802, while the second volume, issued in 1821, was prepared by Antonín Jaroslav Puchmayer and Karel Ignác Thám (Páta 1911: 201). Josef Dobrovský was the first to promote the principle of including only entries with proven provenance. In 1835-1839, a Czech-German Dictionary (*Slovník česko-německý*) in five volumes was compiled by Josef Jungmann. This work laid the foundations for the modern standard Czech language, and for more than a century it constituted the principal authority in language matters (Kraus 1993: 90). The Czech-German Dictionary with Particular Reference to Grammar and Phraseology (*Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický*) by František Štěpán Kott (1878-1893) is of particular interest as it gives an extensive account of phraseology and dialect vocabulary.

In the early 20th century, however, a decision was taken to compile the very first Czech dictionary excluding any interpretation of the entries in a foreign language. As German was widely known prior to the First World War, its use was actually a matter of efficiency and practicality at the time, but since German soon declined in popularity following the establishment of the independent Czechoslovak Republic, there was increasing demand for a modern dictionary of the Czech language reflecting the expanding Czech vocabulary (Šmilauer 1958: 566).

2. *European Lexicographical Experience*

The first great explanatory dictionaries in Europe were usually prepared in connection with the establishment of national academies of sciences, and the Czech case was no different. The establishment of the Emperor Franz Joseph Czech Academy of Sciences, Literature, and Arts in 1891 also reflected a demand for the creation of an extensive dictionary of the Czech language. The oldest academy in Europe, the Florence-based *Accademia della Crusca*, founded in 1582, focused primarily on philology, and in 1612 published a dictionary titled *Vocabolario degli Accademici della Crusca* ‘Dictionary of the Academy of the Crusca’. This dictionary became the model for many other national languages of Europe: the French *Dictionnaire de l’Académie Française* ‘Dictionary of the French Academy’ (1694), the Spanish *Diccionario de la lengua castellana* ‘Spanish Language Dictionary’ (1726-1739), the *Dictionary of the English Language* by Samuel Johnson (1786) and the German *Deutsches Wörterbuch* ‘German Dictionary’ (1854) by the Grimm brothers.

The *Dictionnaire de l’Académie Française*, the dictionary of the French Academy of Sciences, which was completed in 1694³, served as the main source of lexicographical inspiration for the authors of the later Swedish dictionary. The decision to launch the preparatory work was adopted by the Swedish Academy in 1787 and work began in 1883, but the first volume of *Svenska Akademiens Ordbok* did not appear until 1893 (Dvořáčková 2019: 223).

3. *Svenska Akademiens Ordbok* ‘Swedish Academic Dictionary’

This Swedish dictionary, completed in 2023, 140 years after it was begun⁴, comprises half a million entries representing standard Swedish in all verifiable written sources throughout history. It is one of the most extensive and complex monolingual dictionaries in the world⁵ (Falck-Kjällquist 1987: 20). With the objective of enriching the lexicographic perspective of the Prague-based Office for the Dictionary of the Czech Language (*Kancelář Slovníku jazyka českého*) with experience from foreign institutes, the Czech linguist Josef Janko⁶ visited the Swedish city of Lund in 1911 to see this dictionary and to meet its authors. The excerption rules dating back to 1898 and presented to Josef Janko, were in many respects similar to those used in the preparation of the Czech dictionary, which only validated the working methods that were already in use in Prague (ÚJČ 141). In a similar manner as in

³ Subsequent editions were issued in 1718, 1740, 1762, 1798, 1835, 1878, 1932-1935 and 1992.

⁴ Older volumes containing words that begin with A to R, conceived many decades ago, are supposed to be revised before 2030.

⁵ Although in the mid-1980s it was assumed that the last volume would not be published until the mid-21st century, the rapid boom of the IT industry, as well as of computational and corpus linguistics, considerably accelerated the work on the dictionary.

⁶ Josef Janko (1869-1947) was a Czech scholar in German and Slavic studies who devoted his theoretical works mainly to phonetics and etymology. He was one of the first instigators of the idea of creating a great monolingual dictionary and played a part in the gradual formation of its conceptual principles.

Sweden, all the relevant sources were divided into various categories and excerpted accordingly. Both in Prague and in Lund, the respective list of key works of Czech and Swedish literature were established as appropriate for full excerption, and special excerption principles were defined for academic terminology, while emphasis was placed on recording all existing semantic nuances, all rare and unusual words, forms, meanings, and means of expression.

The linguistic skills and professionalism of the excerptors (graduate and student philologists) were highly trusted in Sweden, granting them considerable decision-making powers. This meant they could add various notes to the excerpted entries concerning a special form, meaning, or structure, propose their semantic definition, as well as append the relevant synonyms and information about the origin of a word. However, unlike Czech lexicographers, the Swedish team strictly avoided including any dialect or slang expressions in their card archive and loan phrases that fully maintained their original form (for instance, *ad acta*).

The greatest difference between the emerging Swedish and Czech monolingual dictionaries was that the design of the Czech dictionary, contrary to the original intention, abandoned the thesaurus approach, and as a result, a purely synchronic dictionary was being compiled in Prague.

It is interesting to note that the Swedish dictionary is one of the few lexicographic works of this scale whose publication was completed several decades earlier than anticipated during its preparation. While in the 1980s the year 2045 was mentioned as the target completion date, the Swedes celebrated the publication of the final volume of one of the most important contributions to Swedish linguistics and culture in 2023 (SAO).

4. *Thesaurus Linguae Latinae* ‘Thesaurus of the Latin Language’

As early as May 1911, Josef Zubatý⁷ visited Munich to gather general lexicographic information. Work had been underway there since 1893 (Krömer 2009: 187-190) on the *Thesaurus Linguae Latinae*, the first volume of which was published in 1900. (TLL; Bögel, Krömer 1996: VIII) On his return, he declared: “It is quite difficult to see how the methodology applied in the preparation of the Latin Thesaurus could be instructive for the preparation of our dictionary. The circumstances of these two undertakings are not identical” (ÚJČ 140).

Zubatý saw as the principal difference the diametrically opposed systems of financial support for the undertaking. The Thesaurus received consistent annual funding of 25,000 marks (about 30,000 Czech Crowns at that time) from five major German academies, namely Bayerische Akademie der Wissenschaften, Preußische Akademie der Wissenschaften, Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, and Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. To this were

⁷ Josef Zubatý (1855-1931) was a Czech scholar in Indian and Slavic studies, a rector of Charles University, who – like Josef Janko – was a member of the original team of lexicographers who early in the 20th century began to prepare the design of the future dictionary.

added the proceeds of various public fundraising efforts, donations from private contributors, and significant material assistance (and professional support, of course) from interns who were regularly sent to Munich, financed by foreign companies.

Another difference (perhaps the most fundamental one) between the two dictionaries was the fact that the Latin *Thesaurus* involved a dead language, so the written monuments that could (and indeed were) used to compile it constituted a finite whole. In the documentary section, therefore, the Munich *Thesaurus* included all quotes from excerpted texts dated before the year 600 A.D. and all hapax legomena. In the case of an organically developing living language, a different approach was needed, in terms of methodology, design, and documentation.

The crucial factor from which, according to Zubatý, the Czech lexicographers should draw inspiration, was the method by which excerpts were derived from the sources in Munich. Zubatý considered that Czech excerptors, compared to their Munich colleagues, were given too much leeway, whereas this type of work ought to be as mechanical as possible in order to avoid the majority of inconsistencies and errors. In particular, he believed that the decision to skip redundant words in a given context should be reserved for the final editing phase. In this respect, Zubatý thought that cutting and pasting from printed specialized dictionaries was a worthwhile method, so the contents need not be excerpted manually but only affixed to the excerpt cards.

On the strength of his visit to Munich, Zubatý further recommended expanding the library of the Office for the Dictionary of the Czech Language to include all previously published Czech dictionaries and to excerpt all literature focused on the interpretation of individual words, whether from important older sources or the more recent literature on grammar in monographs and journals. He also advised that the documentation should be dated to the year in which the work from which the excerpt was taken was first published (ÚJČ 140).

In the event, the Munich model assisted Czech lexicographers mainly in the formal and organizational aspects of their work. The changes implemented included, for instance, using octavo excerpt card size instead of sextodecimo, making an identical shelf with cardboard boxes to store the excerpts, expanding the library following Zubatý's recommendations, and paying the excerptors the fee that was usual for the *Thesaurus*, i.e. 5 pfennigs per card. With the Czech dictionary, it was three hellers per card in the case of so-called full excerpts from an easy text if the excerptor produced fewer than 2,500 cards. The fee of 4 hellers applied to all cards over 2,500 and to "partial excerpts", and 5-6 hellers for excerpts from a difficult text (Dvořáčková 2011: 32). These amounts increased over time: by 1930, for instance, the fee for one card amounted to 40 hellers. On the other hand, the excerptors were still given considerable discretion, since unlike the case of Latin, the linguistic intuition of native speakers could be trusted, an important factor, especially in the case of the latest sources.

An important accompanying result that came to light during the many years spent perfecting the design of the *Thesaurus Linguae Latinae* was the fact that lexicography became a specific linguistic discipline in its own right, not merely an auxiliary or accompanying means of linguistic research (Hays 2007: 490). This was an approach that later

resonated also in the Office for the Dictionary of the Czech Language and its postwar successor, the Czech Language Institute, even though the idea had to be vigorously defended, especially after the Second World War (Dvořáčková 2011: 123).

5. *A New English Dictionary on Historical Principles*⁸

Some Czech lexicographers, especially Bohuslav Havránek⁹, were greatly inspired by the large English dictionary titled *A New English Dictionary on Historical Principles* (1888-1928, 10 volumes, cfr. OED). It covered the English vocabulary from 1150 to the turn of the 19th/20th centuries. It was based on 5 million excerpted entries from 2,700 authors and 4,500 works, more than one-third of the documents being included in the publication. It is certainly interesting that the method used to derive the excerpts, and, for instance, the formatting of dictionary entries was to a considerable extent in accordance with the expectations of the Czech team (ÚJČ 145).

As part of its preparatory work, in 1878 – ten years before the publication of the first volume – the English lexicographers published sample entries to gain preliminary feedback, which eventually proved a very good idea. The positive and negative responses greatly assisted them in their further work by highlighting certain weaknesses; at the same time, there was an unprecedented surge of interest in collaborating on the project, as over 800 new applications were received. No sample fascicle was published for the *Příruční slovník jazyka českého*, but five model entries were prepared (*cesta, po, vyvolati, sám, případný*, i.e. *way, after, induce, alone, potential*) and, as a trial, all entries beginning with the letter *ž* were processed one year before the first volume was published.

6. *Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika ‘Serbian Dictionary of Literary and Vernacular Language’*

In the summer of 1923, Bohuslav Havránek returned with an inspiring lexicographic experience from his visits to the lexicographic institutes in Belgrade and Zagreb (ÚJČ 142). What was most inspiring, however, was actually learning what to avoid.

Since 1893¹⁰, work had been underway at the Serbian Royal Academy on the compilation of an extensive thesaurus of the Serbian language, *Srpski rečnik književnoga i narod-*

⁸ Inspiration was drawn from the volumes already published and also from the design principles that the Czech linguists requested from their English colleagues.

⁹ Bohuslav Havránek (1893-1978) was a Czech scholar in Slavic and Balkan studies and a long-standing Director of the ČSAV Czech Language Institute, who participated in the preparatory work on the *Příruční slovník jazyka českého* already from 1915, and from 1942 was a member of the main editorial board.

¹⁰ At the celebratory gathering of the Serbian Academy in 1887 to mark the centenary of the birth of Vuk Karadžić, a Serbian linguist and the founder of the modern standard Serbian language, the pressing need to compile a great monolingual dictionary was presented by the historian and phi-

noga jezika. It was intended to reflect the wealth of the standard Serbian language and its dialects from 1783 to the present day. Although a sample volume had been published in 1913, the approach to its design was not at all received favorably by academia. After the First World War, therefore, the editorial team resumed work *ab initio*. Texts written in Croatian were also included in the excerption, and, as a result, the original title was changed to *Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika* 'Dictionary of Serbo-Croatian Literary and Vernacular Language'. The basic excerption principle was that of completeness, i.e. all words were to be verified in all their meanings and semantic nuances. However, as Bohuslav Havránek noted during his visit, virtually nothing was recorded fully and in detail. The editorial team allegedly considered total excerption merely a pointless accumulation of material, relying on documentation of common vocabulary in earlier published dictionaries. Thus, the Serbs totally disregarded linguistic development and neglected to proceed chronologically. As a result, already excerpted literature apparently had to be frequently reviewed again, as the recorded excerpts turned out to be insufficient.

In any case, this experience fully reflected the wholly inappropriate staffing of the Serbian lexicographical team. Whereas in the 1920s and 1930s, the Office for the Dictionary of the Czech Language had at its disposal ten internal members and on average 100 external collaborators, only one retired grammar school teacher and two former secondary school teachers were employed in the Serbian office. Moreover, one of them was employed only on a part-time basis. The excerption fees were the same as the Czech and the Munich fees, i.e. 5 para per card (ÚJČ 142).

Like the Czech Academy, the Serbian Academy also sought for many years to establish a language and linguistics institute to speed up work on the preparation of the dictionary and render it more effective. The Institut za srpski jezik was founded in 1947 (previously, the Academy had a lexicographic department only), just one year after the foundation of the Czech Language Institute.

Unlike the authors of the Czech dictionary, who, thanks to adequate funding, could begin publishing their work in the interwar period, their Serbian colleagues could not begin publishing their extensive work until 1959. The *Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika* is still being published today. The latest (21st) volume (*pogdekada – pokupiti*, i.e. *sometimes – pick up*) appeared in 2020, and approximately two-thirds of the Serbian alphabet is now being covered in this work.

7. *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika* [*Croatian or Serbian Language Dictionary*]

The Czech linguist Bohuslav Havránek also visited Zagreb in 1923. Work on the dictionary began at the South Slavic Academy in 1866, with the goal of designing a diachronic

logist Stojan Novaković, later to become Prime Minister and chairman of the Serbian Academy. Five years later, he outlined a detailed proposal to collect linguistic material and the method to conceive the Serbian thesaurus. Based on his initiative, the Academy also founded its lexicographical department.

dictionary covering vocabulary from its beginnings to the early 19th century. The interwar excerpt process Bohuslav Havránek witnessed was essentially random work, with each excerptor determining their own approach and level of detail – “everyone was making the excerpts according to their skills and inclinations”. This situation was the result of a lack of funding. “There has been and still is no office, no special accommodation or personnel; the editor has been carrying out almost all the work on his own and continues to do so; he is assisted in routine tasks by the Academy’s janitor and occasionally by a student. ... There is plenty of material ..., but it is neither complete nor chronologically accurate ... It is stored in the Academy’s cellar and arranged alphabetically – roughly” (ÚJČ 142). Despite all manner of difficulties involved in its preparation, the dictionary was finally published in full in 1880-1976, comprising 23 volumes and approximately 250,000 entries (Pavesić, Reizer 1965; Finka 1979: 5-13; Malić 1980-1981: 123).

8. *Polish Dictionaries*

The Czech linguists’ extensive international survey of lexicographical activity would not have been complete without including one environment particularly close to the Czech context: Poland. In Kraków, where Josef Zubatý visited, preparatory work had been underway since 1895¹¹ on the Dictionary of Old Polish (*Słownik staropolski*) (Urbańczyk 1953-2002: I-XIII). An authoritative source for the Polish language from the 16th to the early 19th century was the Dictionary of the Polish Language (*Słownik języka polskiego*) by Samuel Bogumił Linde, first published in 1806-1814 (Doroszewski 1951: 13-16; Siwkowska 1951: 6-11). What was interesting about Linde’s dictionary was that, in addition to documentation of literary sources, it also investigated contemporary general usage and the broader Slavic context; additionally, its entries were subjected to a thorough semantic analysis, directly in Polish, setting it apart from other existing bilingual dictionaries such as the German dictionary by the Grimm brothers, who employed Latin as a means of interpretation, or Josef Jungmann’s Czech-German Dictionary, which used German. However, little was made of this inspiring potential by the Office for the Dictionary of the Czech Language. After several revisions of the original design, a synchronic dictionary was eventually compiled, excluding historical stages of the Czech language.

In summary, it can be stated that the closest similarities to Czech lexicographical practices in terms of preparatory work and actual compilation were found in the Swedish *Svenska Akademiens Ordbok* and *A New English Dictionary on Historical Principles*, two dictionaries that supported the directions Czech lexicographers had set for themselves, and also served as models for the resolution of principles as yet undecided. These were, for instance, a sophisticated structure for semantic interpretation, the inclusion of retrievable nuances and polysemy, and the use of quotations as documentary evidence. An important feature of all

¹¹ The decision to compile an Old Polish Dictionary was adopted in 1873. In practice, work on the dictionary did not begin until the early 1940s.

three dictionaries was the stylistic categorization of keywords. There were minor differences, for instance, in the explicit determination of parts of speech, which the Swedish dictionary always provides, while the Czech and English dictionaries omit in the case of nouns.

9. *The Founding of a Czech Academic Lexicographic Institute*

As mentioned above, the traditional European institutional support for extensive dictionaries of national languages was provided by academies of sciences. The Emperor Franz Joseph Czech Academy for Sciences, Literature, and Art was founded in 1891 and renamed as the Czech Academy of Sciences and Arts in 1918, the year when an independent Czechoslovakia was founded as one of the successor states of Austria-Hungary. From the very beginning, one of the pillars of the Academy's work was the cultivation of the Czech language, which was to result in, *inter alia*, the publication of a large explanatory dictionary of the Czech language. The Lexicography and Dialect Commission was therefore established in 1905. Its members worked on aspects of design and methodology related to the proposed dictionary, and in 1911 the Commission established the Office for the Dictionary of the Czech Language (*Kancelář Slovníku jazyka českého*), which laid the foundation of the present-day Czech Language Institute. It should be added that two other institutes were involved in lexicographical research in the Czech Academy of Sciences: the Commission for the Dictionary of Medieval Latin and the Commission for the Dictionary of Old Slavonic Language and the Study of Church Slavonic and its Heritage. Regarding the Dictionary of Mediaeval Latin (*Slovník středověké latiny*), thorough excerption work from the relevant sources was underway from 1934, when the commission for the dictionary was founded, until the 1970s. The first volume was not published until 1977. The Commission for the Dictionary of Old Slavonic Language was founded somewhat unofficially in 1943. A sample fascicle appeared in 1956, and the dictionary was published in 1958-1997. Significant lexicographic works of a smaller scope were compiled with the support of the Czech Academy of Sciences and Arts such as the Dictionary of Lower Sorbian and Its Dialects (*Slovník dolnolužického jazyka a jeho nářečí*) by Arnošt Muka. The Academy's most important lexicographical institutions, however, are undoubtedly the Academy III Class Lexicography Commission¹² (known as the Lexicography and Dialect Commission until 1919), and the Office for the Dictionary of the Czech Language (*Kancelář Slovníku jazyka českého*), which was established by the Commission and directed on its initiative. The chief outcome of its work was the most extensive reference dictionary of the Czech language to date, the Compact Dictionary of the Czech Language (*Příruční slovník jazyka českého*)(1935-1957)¹³.

¹² The Czech Academy for Sciences and Arts comprised four 'classes': Class I covered philosophy, social sciences, and historical disciplines, Class II encompassed natural sciences, Class III represented philological disciplines, and Class IV was dedicated to the creative arts, music, and literature.

¹³ Despite the title, *Příruční slovník jazyka českého* 'Compact Dictionary of the Czech Language', which might imply a publication of a lesser extent, this is a truly monumental work. The title was chosen deliberately, reflecting the decision to abandon the idea of creating a thesaurus – a

10. *Příruční slovník jazyka českého* [Reference Dictionary of the Czech Language].

Příruční slovník jazyka českého was published in 1935-1957 after preparatory work had begun as early as 1905 and is the very first completed monolingual dictionary of Slavic provenance. It was based on the extensive and methodically thorough excerption work, now generally referred to as the Modern Czech Lexical Archive (*Novočeský lexikální archiv*) (Goláňová 2011). This material later formed the basis of other Czech monolingual dictionaries, especially the Dictionary of the Standard Czech Language (*Slovník spisovné- ho jazyka českého*) (1960-1971) and the Dictionary of Standard Czech for Schools and the General Public (*Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost*) (1978). The card excerpts were derived mainly from works of fiction, as well as from academic literature, a selection of newspapers, magazines, and translations¹⁴.

The original design had envisioned the compilation of a thesaurus (Filipec 1958: 216). In 1913, however, this idea was reconsidered, and it was decided that the earliest entries in the future dictionary would be limited to the last quarter of the 18th century. In the late 1920s, a fundamental change occurred, following the decision to prepare a synchronic dictionary, covering approximately the preceding 50-60 years. For the period before 1870, only works by some important authors were excerpted (Hodura 1959: 11). The actual compilation of the entries was carried out in agreement with the sophisticated lexicographical theory published by Alois Získal¹⁵ in the journal “Slovo a slovesnost” (Získal 1938). The members of the chief editorial board were Oldřich Hujer, Emil Smetánka, Miloš Weingart, Bohuslav Havránek, Vladimír Šmilauer, and Alois Získal.

The dictionary was not normative, as it did not serve a codifying function; it was a descriptive lexicographic work that focused mainly on the current state of standard Czech vocabulary. Marked lexemes, such as archaisms and dialect entries, were included only in exceptional cases. Semantic interpretations were gradually made more precise to capture all relevant nuances and cases of polysemy as comprehensively as possible. The use of quotations as documentary evidence reinforced the impartiality of the lexicographic work. Its principal achievement was the inclusion of stylistic classification of lexical units (Karlík *et. al.* 2017).

After the publication of the final, 8th part (9th volume), Addenda to the Reference Dictionary of the Czech Language (*Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého*) was

dictionary containing all words from the very first period of the language – by the late 1920s, while leaving room for the project’s potential revival in the future. It was obvious that the contemporary dictionary needed to be much less extensive than a thesaurus, a distinction the title aimed to convey.

¹⁴ The Modern Czech Lexical Archives are now available in electronic form at <<http://bara.ujc.cas.cz/>>.

¹⁵ Alois Získal (1891-1974) was a Czech scholar in linguistics and Bohemian studies, From 1939 he was director of the Office for the Dictionary of the Czech Language and in the period between 1946 and 1956 was director of the Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences and Arts.

planned but remained only an unfinished manuscript, freely available in electronic form since 2013 at <<http://bara.ujc.cas.cz/bara/>> (Dvořáčková 2013).

11. *Financial Provision for the Great Dictionary of the Czech Language*

For many years, science was seen not as an occupation but as a whim, a caprice, or a hobby. As it has always been seen as virtuous and fair for someone to pay for his hobbies, science could never pay its promoter. It therefore used to be an occupation for rich private individuals or for those who made a living through other, accepted, and recognized work (Smetana 1965: 28-29).

Despite this statement, it can be said that the financial conditions under which the Reference Dictionary of the Czech Language (*Průruční slovník jazyka českého*) was compiled and published can generally be seen as very favorable within contemporary and academic contexts, although the Austro-Hungarian era, in particular, differed from the era of the First Czechoslovak Republic. Before 1918, under the influence of the newly emerging conditions for systematic lexicographical work, and also under the impact of generally unfavorable circumstances such as the First World War, Czech academic lexicography was largely driven by the enthusiasm of interested linguists and their colleagues, with the Academy management willing to provide adequate financial support for the *Dictionary*. However, the situation changed significantly when the new Republic was established. Even though the austerity measures demanded by the Great Depression in the early 1930s had an impact on the incomes of the Office, the *Dictionary* continued to enjoy substantial financial support from the state throughout the interwar period. This was due not only to the public demand or to the high academic value of the first published outcomes of the lexicographic work, but most of all to the nation-forming, or even state-forming potential of the Reference Dictionary of the Czech Language (*Průruční slovník jazyka českého*), since a great dictionary of contemporary Czech was seen as a suitable complement to the hard-won national idea of Czechoslovakism, based on the national language¹⁶ (ÚJČ 6). The independent existence of the First Czechoslovak Republic in Central Europe was in fact built on the Slavonic basis of the so-called Czechoslovak nation and the construct of the so-called Czechoslovak language (Sobota 1929: 32). The political and national motivation was and is quite evident – in a state with numerous non-Slavonic minorities, led by Czech Germans who made up a quarter of the total population. In linguistic terms, however, this

¹⁶ The primary presumption after 1918, when Czechoslovakia became one of the successor states of Austria-Hungary, was that the Dictionary would not only capture the Czech language, but the “Czechoslovak language”, an artificial construct unfounded on linguistics and anticipated to confirm the justification of an independent Slavic state, albeit with a numerous German minority, in the middle of Europe. The linguistic inaccuracy and high demands of the Czechoslovak dictionary project led to the Slovak part soon being abandoned, and work continued only on preparing the Czech dictionary.

was a purposeful, and consequently misunderstood, idea of a joint language stemming from shared roots. This was the reason why, for some time after 1918, the Czech Academy of Sciences and Arts continued to cling to the idea that the dictionary should be compiled not only for the Czech language but also for the Slovak language. Even though this idea (even if conceived in a parallel bi-lingual form), soon proved to be unviable in academic as well as staffing terms, the emerging great dictionary of the Czech language was widely acclaimed and trusted.

To a considerable extent, this was also related to the pre-First Republic and interwar phenomenon of the “nationalization of scientific knowledge”, i.e. the involvement of science and academia in the process of shaping a modern nation, with the humanities and social sciences playing a primary role. This idea apparently aligned with the vision of the first Czechoslovak President Tomáš Garrigue Masaryk, a university professor of philosophy. Furthermore, financial support for the dictionary was a manifestation of the interwar state’s preference for the humanities and social sciences, based also on the conviction that the development of research in the technical and natural sciences should be closely coordinated with industrial and agricultural activities, and also financed by those involved in such spheres, while state support should primarily focus on ensuring the satisfactory development of the social sciences and humanities, which despite lacking immediate commercial potential, broadly influence the positive functioning of society. The Dictionary project therefore enjoyed regular subsidies from the state, regional and municipal authorities, foundations, and, to a lesser degree, also private entities, in particular savings banks and insurance companies. In 1923, for instance, with the income of the whole Czech Academy amounting to almost one and a half million Czechoslovak Crowns, the Office for the Dictionary of the Czech Language alone had a budget of more than 100 thousand Crowns. In the mid-1930s, however, following the impact of the recession, when the Academy had to considerably reduce its spending with 600 thousand crowns per year, the annual budget of the Office even increased to almost three-quarters of the income of the whole ČAVU. The income of the ČAVU therefore fell to almost one-third, while, by contrast, that of the Office rose by one-third.

Support for the dictionary did not cease even during the Second World War, when the Czech Lands became the Protectorate of Bohemia and Moravia, although it understandably faced major restrictions. The work on the new dictionary slowed down considerably, and throughout virtually the entire Nazi occupation, the threat loomed that the work would be brought to a halt, or even that the volumes already published would be destroyed. Credit is primarily due to the land inspector for the language of schools, Jaroslav Zima, for ensuring that the completed volumes were not shredded. Forced labor or imprisonment imposed on some authors, as well as strict censorship, were other major difficulties that had to be faced (Barvíková *et al.* 1998: 81). After the war, the completion of the missing volumes was again supported by the revived Czechoslovak state, and the lexicographic task that had taken so many years could eventually be accomplished in 1957 (ÚJČ 108, ÚJČ 114).

12. Conclusion

The *Reference Dictionary of the Czech Language* (*Příruční slovník jazyka českého*) is not, as its title might imply, a small book containing basic information about Czech vocabulary. In the late 1920s, when the idea of publishing a Czech thesaurus was postponed indefinitely and the decision was made to proceed with the contemporary vocabulary only, the dictionary was intended to comprise around 5,000-6,000 pages. But even this estimate was exceeded – by nearly twice as much. The team of authors included 26 linguists headed by Alois Získal who laid the foundations of the modern Czech lexicographic and lexicological tradition. This was a tradition that had taken long to emerge and was, to a considerable degree, influenced by the experience that its creators had gained in academic institutions abroad where extensive lexicographical works were produced.

The *Příruční slovník jazyka českého* is still the most extensive monolingual Czech dictionary of the standard language (though not exclusively), comprising nine large volumes that record, to an unprecedented extent, the lexical, grammatical, stylistic, orthographic, and orthoepic aspects of more than two hundred thousand words. Its compilation was based on what was, at the time, the biggest excerpt of a Slavic language, and its format had a fundamental impact on matters of Czech stylistics and linguistic culture. Finally, the *Příruční slovník jazyka českého* served as the basis for the new Rules of Czech Grammar (Havránek, Trávníček 1957). The richness of the lexical archive of contemporary Czech has enhanced the understanding of the true standard Czech language and also facilitated the preparation of a retrospective archive that enabled a detailed study of Czech word formation.

In addition to the herculean efforts of those who worked on it, substantial support from the Academy of Sciences, in fact, the state, was also necessary to enable the compilation of such a dictionary. This support was evident, particularly during the First Czechoslovak Republic when the compilation of an academic lexicographical work dealing with Czech vocabulary was considered a political task promoting state formation.

The final volume of the descriptive Reference Dictionary of the Czech Language was published in 1957, and it was followed by other dictionaries of contemporary Czech, notably the normative Dictionary of the Standard Czech Language (*Slovník spisovného jazyka českého*)(1960-1971) in four volumes, and a further normative dictionary, Dictionary of Standard Czech for Schools and the General Public (*Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost*)(1978) in one volume. Since 2012, the Czech Language Institute has been working on the Academic Dictionary of Contemporary Czech Language (*Akademický slovník současné češtiny*) which is expected to contain 120,000-150,000 lexical entries, some of which are already available online (ASSČ).

Abbreviations

- ASSČ: <https://slovníkcestiny.cz/o_slovníku.php> (latest access: 22.07.24).
- OED: *Oxford English Dictionary*, <<http://public.oed.com/history-of-the-oed/>> (latest access: 22.07.24).
- SAO: *Svenska Akademiens Ordbok*: <www.saob.se> (latest access: 22.07.24).
- TLL: *Thesaurus Linguae Latinae*, <<http://www.thesaurus.badw.de>> (latest access: 22.07.24).
- ÚJČ 6: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR – Praha, Ústav pro jazyk český České akademie věd a umění, Box. 1, inv. no. 6, *Negotiations regarding the establishment of the Czech Language Institute*, 1918-1919.
- ÚJČ 108: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR – Praha, Ústav pro jazyk český České akademie věd a umění, Box. 5, inv. no. 108, *Ledger book of incomes and expenses*, 1941-1951.
- ÚJČ 114: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR – Praha, Ústav pro jazyk český České akademie věd a umění, Box 6, inv. no. 114, *Subsidies from the Ministry of Education and National Awareness*, 1945-1949.
- ÚJČ 140: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR – Praha, Ústav pro jazyk český České akademie věd a umění, Box 7, inv. no. 140, *J. Zubatý's notes on the "Thesaurus Linguae Latinae"*, 23 June 1911.
- ÚJČ 141: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR – Praha, Ústav pro jazyk český České akademie věd a umění, Box 7, inv. no. 141, *Instructions to Compile Documents for the "Swedish Academy's Dictionary" (Excerpt Cards with Samples of Swedish Excerpts)*, 1911.
- ÚJČ 142: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR – Praha, Ústav pro jazyk český České akademie věd a umění, Box 7, inv. no. 142, *A memorandum on the preparatory works of the Serbian Royal Academy in Beograd for the "Dictionary of the Serbian Language" and on the work on the "Dictionary of the South Slavic Academy in Zagreb"*, 1923.
- ÚJČ 145: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR – Praha, Ústav pro jazyk český České akademie věd a umění, Box 7, inv. no. 145, *Typewritten text on Murray's "A new dictionary on historical principles"*, [n.d.].

Literature

- Barvíková *et al.* 1998: H. Barvíková *et al.*, *Věda v českých zemích za druhé světové války, Kancelář slovníku jazyka českého za války* (Roudný, Praha 1998, p. 81), Praha 1998, pp. 81-86.
- Bögel, Krömer 1996: T. Bögel, D. Krömer, *Thesaurus-Geschichten. Beiträge zu einer Historia Thesauri linguae Latinae von Theodor Bögel (1876-1973)*, Stuttgart-Leipzig 1996.

- Doroszewski 1951: W. Doroszewski, *O słowniku Lindego*, "Poradnik językowy", 1951, 7, pp. 13-16.
- Dvořáčková 2011: V. Dvořáčková, *Osudy Ústavu pro jazyk český*, Praha 2011.
- Dvořáčková 2013: V. Dvořáčková, *Znovunalezené Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého*. "Práce z dějin Akademie věd", 2013, 1, pp. 47-54.
- Dvořáčková 2019: V. Dvořáčková: *Nejuvětší výkladový slovník českého jazyka*, in: M. Lišková, M. Šemelík (eds.), *Jak se píše slovníky aneb Lexikografie pro každého*, Praha 2019, pp. 222-237.
- Falck-Kjällquist 1987: B. Falck-Kjällquist, *Om Svenska Akademiens Ordbok (SAOB)*, "Språkbruk", 1987, 1, pp. 16-20.
- Filipec 1958: J. Filipec, *Akademický Příruční slovník jazyka českého dokončen*. "Slovo a slovesnost", 1958, 3, p. 216.
- Finka 1979: B. Finka, *Trideset godina djelovanja Instituta za jezik JAZU 1948-1978*, "Rasprave Zavoda za jezik", 1979, 4-5, pp. 5-13.
- Goláňová 2011: H. Goláňová, *Novočeský lexikální archiv a excerpcie v průběhu let (1911-2010)*. "Slovo a slovesnost", 2011, 4, pp. 287-300.
- Havránek, Trávníček 1957: B. Havránek, F. Trávníček, *Pravidla českého pravopisu*, Praha 1957.
- Hays 2007: G. Hays, *Latin from A to P: The 'TLL' in the 20th Century*. "Transactions of the American Philological Association", CXXXVII, 2007, 2, pp. 483-490.
- Hladká 2005: Z. Hladká, *České slovníkářství na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku*. "Naše řeč", LXXXVIII, 2005, 3, pp. 140-159.
- Hodura 1959: Q. Hodura, *Z dějin akademického slovníku jazyka českého*, "Naše řeč", 1959, 1-2, pp. 6-14.
- Karlík et al. 2017: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová, *CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny, Výkladový slovník (Z. Hladká, R. Novotná, Praha 2017)*, Praha 2017, <https://www.czechency.org/slovník/VÝKLADOVÝ_SLOVNÍK> (latest access: 10.11.24).
- Kraus 1993: J. Kraus, *Jungmannův slovník stále živý*, "Naše řeč", LXXVI, 1993, 2, pp. 90-91.
- Krömer 1995: D. Krömer (Hrsg.), *Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 100 Jahre Thesaurus linguae Latinae*, Stuttgart 1995.
- Malić 1980-1981: D. Malić, *Akademijin rječnik i njegove dopune*, "Rasprave Zavoda za jezik", 1980-1981, 6-7, p. 123.
- Opelík et al. 2000: J. Opelík, V. Forst, L. Merhaut, *Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce*, III/2 (P-Ř), Praha 2000.
- Páta 1911: J. Páta, *Česká lexikografie. Stručný nástin dějin českého slovníkářství*, "Časopis pro moderní filologii", 1911, 1, pp. 6-10, 103-106, 198-202, 296-301.

- Pavesić, Reizer 1965: S. Pavešić, Z. Reizer, *Nove crtice o rječniku: rad Instituta za jezik na Akademijinu rječniku*, Zagreb 1965.
- Siwkowska 1951: J. Siwkowska, *Linde o swoim słowniku*, "Poradnik językowy", 1951, 2, pp. 17-21; 3, pp. 6-11.
- Šlosar 1990: D. Šlosar, *Tisíciletá*, Praha 1990.
- Smetana 1965: M. Smetana, *Jak se dělá věda*, Praha 1965.
- Šmilauer 1958: V. Šmilauer, *Příruční slovník jazyka českého*, "Věstník Československé akademie věd", 1958, 7-8, pp. 565-570.
- Sobota 1929: E. Sobota: *Republika národní či národnostní?*, Praha 1929.
- Urbańczyk 1953-2002: S. Urbańczyk (red.), *Słownik staropolski*, 1-11, Kraków 1953-2002.
- Vidmanová 1980: A. Vidmanová, *Mistr Klaret a jeho spisy*, "Listy filologické", CIII, 1980, pp. 213-223.
- Zíbrt 1900: Č. Zíbrt: *Bibliografie české historie. Díl první*, Praha 1900.
- Získal 1938: A. Získal, *Příspěvky k lexikografické teorii a praksi. Další příspěvek k lexikografické teorii a praksi. (Vícevýznamnost slov). Závěrečný příspěvek k lexikografické teorii a praksi. (Podrobný slovník současného spisovného jazyka a uspořádání hesel v něm*, "Slovo a slovesnost", IV, 1938, pp. 19-27, 149-160, 212-222.

Abstract

Věra Dvořáčková

The Origins of Czech Academic Lexicography: From Foreign Inspiration to State Formation Potential

This paper deals with the beginnings of Czech academic lexicography in the context of contemporary international lexicography. When work on the first dictionary covering the contemporary Czech vocabulary commenced, many other lexicographic projects were under way in Europe, frequently not comparable in terms of staffing and funding. The authors of the Czech dictionary were able to learn from the experience of their colleagues abroad, which helped them understand what could be useful in the context of the Czech language, what sources of inspiration could be drawn on, and where greater account should be taken of specific local circumstances. The compilation of the *Reference Dictionary of the Czech Language* was also substantially influenced by the establishment of the independent Czechoslovak Republic in 1918. In light of its multi-national population, in particular the numerous German and Hungarian minorities, the republic conceived the compilation of an extensive dictionary of the Czech language as a project with significant potential for state formation.

Keywords

Origins of Czech Lexicography; Monolingual Dictionary; Příruční slovník jazyka českého; Reference Dictionary of the Czech Language; European Lexicography.

Ольга Евгеньевна Пекелис

Русское *некоторый* в свете типологических ожиданий*

1. Введение

Дистрибуцию неопределенных местоимений в языках мира начиная с работы М. Хаспельмата (Haspelmath 1997) принято описывать с помощью метода семантических карт. Ср. на Рис.1 границы употребления на семантической карте русских неопределенных местоимений. Функции, составляющие карту, образуют две основные группы по признаку референтности. К референтным (*specific*) относятся функции *specific known* и *specific unknown* – соответственно, слабоопределенные и неопределенные в терминологии Е.В. Падучевой (1985: 90-93; 2017a). Слабоопределенные местоимения, в отличие от неопределенных, вводят референта, известного говорящему. К нереферентным относятся все остальные функции на карте; подробнее об их отличительных свойствах см. Haspelmath 1997: 58-86¹.

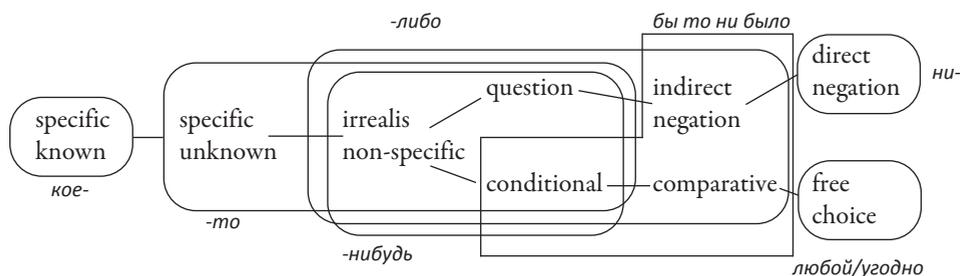


Рис. 1. Русские неопределенные местоимения на семантической карте (Haspelmath 1997: 65)

Дистрибуция неопределенного местоимения *некоторый*, составляющего предмет настоящей работы, насколько нам известно, последовательно не изучалась (так что на Рис. 1 *некоторый* отсутствует). Это объясняется, вероятно, тем, что в современном языке *некоторый* не образует регулярной серии, в отличие от серий *то*, *нибудь* и др., отмеченных на семантической карте. Между тем, *некоторый* заслуживает внимания по меньшей мере по трем причинам.

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

¹ Ср. также версию этой карты в Татевосов 2002: 141.

Во-первых, *некоторый* – частотное местоимение в современном языке: в Газетном подкорпусе Национального корпуса русского языка (далее НКРЯ) *некоторый* встречается примерно в 10 раз чаще, чем *какой-нибудь* (335 734 примера против 30 572).

Во-вторых, *некоторый* подчиняется сочетаемостным ограничениям, природа которых не ясна. Так, в отличие от местоимений *на то* и *нибудь*, для *некоторый* затруднена сочетаемость с существительными единственного числа, ср. (1а, б)²:

- (1) а. *Некоторые политики открыто требуют приговаривать террористов к смертной казни* (“Время МН”, 2003.08.05).
 б. *Какой-то* (³*некоторый*) *политик открыто требует приговаривать террористов к смертной казни*.

В-третьих, свойства *некоторый* менялись за последние двести лет. Еще в XIX в. ограничений на употребление *некоторый* с существительными единственного числа, подобных современным, не было:

- (2) *Не успел я выйти на улицу, как идет мне встречу некоторый озорник* (М.Е. Салтыков-Щедрин. *Святочный рассказ*, 1858).

В настоящей работе употребление *некоторый* в современном языке изучается через призму диахронии и типологии. Опираясь на выборку современных текстов в составе НКРЯ, мы выделяем у *некоторый* четыре значения, каждое со своими сочетаемостными особенностями (§ 2). Для наиболее частотного из значений – неопределенного местоимения – мы анализируем дистрибуцию *некоторый* на семантической карте (§ 3) и диахроническую эволюцию его сочетаемостных свойств (§ 4).

Типологически ориентированный взгляд на обнаруженные факты позволяет утверждать, что развитие *некоторый*, в том числе возникшее ограничение на единственное число, типологически закономерны, тогда как дистрибуция по контекстам на семантической карте, наоборот, нарушает типологические ожидания (§ 5). Последнее обстоятельство мы связываем с селективным компонентом в значении *некоторый*, отсутствующим у других неопределенных местоимений. Таким образом, предлагаемое описание русского *некоторый* уточняет типологические представления о синхронии и диахронии неопределенных местоимений.

2. Современное *некоторый*: типы употреблений

Современное употребление *некоторый* было проанализировано на основе случайной выборки из 100 примеров в подкорпусе 1950-2023 гг. Основного корпуса НКРЯ³. Были выделены следующие четыре значения (в порядке убывания частотности):

² Примеры с указанием источника заимствованы в НКРЯ.

³ Для получения репрезентативной выборки выдача по запросу <<https://ruscorpora.ru/s/dGMmJ>> была рандомизирована, от каждого текста был отобран один пример. Вы-

- неопределенное *некоторый* (50 примеров в выборке; см. § 2.1)
- *некоторый* малого количества (33 примера; см. § 2.2)
- *некоторый*-аппроксиматор (2 примера; см. § 2.3)
- *некоторый* “мысленной картины” (1 пример; см. § 2.4).

Кроме того, в 14 примерах выборки значение *некоторый* трудно однозначно идентифицировать, поскольку оно объединяет в себе какие-либо два из перечисленных значений: неопределенное *некоторый* и *некоторый* “малого количества” (12 примеров), *некоторый* “малого количества” и *некоторый*-аппроксиматор (2 примера).

Несколько иная классификация значений *некоторый* предлагается в (Падучева 2016), наиболее подробно из известных нам семантических описаний этого местоимения:

- *некоторый* ‘неопределенный’ (ед.ч. и мн.ч.)
- *некоторый* с импликатурой ‘не все объекты обладают свойством Р’ (только мн.ч.).
- *некоторый* ‘небольшой, средний’
- *некоторый* в языке математики.

В этом списке обращает на себя внимание, прежде всего, наличие двух разных значений ‘неопределенный’ и ‘не все’, отвечающих единому неопределенному *некоторый* в нашей классификации. Мы остановимся на этом вопросе в § 2.1. *Некоторый* ‘небольшой, средний’ примерно соответствует нашему *некоторый* ‘малого количества’. *Некоторый* в языке математики представляет собой разновидность значения *некоторый* ‘мысленной картины’ (подробнее см. § 2.4). Аппроксимативное значение в (Падучева 2016) не выделяется, хотя соответствующие употребления, как кажется, не могут быть распределены по другим значениям *некоторый* (см. § 2.3).

2.1. Неопределенное местоимение

Некоторый в значении неопределенного местоимения различает адъективное (3) и субстантивное (4) употребление:

- (3) [...] *некоторым* людям удается не заразиться, будучи в тесном контакте с носителем вируса (Lenta.ru, 13.05.2020).
- (4) *Некоторым* удается разыгрывать с помощью пальцев и черного маркера целые сценки (Vesti.ru, 01.07.2014).

борка доступна по следующей ссылке: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NwH-86X8q6toruI23DKomNYLDn-lKxXh/edit?usp=drive_link&oid=108261473661272812505&rttfof=true&sd=true>.

В дальнейшем мы сосредоточимся на адъективном употреблении. Субстантивное *некоторый*, во-первых, всегда выступает как неопределенное местоимение, т.е. не имеет параллели среди трех других значений *некоторый*. Во-вторых, субстантивное *некоторый* подчиняется специфическим ограничениям, которые заслуживают отдельного рассмотрения.

Адъективное неопределенное *некоторый*, как правило, вводит референтные неопределенные или слабоопределенные именные группы. В первом случае *некоторый* может допускать замену на неопределенное местоимение серии *то* (5), во втором – на местоимение серии *кое* (6).

- (5) *В ходе суда обнаружили некоторые (кое-какие, “какие-то”) подробности и детали* (Сергей Довлатов, *Наши*, 1983).
- (6) *Отец, хотите Вы того или нет, но все же до некоторого (“кое-какого, какого-то”) момента – фигура эпизодическая* (Форум: *12 часов в день?* [...], 2010-2011).

Нереферентные употребления *некоторый* не свойственны. Правда, неопределенное *некоторый* может употребляться во многих контекстах, ассоциируемых с нереферентностью, однако не заменимо в этих случаях на местоимение нереферентной серии *нибудь* (подробнее о распределении *некоторый* по контекстам см. § 3).

Существительное, модифицируемое неопределенным *некоторый*, ограничено в терминах грамматического числа и одушевленности. Одушевленные существительные могут быть только во множественном числе, ср. невозможность замены множественного числа единственным в (7), при том что местоимение серии *то* совмести-мо и с единственным числом существительного. В нашей выборке из 100 случайных примеров не встретилось одушевленных существительных единственного числа при *некоторый* в функции неопределенного местоимения.

- (7) *Некоторые ученые уже собираются (“некоторый”^{OK}какой-то ученый уже собирается) подать заявки на участие в проекте* (“Огонек”, 2013).

При неодушевленных существительных единственное число допустимо, но количественно уступает множественному. В выборке среди 50 примеров *некоторый* в значении неопределенного местоимения лишь в 6 существительное выступает в единственном числе, как в (8).

- (8) *Достигнув некоторой точки, я увидел, что практически весь предоставленный мне ресурс исчерпан* (Отзыв на сайте о летнем лагере, 2003).

Для сравнения, при *некоторый* в значении малого количества (см. § 2.2) преобладает, наоборот, единственное число существительного: во всех 33 примерах выборки с *некоторый* в этом значении существительное выступает в единственном числе (отличие от неопределенного *некоторый* статистически значимо, χ^2 , $P < 0.01$).

Заметим, что неопределенное *некоторый* не ограничено с точки зрения предметности существительного: оно сочетается и с предметными (3), и с абстрактными существительными (9). Это отличает данное значение *некоторый* от трех других (см. ниже).

- (9) *При ближайшем рассмотрении удается выявить и некоторые закономерности* (“Знание – сила”, 2011).

Предложенное описание неопределенного *некоторый* не совпадает с таковым в (Падучева 2016), где контексты, не разрешающие единственного числа, выделены в отдельное значение, ср. *некоторый* ‘неопределенный’ в (10) и *некоторый* ‘не все’ в (11)⁴.

- (10) [...] *дебютный сборник одновременно и подвёл итог некоторого этапа авторского развития* (“Волга”, 2013).
- (11) *Некоторые знакомые удивились, что Кваша пошёл на баррикады* (Г. Горин, *Иронические мемуары*, 1990-1998).

Нам кажется такое разграничение неоправданным. Основным доводом против него видится тот факт, что возникновение импликации ‘не все’ как будто определяется механизмами более общими, чем собственно свойства *некоторый*. Так, эта импликация чаще возникает у темы, чем у ремы, ср. (12) и (13). В свою очередь, тема чаще ассоциируется с данным, а рема с новым; поэтому выбор из известного множества, выражаемый смыслом ‘не все’, ожидаемо лучше сочетается с темой.

- (12) *Некоторые выводы (= ‘не все’) мне показались неубедительными.*
- (13) *Из его слов можно сделать некоторые выводы (≠ ‘не все’).*

В нашей интерпретации, таким образом, в (10)-(13) *некоторый* употреблено в одном и том же, неопределенном, значении, а различие в свойствах проистекает из взаимодействия *некоторый* с контекстом.

2.2. *Некоторый* *мало* количества

Некоторый в значении *мало* количества употребляется, как правило, с неодушевленными абстрактными существительными. Ср. (14), где *некоторое разнообразие* означает ‘небольшое разнообразие’, поэтому неудачно “*некоторое значительное разнообразие*”.

- (14) *Некоторое разнообразие в рацион вегетарианца вносит соевая ветчина и говядина* [...] (“Столица”, 10.06.1997).

⁴ Похожий подход представлен в Евгеньева 1986: 450.

Одушевленные или неодушевленные предметные существительные не сочетаются с этим значением *некоторый*. Так, *некоторые дети* не означает ‘мало детей’, а *некоторые яблоки* – не означает ‘мало яблок’. Поскольку абстрактные имена часто относятся к категории *singularia tantum* (Шведова 1980, I: § 1150), для *некоторый* малого количества характерно сочетание с существительными в единственном числе. Однако запрет на множественное число как будто не является абсолютным. В нашей выборке встретился пример (15) с существительным множественного числа *опоры*, который мы разметили как допускающий два прочтения *некоторый*: неопределенное местоимение и малое количество. В самом деле, в (15) уместным кажется эксплицитное указание на большое количество (ср. *дает некоторые существенные опоры*), и в этом случае форсируется неопределенное прочтение, но вне такого форсирования можно интерпретировать *опоры* как ‘незначительные’. Дифференциация значения малого количества и других значений, таким образом, зависит от контекста.

- (15) *Недавняя статья в “Правде” о теории незаметным образом дает некоторые опоры (“Знамя”, 2000).*

Заметим, что значение малого количества, когда оно присутствует, не вытесняет значения неопределенности полностью. В (16), например, раздумье было непродолжительным (ср. неуместность ³³*некоторого длительного раздумья*), но в рамках этой непродолжительности – неопределенным по времени:

- (16) – *Приблизительно пять или шесть, – после некоторого раздумья последовал ответ. (Ю.Н. Ерофеев, Аксель Берг, 2012).*

Это отличает слово *некоторый* от таких слов, как *мало* или *небольшой*, которые могут обозначать малое и при этом определенное количество. Так, *мало* и *небольшой* совместимы с точным указанием количества, как в (17) и (18). *Некоторый* в подобном контексте, по-видимому, не используется (19)⁵.

- (17) *Туда, к сожалению, мало рейсов, по два в неделю, (“Коммерсант”, 20.11.2020).*
 (18) *С нею я очень подружился и за небольшую плату – три миллиона рублей мешок – носил ей из сарая дрова (С.М. Голицын, Записки уцелевшего, 1980-1989).*

⁵ То, что значение малого количества не вытесняет значения неопределенности полностью, не означает, что при лексикографическом описании *некоторый* эти два значения не следует различать. С лексикографической точки зрения, по-видимому, удобно считать *некоторый* многозначным словом. Вместе с тем, с точки зрения общих закономерностей эволюции семантических значений сохранение у *некоторый* малого количества семантики неопределенности свидетельствует о том, что значение малого количества конвенционализировалось не вполне. В терминах Traugott, Dasher (2002: 35 слл.), оно скорее имеет статус прагматической импликатуры, чем собственно семантического значения.

- (19) [...] за некоторую плату (? – сто рублей –) они могут на любого порчу навести... (протоиерей Андрей Кураев, *Что было случайным* [...] 2006).

2.3. Некоторый-аппроксиматор

Как и *некоторый* малого количества, *некоторый* в аппроксимативном значении сочетается с абстрактными существительными. Различие состоит в том, что для *некоторый* малого количества это такие абстрактные существительные, которые обозначают понятия изменяющегося объема (*разнообразие, время, помощь* и т.п.), тогда как *некоторый-аппроксиматор* сочетается с понятиями размытого объема. Ср. *обобщение* в (20), *данность* в (21), *тормоз* в (22), *компромисс* в (23) и *оболочка* в (24): *некоторый* здесь заменимо на аппроксимативное выражение *своего рода* и не может интерпретироваться ни в значении 'мало', ни в неопределенном значении. Последний факт заставляет не согласиться с подходом (Падучева 2016), где аппроксиматив в качестве отдельного значения не выделяется.

- (20) *Вторая редакция "Домостроя" [...] может рассматриваться и как отдельное произведение, трактующее те же вопросы, что и основной текст, и как некоторое (ср. своего рода) обобщение основного текста* ("Родина", 1997).
- (21) *Поэтому к убежденным коммунистам я относился с пониманием, как к некоторой (ср. своего рода) данности, с которой ничего не поделаешь* (Алексей Козлов, *Козел на саксе*, 1998).
- (22) [...] *некоторый (ср. своего рода) тормоз в развитии фондового рынка представляет собой банковская система [...]* (Lenta.ru, 09.06.2000).
- (23) [...] *речь идет о некотором (ср. своего рода) компромиссе – пользователь все-таки может выбрать, что ему устанавливать, а что – нет* ("Ведомости", 2021.03.15).
- (24) *Класс "отладочная точка" должен строиться как некоторая (ср. своего рода) оболочка над переменной программы* ("Информационные технологии", 2004).

Для сравнения, в (25), при предметном существительном *кошечка, своего рода* не заменимо на *некоторый* в аппроксимативном значении:

- (25) *Затем она нарисовала симпатичную каракатицу, [...] с любовью поглядывающую на своего рода (≠ некоторую) кошечку-сороконожку [...]* (Андрей Битов, *Азарт, или Неизбежность ненаписанного*, 1997-1998).

От *некоторый* малого количества (см. § 2.2) аппроксимативное *некоторый* отличается, по-видимому, тем, что принципиально не совместимо с существительными множественного числа. Так, *некоторый* в (26), в отличие от (20), может пониматься только в значении неопределенного местоимения, но не в значении аппроксиматора, ср. неуместность замены на *своего рода*:

- (26) [...] мы по крупицам собираем эти факты, собираемся сделать некоторые (своего рода) обобщения и разобраться в этих феноменах (Vesti.ru, 17.03.2011).

Еще одно отличие касается одушевленности существительного: аппроксиматор *некоторый* может окказионально сочетаться с одушевленными (а значит, предметными) существительными, ср. *возбудитель* в (27), *идол* в (28) и *начальник* в (29). Такая возможность, по-видимому, распространяется на существительные с выражено размытым объемом понятия. В (30), при существительном *сочинительница*, замена аппроксиматора в *некотором разе* на *некоторый* представляется неуместной – потому что объем понятия ‘сочинительница’ достаточно определен.

- (27) Мне нравится думать о себе, как о некотором (ср. своего рода) возбудителе (Б.Б. Вахтин, *Гибель Джонстауна*, 1978-1980).
- (28) Такое поклонение профессору, как некоторому (ср. своего рода) идолу, [...] сохраняется сейчас только в немногих клиниках (“Ковчег”, 1978).
- (29) В редакцию газеты, где я служу некоторым (ср. своего рода) начальником, замкомплексованной развалочкой незаслуженного хозяина входит новый президент (Александр Архангельский, 1962: послание к Тимофею, 2006).
- (30) [...] мне, как в некотором разе (?некоторой) сочинительнице, хотя и весьма посредственной, все эти протонародные словечки и присказки zelo необходимы (В.Я. Шишков. *Емельян Пугачев* [...], 1939-1945).

Как и *некоторый* малого количества, *некоторый* в значении аппроксиматора не до конца утрачивает неопределенное значение: неопределенность имманентно присутствует в аппроксимативности. Кроме того, аппроксимативность слабо дифференцирована со значением малого количества: в нашей корпусной выборке два примера, как кажется, не позволяют разграничить эти значения.

2.4. Некоторый мысленной картины

Особое употребление *некоторый*, отличное от трех вышеперечисленных, представлено в (31):

- (31) Представьте, что вы покупаете у некоторого гражданина квартиру (“Отечественные записки”, 2003).

Ближе всего такому употреблению к значению неопределенного местоимения, однако семантически отличается и от него. Неопределенное *некоторый* подразумевает выбор подмножества из множества (см. подробнее § 3). Так, в (24) *некоторые* означает ‘какие-то из граждан страны’:

- (32) У некоторых граждан страны слушание музыки просто-напросто возведено в культ (“Наука и жизнь”, 2007).

В (31), между тем, говорящий предлагает адресату представить (отсюда – наш термин “мысленная картина”) какого-то произвольного гражданина, удовлетворяющего заданным условиям (адресат покупает у такого гражданина квартиру) – идея выбора из множества если и присутствует, то менее отчетливо. Хотя этот гражданин произвольный, в каком-то смысле понятия референтности и определенности для него нерелевантны: после того, как адресат представил себе такого гражданина, он перестает быть для него неопределенным. То, что референта именной группы с *некоторый* адресату нужно вообразить, иногда обозначается эксплицитно, ср. *представьте* в (31). В других случаях о данном употреблении сигнализирует типичный для него контекст, например, контекст задачи, где то, что дано, тоже нужно вообразить, ср. (33). В (Падучева 2016) употребление *некоторый* в математических текстах квалифицируется как отдельное значение (*некоторый* в языке математики) – которое, тем самым, является частным случаем *некоторый* мысленной картины⁶.

- (33) Пусть дано некоторое множество U , на котором проводится выбор [...] (“Информационные технологии”, 23.08.2004).

От неопределенного *некоторый* значение “мысленной картины” отличается и по формальным признакам. Во-первых, оно не заменимо ни на местоимение серии *ког*, ни на местоимение серии *то* с сохранением значения (неопределенное *некоторый* часто допускает какую-то из этих замен, см. § 2.1). Ср.:

- (34) Сделаем еще одно необходимое отступление. Представим себе некоторый (^{??}какой-то, ^{??}кое-какой) язык. Возьмем, например, язык химических знаков (Ю.М. Лотман, *Структура художественного текста*, 1998).
- (35) Итак, перед вами некоторый ([?]какой-то, ^{??}кое-какой) производитель, который готов произвести новый продукт или услугу [...] (“Эксперт”, 20.12.2004).
- (36) Но ясно, что из этого высказывания вытекает очевидное противоречие: “Некоторая ([?]какая-то, ^{??}кое-какая) женщина является матерью, и она же не является матерью” (А.А. Ивин, *По законам логики*, 1983).

Во-вторых, *некоторый* мысленной картины сочетается с одушевленными существительными в единственном числе, ср. (31). Неопределенное *некоторый*, как отмечено в § 2.1, такого сочетания не допускает. Более того, *некоторый* мысленной картины как будто вообще не употребляется во множественном числе, ср. (31) с (37). В НКРЯ примеров множественного числа *некоторый* в этом значении обнаружить не удалось.

⁶ По мнению анонимного рецензента, *некоторый* мысленной картины является книжным словом. Учитывая близость такого *некоторый* к научному языку, это предположение кажется правдоподобным. Его проверка остается за рамками работы.

таблица 1.
Значения *некоторый*: различительные признаки

значение <i>некоторый</i>	свойства существительного		
	семантический тип	число	одушевленность
неопределенное	б/ограничений	чаще множ.ч.	б/ограничений
малого количества	абстр.	чаще ед.	неод.
аппроксимативное	чаще абстр.	ед.	чаще неод.
мысленной картины	предм.	ед.	б/ограничений

(37) ²²*Представьте, что вы покупаете у некоторых граждан квартиру.*

Заметим, наконец, что *некоторый* мысленной картины сочетается, как правило, с предметными существительными. Это отличает такое значение *некоторый* и от неопределенного значения, не ограниченного в этих терминах, и от *некоторый* малого количества и аппроксиматора – последние, наоборот, тяготеют к абстрактным существительным (см. §§ 2.2 и 2.3). Ср. в (39) сомнительность сочетания *некоторый* мысленной картины с существительным *парадокс*, при приемлемом (38), с неопределенным *некоторый*. Вероятно, это ограничение связано с тем, что предметное проще, чем абстрактное, представить в воображении.

(38) *Некоторые парадоксы разрешаются, стоит вспомнить сами стихи* (“Октябрь”, 2013).

(39) ²³*Представим себе некоторый парадокс.*

2.5. Современное *некоторый*: обобщение

Подведем промежуточный итог. В таблице 1 обобщены формальные признаки, по которым различаются четыре выделенных значения слова *некоторый*. Обратим внимание, что каждое из значений отличается от остальных хотя бы по одному признаку, что подтверждает необходимость разграничения этих значений. Значение неопределенного местоимения – наименее ограниченное из всех, т.е. базовое значение слова *некоторый* в современном языке. Оно же наиболее частотно и частично сохранено в значениях малого количества и аппроксиматора (см. §§ 2.2 и 2.3). Неопределенному *некоторый* посвящены следующие разделы статьи.

3. *Неопределенное адъективное некоторый на семантической карте*

Среди контекстов, выделенных на семантической карте неопределенных местоимений (ср. Рис. 1 во Введении), неопределенное *некоторый* может употребляться во всех за исключением двух – контекстов прямого отрицания и свободного выбора. При этом обнаруживается следующее обстоятельство: в нереферентных контекстах *некоторый* не заменимо на неопределенные местоимения серий, специализирующихся на соответствующем контексте (*нибудь*, *бы то ни было* и т.д.), без изменения значения.

В контексте императива (40) (разновидность функции “irrealis non-specific”), условном (41) и вопросительном (42) контекстах *некоторый* употребляется, но находится в распределении с *нибудь*, близком к дополнительному: ср. в (43-45) примеры с *нибудь* в тех же контекстах, не допускающие замену на *некоторый*.

- (40) [...] *попросите детей соблюдать некоторые* (^{??}какие-нибудь) *правила предосторожности* (“Аргументы и факты”, 2004.07.24).
- (41) [...] *если к некоторым* (^{??}каким-нибудь) *кристаллам прижать металлическую проволоку, то они могут принимать радиосигналы* (“Парламентская газета”, 2021.05.19).
- (42) *Не следует ли толковать некоторые* ([?]какие-нибудь) *происшествия как сны?* (“Волга”, 2016).
- (43) *Юля, будь добра, найди им какие-нибудь* (^{??}некоторые) *халаты* [...] (Алексей Моторов, *Преступление доктора Паровозова*, 2013).
- (44) *И если здесь какие-нибудь* (^{??}некоторые) *подпольные клубы появятся, мы первые в милицию пойдем!* (“Комсомольская правда”, 03.07.2009).
- (45) *Задавал ли он какие-нибудь* ([?]некоторые) *провокационные вопросы?* (Сергей Довлатов, *Чемодан*, 1986).

Встречаются и такие примеры, где взаимозамена *какой-нибудь* и *некоторый* допустима, но со сдвигом в значении: *нибудь* ассоциируется с нереферентным прочтением, а *некоторый* – с референтным:

- (46) [...] *власти применяют против участников акции спецсредства только в том случае, если “какие-нибудь* (ср. *некоторые*) *горячие головы начнут захватывать здания*” (“Коммерсант”, 11.04.2007).

В контексте непрямого отрицания (47), а именно отрицания в составе вышестоящей клаузы, и в сравнительном контексте – в позиции стандарта сравнения (48), *некоторый* тоже встречается. И снова налицо распределение с местоимением серии *бы то ни было*, которое, согласно семантической карте на рис. 1 (см. Введение), употребляется в этом контексте. Замена *некоторый* на *какой бы то ни было* обычно возможна, но ведет к сдвигу в значении – от референтного в случае *некоторый* к нереферентному в случае *бы то ни было*:

- (47) *Я не хотел, чтобы дети видели некоторые (≠ какие бы то ни было) мои картины, пока им не исполнится 16 или 17 лет* (“Известия”, 03.07.2011).
- (48) [...] *в свои пятнадцать лет он гораздо солиднее, чем некоторые (≠ какие бы то ни было) сорокалетние мужчины* (“Мир & Дом. City”, 15.03.2003).

Наконец, в контекстах прямого отрицания (49) и свободного выбора (50) *некоторый* не используется: замена *ни*-местоимения и местоимения серии *угодно* на *некоторый* если и допустима, то с потерей значений отрицания и свободного выбора.

- (49) [...] *никакие (≠ некоторые) роботы не заменят больным людям чуткость и внимание врача* (“Парламентская газета”, 2021.12.31).
- (50) *В предыдущее десятилетие мы слышали какие угодно (≠ некоторые) обоснования нашей внешней политики* (“Газета”, 2003).

Дистрибуция *некоторый* свидетельствует о том, что *некоторый* – референтное местоимение. Именно поэтому *некоторый* взаимозаменяемо с референтными местоимениями серии *кое* и *то* и распределено с нереперентными местоимениями на *ни-будь*, *бы то ни было* и под.

Но почему, будучи референтным местоимением, *некоторый* совместимо с почти всеми нереперентными контекстами? Обратим внимание, что не все неопределенные местоимения обладают такой дистрибутивной гибкостью. Так, местоимение *какой-то* встречается в сравнительном контексте (вопреки семантической карте на РИС. 1), но, как правило, в измененном – прагматически окрашенном (Bylina 2010) – значении, как в (51)⁷:

- (51) [...] *Кубок Гагарина несравненно важнее, чем “какой-то там” юниорский чемпионат* (“РБК Дейли”, 17.04.2013).

Местоимение *какой-нибудь*, будучи нереперентным, не встречается в референтных контекстах:

- (52) *В это время кто-то (≈ кто-нибудь) постучал в дверь* (Егор Радов, Змеесос, 2003).

Аналогично местоимения серии *бы то ни было* не употребляются, например, в императивах, не входящих в сферу употребления *бы то ни было* на семантической карте (см. РИС. 1 во *Введении*):

- (53) *Расскажите какую-нибудь (≈ какую бы то ни было) смешную историю [...]* (“Эксперт”, 2015).

Совместимость *некоторый* с нереперентными контекстами обусловлена, как кажется, особым семантическим свойством этого местоимения – селективностью.

⁷ Ссылка на запрос в НКРЯ: <<https://ruscorpora.ru/s/erMQE>>.

В отличие от других неопределенных местоимений (серий на *кое, то, нибудь* и т.д.), *некоторый* указывает на выбор подмножества из множества: ‘один или несколько из множества X’. Ср. наблюдение А.Д. Шмелева (2002: 97) о том, что *некоторый* выражает логическую квантификацию, т.е. оценку количественного соотношения референта именной группы и исходного, объемлющего множества. Селективный компонент в значении *некоторый* может быть выражен эксплицитно, посредством элективной конструкции (54), но может и только подразумеваться – такова большая часть приведенных выше примеров. Наличие этого компонента у *некоторый* обусловлено исторически (см. подробнее § 4).

(54) *Некоторые из зданий сохранились и по сей день* (И.К. Архипова, *Музыка жизни*, 1996).

Селективность *некоторый* – предпосылка для референтного употребления и, тем самым, “поддержка” референтного прочтения даже в нереперентном контексте. В самом деле, селективность, т.е. выбор из множества, предполагает, что элементы этого множества (например, множества зданий в [54]) с точки зрения говорящего существуют в реальном мире. Между тем как раз уверенность говорящего в существовании референта обычно принимается как один из важных критериев референтности неопределенного местоимения (Haspelmath 1997: 38, Gärtner 2009: 7)⁸.

4. Из истории некоторый

По данным Фасмера (1986: 354), *некоторый* восходит к праславянскому **kotorъ*, первоначально имевшему селективное значение ‘который из двух’. Префикс *не* в составе *некоторый* в древнерусском языке представлял собой регулярную серию на *нѣ-*, употреблявшуюся и в референтных, и в нереперентных контекстах (Penkova, Rabus 2021: 239). В современном языке эта серия сохранилась в отдельных местоимениях (кроме *некоторый*, также *некто, нечто, некий*), но утратила регулярность, ср., например, **некакой*⁹.

В древнерусский и старорусский периоды *некоторый* имело более широкую сферу употребления, чем в современном языке. Во-первых, *некоторый* могло употребляться в нереперентных контекстах с нереперентным значением, подобно современным местоимениям серии *нибудь* (СЛРЯ XI–XVII вв., XI: 156).

Во-вторых, *некоторый* могло сближаться по функции с неопределенным артиклем, как в (55):

⁸ Ассоциируемый с *некоторый* квантор существования отвечает также за несовместимость этого местоимения с контекстами прямого отрицания (49) и свободного выбора (50), поскольку последние ассоциируются с квантором всеобщности (мы благодарим анонимного рецензента за это наблюдение).

⁹ Современные *негде, некому, нечему* представляют собой отрицательные местоимения-предикативы (Падучева 2017б) и имеют другое происхождение (Крысько и др. 2020: 183).

- (55) *Бѣаше же нѣкотѣрѣи мужь хромъ.*
 ‘Один человек был хромым’ (Чудеса Бориса и Глеба, вторая пол. XI в.).

В современном языке в этой функции используется слово *один* (см. про русское *один* Мишина 1960, Bierkenmaier 1976, Богуславский 1996: 167, Николаева 2013). Известно, что числительное ‘один’ – почти универсальный источник неопределенных артиклей в языках мира. Ср. в (56) фрагмент сценария грамматикализации неопределенного артикля из ‘один’, предложенный в (Heine 1997: 71-76).

- (56) (0) numeral ‘one’ > (1) presentative marker > (2) specific marker > (3) nonspecific marker

На стадии 1 (*presentative marker*) ‘один’ используется как маркер введения в рассмотрение, т.е. показатель, вводящий нового для адресата и дискурсивно выделенного участника, важного для дальнейшего повествования, ср. *один клоун* в (57):

- (57) *Один раз у них вечером собиралась молодежь. И был там один клоун. Это невозможно описать, как он выдрочивался* (Василий Шукшин, Печки-лавочки, 1970-1972).

На стадии 2 (*specific marker*) ‘один’ не ограничивается дискурсивно выделенными участниками, но употребляется исключительно в референтных контекстах. Так, в (58) именная группа *один сотрудник* обозначает известного говорящему, т.е. референтного, участника, который не является дискурсивно выделенным: не он, а его сын – главный герой повествования.

- (58) *У нас у одного сотрудника сын к концу школы жил гражданским браком со своей одноклассницей* (Наши дети: Подростки, 2004).

Как видим, современное *один* в своем развитии достигло стадии 2. Однако в качестве нереперентного маркера (*nonspecific marker*; стадия 3) *один* употребляться не может, в отличие, например, от неопределенного артикля многих европейских языков:

- (59) *Сейчас редко встретишь (²одного) человека, который вышел бы из дома без необходимости* (Vesti.ru, 2016.02) – ср. англ. *Nowadays you rarely meet a person who would leave the house unless necessary.*

Один находилось на стадии 2 уже в русском языке XVIII в.:

- (60) *У одного отчинника лет более сорока бежал крестьянин* (В.Н. Татищев, Разсуждение о ревизии [...], 1733).

В этот же период в том же значении могло употребляться и местоимение *некоторый* (вероятно, в продолжение такого употребления в древнерусском). Ср. приме-

ры (61), (62) с *некоторый* в качестве маркера введения в рассмотрение и (63), (64) с *некоторый* – референтным маркером¹⁰.

- (61) *Некоторый* молодчик был моим учеником. Дитина подлинно рожден к человеколюбию и дружбе, рожден все честное слышать и делать (Григорий Сковорода, *Разговор* [...], 1760-1775).
- (62) *Некоторый* король в один день приказал собраться во дворец всем своим придворным министрам для выслушивания приказания, кои тот же час собрались. По собрании оных король начал им говорить следующее [...] (*Угадчик* [сказка], 1791).
- (63) Купечествовал товарами разного рода с разными народами пребогатый город и все имел, что бывает редко и приятно. Разорен от некоторого короля датского. Видны еще только древних развалин остатки (М.В. Ломоносов, *Древняя российская история* [...], 1754-1758).
- (64) При берегахъ Волги у нѣкотораго дворянина взросъ сынъ въ полной свободѣ ничего не-знать (Н.И. Страхов, *Мои петербургские сумерки*. Часть, 1810).

По свидетельству Vesker (2021: 120), при использовании ‘один’ в качестве маркера введения в рассмотрение наблюдается типологически устойчивая тенденция к сочетанию ‘один’ с одушевленными референтами в единственном числе. В этом отношении показательна сочетаемость *некоторый* в период после XVIII в.: в Основном корпусе НКРЯ насчитывается около 380 примеров с *некоторый* в контексте одушевленного существительного в единственном числе именительном падеже, при этом большая их часть – около 350 вхождений – относятся к XVIII-му - первой половине XX в.¹¹ Современные примеры такого рода, как правило, содержат *некоторый* не в функции “артикля”, а в значении “мысленной картины”, которое, в отличие от современного неопределенного *некоторый*, свободно сочетается с существительными единственного числа (см. подробнее § 2.4).

Сочетаемостные отличия от современного *некоторый* обнаруживаются и в контексте неодушевленных существительных. Ср. (65) и (66), где с точки зрения современной нормы *некоторый* неуместно.

¹⁰ По мнению анонимного рецензента, связь употреблений типа (63), с *некоторый*-референтным маркером, с древнерусским языком неочевидна: это употребление могло быть калькой с европейских языков. Против такой интерпретации свидетельствует, однако, то, что примеры референтного употребления обнаруживаются не только в текстах XVIII в., но и раньше, ср. (i). Окончательное решение этого вопроса мы оставляем за рамками статьи.

(i) *В лѣто 6889. Оженися Ягаило, поя за себе нѣкоторую королицу, не имущу отца, ни матери. Ея же ради досталося ему королевство в Лядскои земли.* [Новгородская Карамзинская летопись. Вторая выборка (первая половина XV в.)]

¹¹ При поиске использовался следующий запрос: <<https://ruscorpora.ru/s/bYvvO>>.

- (65) *Умеренность этого но довольно приводит мне на мысль некоторую* (ср.: одну) *сцену из старинной комедии Мнимый философ [...]* (“Вестник Европы”, 1825).
- (66) [...] *Философия имела свою столицу в Греции в некотором* (ср.: одном) *замке, который окружен был глубоким рвом [...]* (Д.И. Фонвизин, *Договор между философиєю и механикою* [перевод басни Л. Хольберга с немецкого], 1761-1765).

Единственное число у *некоторый* в (65), (66), по-видимому, означает, что в языке XVIII-XIX вв. значение “артикля” и значение неопределенного местоимения у *некоторый* еще не были достаточно дифференцированы. К сегодняшнему дню дифференциация произошла и заключалась в том, что “артиклевые” контексты – с единственным числом, прежде всего одушевленных существительных – почти полностью отошли к слову *один*, тогда как у *некоторый* остались бесспорно “неартиклевые” контексты, с множественным числом. Напомним, что в единственном числе неопределенное *некоторый* сегодня ограничено сочетается с неодушевленными существительными (см. § 2.1). К ним относятся, во-первых, непредметные существительные, которые могут обозначать референт неопределенного объема (ср. *некоторое время, некоторое количество, некоторая сумма, некоторая информация* и проч.). Кроме того, с *некоторый* в единственном числе употребляются существительные, референт которых входит в множество таких же элементов (ср. *некоторая точка, некоторый момент, некоторый этап*). Этим обеспечивается осмысленность селективного значения, присущего *некоторый*: точки, моменты, этапы и подобные сущности заведомо не единичны, т.е. образуют множество. Существительные, не удовлетворяющие этим условиям, с *некоторый* в единственном числе не сочетаются, ср. неуместность *некоторый* с существительным *сцена* с позиций современной нормы (65).

Заметим, что в языке XVIII в. *некоторый* могло употребляться в единственном числе не только в квазиартиклевом, но и в современном неопределенном значении, в том числе с такими существительными, которые сегодня в контексте *некоторый* требуют множественного числа. Ср. (67), (68), где с точки зрения современной нормы нужно употребить *какой-то*, но не *некоторый* и не *один*. Этот отвечает предположению о том, что ограничение на единственное число возникло уже после того, как *некоторый* потеряло способность к квазиартиклевому употреблению.

- (67) *Илия молитвою, яко некоторым* (^{??}одним, ^{OK}каким-то) *ключем чудотворным отверзал и заключал небо* (архиепископ Платон [Левшин], *Слово в день Преображения Господня*, 1780).
- (68) *Наконец прибежали к некоторой* (^{??}одной, ^{OK}какой-то) *реке, то кот говорил собаке: “Ну-ка, вези меня на себе через реку”* (Сказка пятая о Иване-купеческом сыне, 1787).

Таким образом, ограничение на единственное число, которому подчиняется современное *некоторый*, получает диахроническое объяснение: это ограничение возникло в результате дифференциации неопределенного и квазиартиклевого значений в XIX-м – начале XX в.

5. Некоторый и типологические ожидания

Местоимение *некоторый* демонстрирует ряд типологически ожидаемых черт и с синхронной, и с диахронической точек зрения. Во-первых, закономерен исход конкуренции между *некоторый* и *один*, разрешившейся в пользу *один* после XIX в.: то, что именно за *один* закрепились употребления, близкие к артиклевым, отвечает типологической распространенности этого семантического перехода¹².

Во-вторых, ожидаема тенденция к употреблению неопределенного *некоторый* с существительными множественного числа. В этой тенденции, как отмечено в предыдущем разделе, снова можно усматривать эффекты конкуренции с *один*. Обратим внимание, что среди русских неопределенных местоимений не только *некоторый* тяготеет к множественному числу, но и *кое-какой* (69), (70) (ср. упоминание об этом в Bierkenmaier 1976). При этом *какой-то*, напротив, свободно сочетается с существительными единственного числа (71)¹³.

- (69) У меня был один (кое-какой) знакомый, который тоже это умел (Екатерина Завершнева, *Высотка*, 2012).
- (70) У меня есть кое-какие знакомые (Анатолий Безуглов. *Страх*, 1977).
- (71) Ведь мы сюда попали по большому влуту, по протекции какого-то знакомого моего приятеля (“Аргументы и факты”, 2000.05.03).

Идея конкуренции с *один* позволяет объяснить этот контраст следующим образом: и *кое-какой*, и *некоторый* могут вводить участника, известного говорящему (см. § 2.1) – так же, как *один* в “артиклевом” значении. Этим обеспечивается прямая конкуренция неопределенного и “артиклевого” употреблений. Между тем *какой-то*

¹² По замечанию анонимного рецензента, у *некоторый* в силу, например, низкой частотности не было никаких шансов стать неопределенным артиклем в русском языке, так что привлечение типологических данных здесь излишне. Однако мы и не оцениваем вероятность превращения *некоторый* или *один* в полноценный артикль. Мы говорим лишь о том, что состоявшееся распределение семантических функций между *один* и *некоторый* отвечает более широкой типологической картине.

¹³ *Один* в современном русском может употребляться с существительными множественного числа, что как будто противоречит предположению о том, что *один* достигло только стадии 2 на пути от числительного к артиклю (ср. (56); подробнее о связи между числом существительного и степенью грамматикализации артикля см. Heine, Kuteva 2006: 105). Однако *один* во множественном числе ограничено в употреблении и, по-видимому, указывает на то, что референты существительного образуют цельную группу – в отличие от *некоторый*, не имеющего этого эффекта. Ср. семантический контраст между (ii) и (iii): в (ii) речь может идти о знакомых, между собой никак не связанных, тогда как в (iii) знакомые скорее всего образуют группу, например, относятся к одной семье. Вопрос нуждается в дополнительном исследовании.

- (ii) Я пригласила [...] и некоторых своих знакомых (И.К. Архипова, *Музыка жизни*, 1996).
- (iii) Я пригласила и одних своих знакомых.

вводит референтных, но неизвестных говорящему участников (ср. рис. 1 во *Введении*) и уже этим обеспечивается его дифференциация с *один*.

Дифференциация неопределенного артикля с функционально близкими неопределенными местоимениями по категории грамматического числа прослеживается и для некоторых европейских языков. Английское *some*, как известно, при сочетании с исчисляемыми существительными требует от них множественного числа (Quirk и др. 1985: 383). Это распределение с неопределенным артиклем *an*, по данным Norreg, Martin (1987: 300), намечилось уже в Хв. Аналогично в итальянском неопределенное местоимение *alcuno* 'некоторый', в отличие от неопределенного артикля, обычно присоединяет существительные во множественном числе (Maiden, Robustelli 2007: 152).

До сих пор речь шла о свойствах *некоторый*, соответствующих типологическим ожиданиям. Но у *некоторый* есть и неожиданные черты. Главной из них видится область употребления *некоторый* на семантической карте неопределенных местоимений. Как показано в § 3, эта область весьма широка и охватывает и референтные, и нереферентные контексты, однако в последних *некоторый* употребляется в референтном значении. Последнее обстоятельство существенно, поскольку ставит под сомнение целесообразность использования семантической карты для описания русского *некоторый*. В самом деле, нереферентные контексты по самому замыслу семантической карты должны характеризовать местоимения с нереферентным употреблением. Для основных неопределенных местоимений в русском языке – серий *кое, то,нибудь* и др. – этот замысел удастся, поскольку различия между сериями лежат прежде всего в зоне (не)референтности. Для местоимения *некоторый*, как мы предположили в § 3, распределение по контекстам определяется в первую очередь не признаком (не)референтности, а селективным компонентом в значении местоимения. Этот компонент совместим не только с референтными контекстами, но и с нереферентными, поскольку сам по себе обеспечивает именно этой группе с *некоторый* достаточную долю референтности. Отсюда следует, что понимание границ употребления *некоторый* на семантической карте мало что дает для понимания свойств этого местоимения.

С последним выводом связаны два общих вопроса, имеющие отношение к типологии неопределенных местоимений:

- дифференциация неопределенных местоимений, для которых семантическая карта служит продуктивным методом анализа, и таких местоимений, для которых она менее эффективна¹⁴;

¹⁴ По мнению анонимного рецензента, дистрибутивное сходство с *некоторый* проявляет древнерусское неопределенное местоимение *етерь*. Во-первых, как и *некоторый*, *етерь* восходит к значению 'один из двух' (Аникин 2022: 75). Во-вторых, по данным Penkova, Rabus 2021, *етерь* употреблялось и в референтных, и в нереферентных контекстах. Однако последний факт само по себе не означает, что с точки зрения дистрибуции *етерь* вело себя как современное *некоторый*: для такого вывода требовалось бы установить, что в нереферентных

- другие особенности неопределенных местоимений, кроме селективного компонента значения, которые могут предопределять дистрибуцию местоимений, расходящуюся с предсказаниями карты.

Поиск ответов остается за рамками статьи.

6. Заключение

Предпринятый анализ слова *некоторый* приводит нас к следующим основным выводам.

- В современном русском *некоторый* выступает в четырех значениях, из которых базовое – значение неопределенного местоимения: это значение наиболее часто и меньше других ограничено условиями употребления (см. § 2).
- Современное неопределенное *некоторый* представляет собой референтное местоимение, но употребляется и в референтных, и в нереферентных контекстах, в последних – с референтным значением (см. § 3).
- В русском языке XVIII-XIX вв. и ранее *некоторый* конкурировало со словом *один* в функции, близкой функции неопределенного артикля. К сегодняшнему дню *один* и *некоторый* дифференцировались и семантически – в качестве “артикля” используется только *один* – и формально: в контексте *некоторый* преобладают существительные множественного числа, в контексте *один* – единственного (см. § 4).
- Современное *некоторый* демонстрирует и типологически ожидаемые, и неожиданные черты (см. § 5). К первым относится исход конкуренции *некоторый* со словом *один*. Ко вторым – дистрибуция *некоторый* по контекстам, противоречащая предсказаниям семантической карты неопределенных местоимений.

Сокращения

НКРЯ:	Национальный корпус русского языка, < www.ruscorpora.ru > (Дата последнего посещения: 08.03.2024)
СЛРЯ XI-XVII вв.:	Словарь русского языка XI-XVII вв., 1-30-, Москва 1975-2015-.

контекстах *етерь* употреблялось в референтном значении. Поиск местоимений, похожих на *некоторый*, таким образом, составляет отдельную трудоемкую задачу.

Литература

- Аникин 2022: А.Е. Аникин, *Русский этимологический словарь*, XVI (ерепени́ться – жи́тьё). Москва 2022.
- Богуславский 1996: И.М. Богуславский, *Сфера действия лексических единиц*, Москва 1996.
- Евгеньева 1986: А.П. Евгеньева (ред.), *Словарь русского языка*, II (К-О), Москва 1986³.
- Крысько и др. 2020: В.Б. Крысько, А.М. Кузнецов, Я.А. Пенькова, *Местоимения*, в: В.Б.Крысько (ред.), *Историческая грамматика русского языка. Энциклопедический словарь*, Москва 2020, с. 172-189.
- Мишина 1960: К.И. Мишина, *Значение и употребление слова "один" в русском языке*, "Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина", 1960, 148, с. 94-112.
- Николаева 2013: Т.М. Николаева, *Словосочетания с лексемой один: форма, значения и их контекстная маркированность*, в: Она же, *Лингвистика: избранное*, Москва 2013, с. 246-265.
- Падучева 1985: Е.В. Падучева, *Высказывание и его соотнесенность с действительностью*, Москва 1985.
- Падучева 2016: Е.В. Падучева, *Местоимения слабой определенности (серия на кое-; серия на не-; один). Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики* (<http://rusgram.ru>). На правах рукописи, Москва 2015.
- Падучева 2017а: Е.В. Падучева, *Референциальный статус именной группы. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики* (<http://rusgram.ru>). На правах рукописи, Москва 2017.
- Падучева 2017б: Е.В. Падучева, *Отрицательные местоимения-предикативы (на не-). Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики* (<http://rusgram.ru>). На правах рукописи, Москва 2017.
- Шведова 1980: Н.Ю. Шведова (ред.), *Русская грамматика*, Москва 1980.
- Татевосов 2002: С.Г. Татевосов, *Семантика составляющих именной группы: кванторные слова*. Москва 2002.
- Фасмер 2004: М. Фасмер, *Этимологический словарь русского языка*, II, Москва 2004⁴.
- Шмелев 2002: А.Д. Шмелев, *Русский язык и внеязыковая действительность*, Москва 2002.
- Becker 2021: L. Becker, *Articles in the World's Languages*, Berlin 2021 (= *Linguistische Arbeiten*, 577).

- Bierkenmaier 1976: W. Bierkenmaier, *Die Funktion von odin im Russischen*, "Zeitschrift für Slavische Philologie", XXXIX, 1976, 1, pp. 43-59.
- Bylinina 2010: E.G.Bylinina, *Depreciative Indefinites: Evidence from Russian*, в: G. Zybatow et al. (eds.), *Formal Studies in Slavic Linguistics: Proceedings of Formal Description of Slavic Languages 7,5*, Frankfurt am Main 2010, pp. 191-206.
- Gärtner 2009: H. Gärtner, *More on the Indefinite-Interrogative Affinity: The View from Embedded Non-Finite Interrogatives*, "Linguistic Typology", XIII, 2009, pp. 1-37.
- Haspelmath 1997: M. Haspelmath, *Indefinite Pronouns*, Oxford 1997 (= Oxford Studies in Typology and Linguistic Theory).
- Heine 1997: B. Heine, *Cognitive Foundations of Grammar*, Oxford 1997.
- Heine, Kuteva 2006: B. Heine, T. Kuteva, *The Changing Languages of Europe*, Oxford 2006.
- Hopper, Martin 1987: P.J. Hopper, J. Martin, *Structuralism and Diachrony: The Development of the Indefinite Article in English*, в: A. Giacalone Ramat, O. Carruba, G. Bernini (eds.), *Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics*, Amsterdam 1987 (= Current Issues in Linguistic Theory 48), pp. 295-304.
- Maiden, Robustelli 2007: M. Maiden, C. Robustelli, *A Reference Grammar of Modern Italian*, London 2007².
- Penkova, Rabus 2021: Y. Penkova, A. Rabus, *East Slavic Indefinite Pronouns: A Corpus-Based Approach*, "Russian Linguistics", XLV, 2021, pp. 227-252, <<https://doi.org/10.1007/s11185-021-09247-0>>.
- Quirk *и др.* 1985: R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartik, *A Comprehensive Grammar of the English Language*. London 1985.
- Traugott, Dasher 2002: E.C. Traugott, R.B. Dasher, *Regularity in Semantic Change*, Cambridge 2002.

Abstract

Olga E. Pekelis

The Russian Pronoun nekotoryj in light of Typological Expectations

This paper investigates the synchronic traits and the microdiachronic evolution of the Russian pronoun *nekotoryj*. Synchronically, I argue that *nekotoryj* has four different meanings, with the meaning of an indefinite pronoun being the most frequent and the least distributionally restricted. Diachronically, *nekotoryj* is shown to have had an article-like function in the Russian language of the 19th century and earlier, which it shared with the numeral *odin* 'one,' while in modern Russian this function is undertaken by *odin* alone. Within a typological stance on the facts observed, I suggest that *nekotoryj* displays both expected and unexpected traits. The former includes the outcome of its competition with *odin*. The latter concerns the distribution of *nekotoryj* across the contexts that make up the semantic map of indefinite pronouns. *Nekotoryj* appears to be an instance of an indefinite pronoun that contradicts some predictions put forward by the semantic map.

Keywords

Indefinite Pronoun; Indefinite Article; Russian Language of the 19th Century; Grammaticalization.



**MATERIALI
E DISCUSSIONI**

Luca Cortesi

Velimir Chlebnikov in Italia, prima di Ripellino

1. Introduzione

Che l'attività di Ripellino abbia rappresentato un punto di svolta decisivo nella ricezione di Chlebnikov in Italia è un dato di fatto¹. Ma il nome di Chlebnikov non era del tutto sconosciuto in Italia prima che Ripellino si dedicasse alla sua 'riscoperta'.

La stampa italiana degli anni Dieci riserva uno spazio significativo a Chlebnikov. Armando Zanetti, corrispondente a Pietroburgo per il "Giornale d'Italia", traccia un profilo succinto e impietoso "del più avanzato tra i futuristi russi, Khliebnikof", descritto come un "giovannotto alto, con poco pelo biondastro, rigido, impacciato, balbuziente nelle risposte come un ragazzo deficiente all'esame di una materia di ragionamento imparata a macchinetta" (Zanetti 1914). Paradossalmente, malgrado il tono beffardo e svilente, tratto imprescindibile delle *querelles* futuriste di quel periodo, Zanetti riporta i punti fondamentali della poetica chlebnikoviana, con precisione e chiarezza straordinarie:

Cogli argani, interrogando, formulando ampiamente la domanda in modo che possa rispondere sì e no, gli si cava qualche cosa delle sue preziose idee. È slavofilo, slavomane, asiofilo, asiomane; nella sua geografia futurista la Russia-Slavia comincia ad oriente del Dnieper; la cultura tedesca dev'essere annientata: [...] si trincerava dapprima dietro l'incomprensibilità dell'anima slava; parla poi dell'astrologia caldea, delle tradizioni bizantine, dei culti pagani dell'antica Kiev, [...] Ogni 1387 anni, [...] deve cadere un grande impero; nel 1917 dovrà cadere, sotto i colpi della Russia, l'impero germanico [...] egli prevede una nuova lingua slava comune, composta di sole radici, perciò breve ed energica; ma le sue poesie pubblicate sono anteriori a quest'idea. Crede che la guerra dovrà scomparire, in quanto lo sviluppo di quella tale astrologia, basata sull'esperienza storica e sulle costellazioni [...] indurrà i contendenti a realizzarne i risultati senza spargere sangue... Del resto, finché questa previsione esatta non è possibile, è bene alimentare lo spirito militare e bellicoso (Zanetti 1914).

¹ Per una ricostruzione dell'interesse di Ripellino per Chlebnikov e della storia editoriale dell'antologia del 1968, si rimanda ai *Materiali per un dossier Chlebnikov-Ripellino* (Chlebnikov 2024, I: v-XLVI). Per una panoramica delle opere di Chlebnikov tradotte in italiano, si rimanda alla *Nota bio-bibliografica e redazionale* (*ibidem*: LII-LIV). Emerge con chiarezza la disparità tra i lavori pubblicati prima e dopo il 1949, anno in cui Ripellino produsse la "prima densa ricognizione di Chlebnikov" (*ibidem*: x). Si rimanda inoltre a Niero (2021: 481-484).

Nessun riferimento privilegiato alla poesia. E nell'accenno alla logopoiesi chlebnikoviana, alle varie espressioni dello sperimentalismo *zaum'* che hanno concentrato l'attenzione della critica post-ripelliniana, si può riconoscere non tanto un riferimento a un artificio poetico, quanto un rimando alle motivazioni che spinsero Chlebnikov ad occuparsene. Mi riferisco al fine utopico e filantropico che emerge in tante pagine della sua opera e che non è tratto accessorio, bensì primo impulso delle sue ricerche. Con tono derisorio, Zanetti si sofferma su un altro elemento centrale nel sistema estetico chlebnikoviano, le 'leggi del tempo', le previsioni sulla caduta degli stati e sullo scoppio delle guerre.

Tre anni più tardi, in piena guerra mondiale, Emilio Settimelli (1917) pubblica in prima pagina un articolo dal titolo molto eloquente: *Prodigiosa profezia di un futurista russo sull'esito della guerra*. Il tono è celebrativo: all'ombra di un abbozzo di tavola parolibera, Settimelli manda "un bel saluto d'entusiasmo al futurista Kliebnikof [...] per la sua forza ipnotica e veggente". Settimelli cita alcuni passaggi dell'articolo di Zanetti "sullo strano Kliebnikof", esprimendo tuttavia la sua ammirazione "per aver saputo rintracciare nella fuga dei millenni e nelle vicende degli Imperi barbari la condanna di questi infami tedeschi crollanti" (*ibidem*). Anche in questo caso, nessun accenno alla poesia, ma un ritratto più pittoresco, incentrato sulle ricerche pseudoscientifiche, che nel corpus chlebnikoviano occupano una posizione di rilevanza anche maggiore della lirica².

Sebbene col tempo si sia consolidato il giudizio espresso nel necrologio majakovskiano di un Chlebnikov 'poeta per poeti' che avrebbe contribuito a plasmarne il mito (cfr. Majakovskij 1959: 23-28), le prime opere di Chlebnikov tradotte in italiano risultano essere in prosa e non in poesia, forse per il contesto interbellico, in cui era "sovrana la prosa, quasi completamente assente la poesia" (Cronia 1958: 594). Le due traduzioni di cui qui tratteremo furono pubblicate rispettivamente nel 1934 e nel 1943. Sembra, tuttavia, che non siano riuscite né a lasciare un segno tangibile nella ricezione dell'opera del poeta né, di conseguenza, a resistere alla prova del tempo.

La breve indagine che qui propongo non si profila come un approfondito studio traduttologico. Non mi addenterò, quindi, in una disamina delle teorie, delle metodologie o delle strategie adottate dai rispettivi traduttori: basti rilevare che i due lavori rivelano un approccio incline all'addomesticamento, in linea con la tendenza prevalente nel contesto

² Nella prospettiva di una più ampia disamina sulla distorsione della figura e delle posizioni di Chlebnikov, è opportuno ricordare la famosa 'previsione' della caduta di uno stato prevista per il 1917, pubblicata nel 1912 nel dialogo *Učitel' i učениk* (SS, VI/1: 47). Interpretata dai contemporanei come la sconfitta dell'impero tedesco, la profezia 'sibillina' del poeta ha subito un sostanziale travisamento: con il collasso dell'impero russo, Chlebnikov si è trovato a vestire i panni di un profeta della rivoluzione bolscevica. Avallata in seguito dallo stesso Chlebnikov, che vi vide 'prova tangibile' della validità delle sue ricerche pseudoscientifiche, gli *zakony vremeni*, questa interpretazione sembra perdurare anche oggi. Anche questo è un aspetto importante dell'immagine dell'autore che andrebbe messo in discussione, ma su cui non mi soffermo in questa sede.

storico-culturale in cui nascono³. Questa ricognizione ha piuttosto lo scopo di gettare luce su due pubblicazioni che, come auspicio, possono stimolare una rivalutazione delle opere non poetiche di Chlebnikov, ancora poco conosciute in Italia, unitamente a una problematizzazione delle cause a cui si deve l'oblio di queste stesse opere, che ritengo necessaria a più di un secolo dalla morte del poeta.

2. *La traduzione di Ochotnik Usa-gali (Il cacciatore Ussa-gali, 1934)*

La prima traduzione qui esaminata è *Il cacciatore Ussa-gali*, a cura di Emma Sola, pubblicata nel 1934 su "Circoli. Rivista di poesia"⁴.

L'originale chlebnikoviano è un breve racconto intitolato *Ochotnik Usa-gali*, composto e pubblicato nel 1913 sull'almanacco *Troe*, dove figurano, insieme ad altre opere dello stesso Chlebnikov, anche contributi di M. Matjušín ed E. Guro. Chlebnikov vi manifesta una tendenza all'estetizzazione delle sue terre d'origine, di cui sottolinea l'essenza 'asiatica', che emerge anche in un altro breve componimento in prosa, intitolato *Nikolaj* e tematicamente legato al racconto qui considerato. Nel complesso si tratta di una prosa quasi impressionistica. *Ochotnik Usa-gali* è il ritratto letterario di un cacciatore dell'Asia centrale, abile cavallerizzo. Il nome stesso è 'parlante': *Usa* sarebbe infatti un termine turco, che significa 'abile, esperto' (cfr. ss, v: 406). Uomo semplice e in armonia con la natura, è una delle personificazioni dell'anti-urbanismo chlebnikoviano⁵.

Emma Sola (1894-1971)⁶, a cui si deve la traduzione di questo racconto, è maggiormente nota per la sua attività di mediazione dal tedesco. Non ci sono fonti che attestino una sua padronanza del russo, ma sembra che Sola avesse considerato di trasferirsi in Unione Sovietica. Ciò è testimoniato da una lettera che Clara Zetkin inviò a Lunačarskij nel 1932, in cui si afferma che Sola era in grado di leggere il russo lentamente, con il dizionario (cfr. Vicentini 2022: 115-117). La cosa non ebbe seguito; nel 1933 Sola si legò sentimentalmente al giovane orientalista russo-lituano Dmitrijus Markovicius (1911-?), con cui alla fine dell'anno si spostò in Spagna. La traduzione di Chlebnikov fu verosimilmente resa possibile dalle competenze del compagno (cfr. *ibidem*: 123).

³ Si veda Cronia (1958: 632) per alcune considerazioni circa l'assenza, all'epoca, di una vera e propria "coscienza del 'tradurre'".

⁴ La rivista, di ottimo profilo culturale e sulla quale pubblicò anche Renato Poggioli, negli anni Trenta registra una serie di contributi dedicati alle lettere russe. Si veda la pagina del portale *Russinitalia* <https://www.russinitalia.it/periodici.php?id_rivista=7> (ultimo accesso 30.06.2024).

⁵ *Nikolaj* e *Ochotnik Usa-gali* sono parte di un 'trattico dei cacciatori' mai realizzato, cfr. ss, v: 406.

⁶ Dal 1926 esule volontaria a Monaco di Baviera per antifascismo, Sola rientrerà in Italia solo al termine della Seconda guerra mondiale. In Germania, è vicina all'ambiente di E. Nietzsche-Förster; in quello stesso anno traduce in italiano due opere del filosofo (Mangini 2000: 222-225). Per una ricostruzione della sua vita, si rimanda a Mangini (2000: 187-195, 222-225) e Vicentini (2022: 101-160).

Prima di entrare nel dettaglio della traduzione, bisogna sottolineare la presenza di un paratesto. Come Ripellino nell'articolo pubblicato su "Convivium" (1949), anche Sola si preoccupa di segnalare la corretta accentazione del nome dell'autore, in una succinta nota biografica introduttiva. Chlebnikov è presentato come "il sognatore della umanità primitiva, il profeta del mondo slavo perduto, che forse non è mai esistito, precristiano e forse anche prepagano" (Chlebnikov 1934a: 55). Soffermandosi brevemente sulle sue sperimentazioni linguistiche, che "gli han procurato la fama di incomprensibile" (*ibidem*), Sola ne traccia un profilo completo:

Egli ha scritto in prosa ed in verso; per le sue opere non si può usare la terminologia consueta, perché i suoi drammi sono epici, la sua novella si risolve facilmente in lirica, ed i suoi saggi sono insieme visioni e poemi epici (*ibidem*).

Nella nota biografica introduttiva, Sola riporta inoltre che "una sua raccolta di versi si intitola: 'Semplice come muggito'" (Chlebnikov 1934a: 55). Si tratta però di un'attribuzione errata, poiché la raccolta *Prostoe kak myčanie* (1916) è di Majakovskij.

Questa traduzione merita attenzione per diversi aspetti, a cominciare dalla scelta del testo. *Ochotnik Usa-gali* non è infatti tra i lavori più rilevanti, né tra i più rappresentativi, della prosa di Chlebnikov. È lecito ricondurre questa scelta alla temperie di quel periodo, che si caratterizzava per il "prevalere assoluto delle traduzioni in prosa da quelle in versi" e risentiva in modo particolare di "ragioni storiche e politiche, esigenze letterarie e simpatie personali" (Cronia 1958: 631). Forse dovuta all'influenza del compagno, forse alle frequentazioni di Sola in Germania, la motivazione che portò alla scelta del testo è di difficile ricostruzione.

Il nome di Chlebnikov era già comparso nelle riviste letterarie degli anni Trenta, grazie a Renato Poggioli. Nel 1930, in un articolo dedicato alla figura di Majakovskij, a pochi mesi dalla morte del poeta, Poggioli scriveva che "il povero Chljebnikov" era stato "il vero rivoluzionario del futurismo russo" (Poggioli 1930: 57); nel 1931, in una recensione, era sempre Poggioli a segnalare con favore "l'esame del mezzo tecnico, del mezzo stilistico in figure ed opere come quelle di Chljebnikov" (Poggioli 1931: 455); nel febbraio 1934, nella sezione "Letteratura russa" della rubrica "Notizie" della rivista "PAN" si dava il seguente annuncio: "la novità più bella è quella delle *Opere Complete* di VELEMIR CHLJEBNIKOV [si veda in *Bibliografia*, SP] la cui pubblicazione [...] si è chiusa in questi giorni col quinto ed ultimo volume", verosimilmente da attribuire a Poggioli (Poggioli? 1934: 479)⁷. Forse lo stimolo che ha portato alla pubblicazione del *Cacciatore Ussa-gali* va ricondotto proprio all'influenza più o meno diretta di Poggioli? Non posso addurre prove incontrovertibili a sostegno di

⁷ Manca l'indicazione del nome dell'autore del contributo. Ipotizzo che sia da attribuire a Poggioli, considerando la scelta della traslitterazione del cognome in "Chljebnikov" (già vista nei due contributi precedentemente citati), le analogie con Joyce, che si registrano anche in Poggioli (1930: 57) e un atteggiamento piuttosto insofferente nei confronti di Majakovskij, che emerge anche negli altri articoli (Poggioli 1930; 1931).

questa ipotesi, se non il fatto che anche Poggioli pubblicò sulla rivista “Circoli”⁸, e che la definizione di Chlebnikov data da Poggioli “Egli era un alchimista del Verbo” (Poggioli? 1934: 479), si rispecchia in ciò che Sola afferma nella sua nota introduttiva: “egli è mago e alchimista della parola” (Chlebnikov 1934a: 55). E ancora, mentre su “PAN” si legge che “Majakovskij, da geniale orecchiante, si limitava a diffondere coi virulenti e contagiosi amplificatori della sua retorica il verbo occidentale di Marinetti” (Poggioli? 1934: 479), Sola sembra riecheggiare questo giudizio, asserendo lapidariamente che Majakovskij “aderì al futurismo italiano” (Chlebnikov 1934a: 55).

Se si entra nel dettaglio della traduzione, i risultati di maggior pregio, a mio avviso, pertengono tanto alla resa in italiano dell’alternanza rapsodica dei tempi verbali, tipica della prosa chlebnikoviana, quanto un generale tentativo di aderenza al testo originale, forse dovuta a una limitata padronanza della lingua russa, che tuttavia non si riscontra in un’altra traduzione dello stesso racconto, contenuta nella celebre antologia *Per conoscere l’avanguardia russa*⁹, a cura di S. Vitale (Vitale 1979: 106-108). In ottica contrastiva, riporto di seguito alcuni esempi:

<p>Chlebnikov (SP, IV: 37)</p> <p>Уса-гали воспитывал соколов, охотился, а при случае занимался разбоем. Если его уличали, он добродушно спрашивал: “а разве нельзя? – думал, можно!”</p>	<p>Sola (Chlebnikov 1934a: 56)</p> <p>Ussa-Gali allevava i falchi, andava a caccia, e all’occasione si dedicava alla rapina. Se lo coglievano in fallo, rispondeva bonario: “Forse che non è permesso? – Credevo di sì!”</p>	<p>Vitale (1979: 106)</p> <p>Usa-Gali allevava falconi, cacciava e, quando capitava, si dedicava al brigantaggio. Colto sul fatto, chiedeva gentilmente: “Non dovere? Io credo che potere!”</p>
<p>Chlebnikov (SP, IV: 38)</p> <p>Уса-гали, что ты делаешь? – “Крылья подмерзли, мало-мало продаю их”, – равнодушно отвечал он.</p>	<p>Sola (Chlebnikov 1934a: 57)</p> <p>Ussa-Gali, che fai? – “Le ali sono un po’ gelate, a poco a poco le vendo”, – indifferente rispose.</p>	<p>Vitale (1979: 108)</p> <p>“Che fai, Usa-Gali?” “Ali gelate, così io vendere qualcuna” rispose con aria indifferente.</p>
<p>Chlebnikov (SP, IV: 38)</p> <p>Чумаки подбежали и на славу выместили свои обиды. “Будет?” – спрашивали они его. “Будет, батька, будет!” – отвечал он тихо. [...] Плетью, которая есть близкий родич се-</p>	<p>Sola (Chlebnikov 1934a: 56)</p> <p>I carovanieri accorsero e vendicarono gloriosamente su di lui le offese ricevute. “Basta?” gli chiedevano. “Basta, padre mio, basta!” rispondeva egli piano. [...] La sferza, che è prossima</p>	<p>Vitale (1979: 106)</p> <p>I carrettieri accorsero e si vendicarono ben bene di tutti gli affronti subiti. “Ti basta?” gli chiedevano. “Basta, piccolo padre, basta!” rispondeva lui con un filo di voce. [...] Della frusta,</p>

⁸ Nel 1931, un *Commento a Mandelstam* [sic]; nel 1932, una traduzione di alcune poesie di Chodasevič, raccolte sotto il titolo *Per la via del grano*.

⁹ Grazie all’ampiezza della prospettiva d’indagine che la caratterizza, questa pubblicazione occupa un posto di rilievo nella storia della ricezione di Chlebnikov in Italia (conta infatti più di venti opere tradotte, di genere diverso).

верного кистеня, он умел владеть превосходно, то-есть по-киргизски, пользуясь ею на волчьих охотах.	parente del chistén, la sapeva maneggiare perfettamente, cioè alla chirghisa, adoperandola nelle cacce al lupo.	parente prossima della frusta-mazza del nord, Usa-Gali conosceva alla perfezione l'uso secondo la moda kirghisa, e se ne serviva per cacciare i lupi.
---	---	---

Le scelte stilistiche e lessicali delle due traduzioni esprimono lo spirito e il gusto del loro tempo; tuttavia, vale la pena soffermarsi su alcune differenze nella resa di alcuni passaggi. La scelta di Vitale di tradurre le battute del protagonista con l'uso di verbi all'infinito, ad esempio, si discosta dal testo di Chlebnikov non solo grammaticalmente, ma anche nell'intento di attribuire una parlata da 'straniero' o da 'selvaggio', immediata per il lettore italiano, ma che non trova analogie nell'originale. Oppure la resa di *bat'ka* in 'piccolo padre' (Vitale), una 'pseudotraduzione' consolidata dell'appellativo russo, a fronte di 'padre mio' per cui opta Sola. Anche la scelta di mantenere in originale il termine 'chistén', di cui si dà spiegazione in una nota, che il cacciatore maneggia "alla chirghisa" (Sola), si distingue dalla soluzione "frusta-mazza del nord", usata "secondo la moda kirghisa" (Vitale). In generale, si può riconoscere una tendenza 'addomesticante' nella traduzione di Sola, che si esprime in alcuni particolari, come nella scelta della razza del cane da caccia, forse più familiare al contesto italiano dell'epoca,

Chlebnikov (SP, IV: 38)	Sola (Chlebnikov 1934a: 57)	Vitale (1979: 107)
Настойчивее борзой ручные орлы, преследуя в степи волка [...]	Più perseveranti di un braccio, le aquile addomesticate, inseguendo nella steppa un lupo [...]	Più tenaci dei veltri, le aquile addomesticate braccano il lupo nella steppa [...]

così come nel ricorso alla nota formula dei gladiatori:

Chlebnikov (SP, IV: 38)	Sola (Chlebnikov 1934a: 57)	Vitale (1979: 107)
“Здравствуй! долженствующие умереть, приветствуют тебя!”	“Ave! i morituri ti salutano!”	“Buongiorno! Coloro che devono morire ti salutano!”

Non mancano, tuttavia, casi in cui si assiste a una resa piuttosto letterale di alcuni passaggi:

Chlebnikov (SP, IV: 39)	Sola (Chlebnikov 1934a: 58)	Vitale (1979: 108)
Между тем гуси, своим узором разделившие небо пополам, тягиваются в тонкую полосу. Стая, похожая на воздушного змея, где-то далеко теряется бесконечной нитью, может быть облегчая полет.	Intanto le anitre, che col loro ornamento han diviso a metà il cielo, si allungano in una riga sottile. Lo sciame, simile a un drago volante, sparisce chi sa dove lontano come un filo senza fine, forse alleggerendo il volo.	Nel frattempo, le oche che dividevano in due il cielo con un capriccioso arabesco si sono rastremate in una striscia sottile. Simile a un aquilone, il branco si perde all'orizzonte in un filo interminabile che forse facilita il volo.

3. *La traduzione di Malinovaja šaška (La sciabola magica, 1943)*

Nel periodo che intercorre tra le due guerre mondiali, le traduzioni di opere di autori slavi svolte alla maniera ‘indiretta’, e quindi grazie alla mediazione di traduzioni in altre lingue, vanno scomparendo. Si fanno sempre più rare anche “le brutte versioni che maltrattano a piacere l’originale omettendo e parafrasando interi passi” (Cronia 1958: 632). La seconda traduzione che prendiamo in esame sembra tuttavia collocarsi in controtendenza.

L’originale chlebnikoviano è il racconto *Malinovaja šaška*. Composto nel 1921 e pubblicato postumo nel 1930, offre una rappresentazione molto particolare della guerra civile russa, narrando di una vicenda che, tra l’onorico e il grottesco, sfocia nell’*autofiction*. È opportuno soffermarsi brevemente sul titolo, che si riferisce a un espediente adottato dal protagonista del racconto, P., amico dello stesso Chlebnikov¹⁰. P. irrompe nella tenuta di campagna delle sorelle Sinjakov, nei pressi di Char’kov, sparando con una rivoltella. È un giovane combattente, vestito alla cosacca, che intende fare colpo sulle sue ospiti. Racconta quindi storie truculente di combattimento tra le fila dei cosacchi rossi. Per dare un maggiore senso di autenticità a quanto dice, ha cosperso la propria sciabola con una tinta color lampone per farla sembrare insanguinata. Il trucco viene però presto smascherato, e lo smargiasso è sommerso dalle risate degli astanti.

La traduzione italiana del racconto, *La sciabola magica*, a cura di G. Marussi¹¹ e pubblicata senza paratesti nel 1943 sulla rivista “Lettere d’oggi”, è un risultato interessante sotto diversi aspetti. Il sospetto di avere a che fare con una traduzione ‘di seconda mano’ si concretizza man mano che ci si addentra nel testo. Anche in questo caso, non mi è noto il motivo che ha condotto alla scelta di questo specifico racconto, ma ritengo di poter affermare con una certa sicurezza che il testo non è stato tradotto direttamente dal russo, bensì dal francese. Quella di Marussi si rivela infatti una riproduzione, quasi pedissequa, di una traduzione francese dal titolo *La sabre enchanteur*, pubblicata nel 1934 sulla rivista “Les nouvelles littéraires” a cura di Benjamin Goriély¹². È sufficiente un confronto delle prime righe delle due traduzioni per averne conferma. Si può notare infatti una serie di ‘caratte-

¹⁰ Si tratta di Dmitrij Petrovskij, che negli anni Venti pubblicò alcuni scritti sul tema della Guerra civile e del suo rapporto con Chlebnikov.

¹¹ Il nome di battesimo del traduttore non è reso esplicito, ma indicato con l’iniziale puntata sia nel sommario della rivista, sia in coda alla traduzione; è verosimile che si tratti di Garibaldo (o Garibaldi) Marussi (Marussich, 1909-1973), poeta e traduttore fiumano vicino ai futuristi e molto attivo già dagli anni Trenta. Proprio in questo periodo e su suo impulso venne fondata la rivista mensile “Termini”, con lo scopo di creare un ponte tra la cultura italiana e quelle dell’Est europeo. Si annoverano numeri speciali bilingue dedicati alle culture slave meridionali. Non ho reperito notizie su una sua eventuale padronanza del russo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda del Catalogo Integrato Mart, e alle relative unità archivistiche: <<https://cim.mart.tn.it/cim/pages/lemma.jsp?id=17409&lang=it>> (ultimo accesso 30.06.2024).

¹² La traduzione è stata pubblicata a puntate in due numeri della rivista, rispettivamente del 10 e del 17 novembre 1934. Si veda la *Bibliografia*.

ristiche condivise' che accomunano il testo italiano a quello francese e lo allontanano da quello originale: illustro qui le più significative.

In primo luogo, lo stravolgimento del titolo del racconto, per cui la sciabola da *malinovaja* diviene *enchanteur* in francese e *magica* in italiano, sebbene non ci sia niente di 'magico' nel racconto tradotto, né tantomeno nell'originale. Si perde così il risultato straniante che il titolo in sé produce, oltre al legame che intrattiene con il senso fortemente ironico che la trovata di dipingere la sciabola ha all'interno della narrazione.

Considerando il testo del racconto, le due traduzioni mostrano scarsa aderenza all'originale¹³ anche per le dimensioni: viene eliminata una corposa parte di antefatto, dove Chlebnikov presenta un paese stremato dagli strascichi della guerra mondiale e dalla guerra civile, esprimendosi in modo ideologicamente ambiguo. La versione francese – e, di conseguenza, quella italiana – comincia infatti con il seguente passaggio:

Chlebnikov (1930: 138)	Goriély (Chlebnikov 1934b)	Marussi (Chlebnikov 1943: 45)
Конь гражданской войны, наклоня желтые зубы, рвал и ел траву людей. Большевицкая волна спадала. Ничто не могло.	Le cheval de la guerre civile, inclinant ses dents jaunes, arrachait et mangeait l'herbe humaine. La vague bolchevique mourait. Rien ne la soutenait.	Il cavallo della guerra civile, protesi i denti giallastri, strappava e masticava l'erba umana. L'ondata bolscevica si esauriva. Non c'era più nulla che la sostenesse.

Non mi è possibile determinare cosa precisamente abbia spinto il traduttore francese a fare questa scelta, che, al di là delle possibili congetture, non sembra in alcun modo legata al testo di partenza.

La lettura contrastiva dei testi tradotti evidenzia numerosi passaggi che differiscono in modo significativo dall'originale. Riporto qualche esempio, relativo alla restituzione di certi *realia*: si consideri il passaggio in cui Chlebnikov menziona alcuni *jarkie ščegol'skie lubki* (Chlebnikov 1930: 139), 'addomesticato' al contesto francese con l'espressione *les luxueuses images d'Epinal* (1934b), che viene riprodotta quasi letteralmente in italiano ("i quadri sgargianti di Epinal", 45); il termine *usad'ba*, in francese tradotto con *château*, che in italiano diventa prima 'maniero' (46) e poi 'castello' (49); la scena surreale in cui il protagonista si lascia andare a una danza tipica, *neožidannym krepkim gopakom* (Chlebnikov 1930: 146), che Goriély trasforma in un più familiare "une gigue surprenante", è riprodotta di conseguenza in italiano con "una giga indiadolata" (54). Il debito di Marussi verso il testo francese si fa più esplicito in alcuni passaggi, come nella resa di *'polosa'* [striscia] in 'strale', possibile grazie alla mediazione del francese *trait*:

¹³ *Malinovaja šaška* è stato pubblicato per la prima volta nel 1930, sulla rivista "Zvezda", a cura di N. Stepanov (cfr. Chlebnikov 1930: 138-148), che lo ha ripubblicato lo stesso anno nel quarto volume dell'edizione critica SP (IV: 122-139). Ad esclusione di alcuni elementi particolari, le due varianti sono pressoché identiche. Ritengo che Goriély si sia basato su Chlebnikov 1930 per un particolare discusso in seguito; si veda qui, nota 15.

Chlebnikov (1930: 142)	Goriély (Chlebnikov 1934b)	Marussi (Chlebnikov 1943: 50)
Серебряная шашка лежала с ним рядом на столе; [...] Серебряная полоса, кто был твой первый господин, и как он умер?	Le sabre d'argent se trouvait sur la table, à la côté de lui. [...] Trait d'argent, qui fut ton premier maître et comment mourut-il?	La sciabola dall'elsa d'argento era posta sulla tavola vicino a lui. [...] Strale d'argento, chi fu il tuo primo padrone e quale la sua fine?

E ancora, la trasformazione radicale di un brano in cui Chlebnikov allude all'uso che il protagonista fa della cocaina. Già presente nella versione francese, viene di conseguenza riprodotto in italiano:

Chlebnikov (1930: 143)	Goriély (Chlebnikov 1934b)	Marussi (Chlebnikov 1943: 50)
Вот поеду на Карпаты – там галичане, забуду в чистом воздухе гадкий порошок кацапов, ой и дурной же, в Москве все извозчики, клюя носом по вечерам, закладывают им ноздри и одобряют и возносятся на небо, забыв про овес и конный двор.	Puis, j'irai dans le Karpathes. Là, ce sont des Galiciens. J'oublierais, à l'air pur, l'écœurante odeur des moscoutaires. Ah! qu'elle pue! A Moscou, tous les cochers, piquant du nez du nez au soir, en ont le nez bouché et ils la trouvent bonne. Ils en montent au ciel en oubliant l'avoine et l'écurie.	Poi andrò sui Carpazi. Là abitano i galiziani. In quell'aria pura dimenticherò il lezzo dei moscoviti. Se c'è del puzzo! A Mosca, i cocchieri, la sera, sfregandosi il naso, lo trovano ottimo. Salgono al cielo dimenticando l'avena e la frusta.

Nella sua traduzione, Marussi non si limita a riprodurre più o meno fedelmente le scelte di Goriély¹⁴, ma sembra talvolta prendersi ulteriori libertà, preoccupandosi di 'aggiungere' dettagli, o comunque alterare elementi del testo originale: i cocchieri non si dimenticano della stalla, ma della frusta; e non è più la sciabola a essere argentata, ma la sua elsa.

In questa stessa prospettiva si può considerare il passaggio in cui Chlebnikov descrive la veste del protagonista, ricavata da un mantello maschile tipico del Caucaso, *burka* ("В свитке, перешитой из бурки [...]"; Chlebnikov 1930: 147), che, trasmesso in francese con una minima alterazione ("Vêtu de sa blouse taillée dans une capote, [...]"), in italiano è del tutto differente: "Con la sua blusa attillata [...]" (57). O ancora, i 'vecchi credenti' (*starroobryadcy*, Chlebnikov 1930: 143), in francese "les vieux croyants", è reso con "i credenti" (51); il 'tabacco inglese' (*anglijskij tabak*) fumato dal protagonista (Chlebnikov 1930: 148) e conservato nella traduzione francese, diventa "puzzolente tabacco nero" (57); l'abitudine di sniffare cocaina ("нюхал по ночам в чайной кокаин", Chlebnikov 1930: 147), pur mantenuta nella versione di Goriély, è trasformata in "aspirava eccitanti" (57). Se queste due particolari modifiche possono trovare possibile giustificazione considerando la censu-

¹⁴ Alcuni decenni più tardi Benjamin Goriély (1898-1986) curò un'antologia di Chlebnikov (Goriély 1960), in cui la traduzione de *La sabre enchanteur* (*ibidem*: 141-165) è effettivamente completa del passaggio iniziale, assente nella versione del 1934. Goriély corresse anche alcune delle sue scelte traduttive per ottenere una maggior conformità all'originale.

ra, risulta più complesso ricostruire il motivo per cui la cattedrale moscovita del Salvatore diventa ‘chiesa della Salute’¹⁵:

Chlebnikov (1930: 148)	Goriély (Chlebnikov 1934b)	Marussi (Chlebnikov 1943: 57)
Известно, что он трижды обещал 30 ... с тучами каменных духов храм Спасителя [...]	Chacun sait que c'est lui qui fit le triple tour, trois fois trente, de l'église du Sauveur, avec le nuage des esprits des pierres [...]	Tutti sanno che egli fa tre volte il giro (tre volte trentatre) della chiesa della Salute, seguito dalla nuvola degli spiriti di pietra [...]

Una spiegazione potrebbe essere, ancora una volta, l'addomesticamento. Sia la cattedrale del Salvatore che la chiesa della Salute a Venezia rappresentano, infatti, un *ex voto*.

4. Conclusione

Le due traduzioni qui esaminate costituiscono un caso particolare nella storia della ricezione di Chlebnikov in Italia. *Il cacciatore Ussa-gali* (1934), tradotto da Emma Sola, è un risultato interessante: nonostante la limitata padronanza del russo da parte di Sola, questa traduzione restituisce fedelmente al lettore italiano le particolarità della prosa di Chlebnikov. La seconda traduzione, *La sciabola magica* (1943), si distanzia notevolmente dall'originale russo. Il traduttore, G. Marussi, sostanzialmente ‘riproduce’ quasi alla lettera la traduzione francese del racconto chlebnikoviano. Malgrado non abbiano resistito alla prova del tempo, questi lavori permettono di gettare nuova luce sulla ricezione di Chlebnikov, ponendo particolare enfasi sulla figura di un autore ‘completo’, capace di accompagnare lo sperimentalismo più radicale a testi dalle tematiche di ampio respiro e scritti in una prosa ‘comprensibile’, aspetto su cui già Tynjanov (1928: 220) aveva richiamato l'attenzione.

Al di là dei loro pregi e difetti, queste due traduzioni documentano la presenza, in Italia, della prosa di Chlebnikov, prima che Ripellino ne plasmasse il ritratto di poeta. Un ritratto ‘esclusivo’ che, dal 1968 in poi, ha condizionato “la ricezione in Italia e [...] al contrario di quanto è accaduto in ambito francese o anglosassone, non ha purtroppo favorito altre traduzioni della vasta eredità letteraria chlebnikoviana” (Imposti 2024: 57). Il teatro, la prosa, i lavori di saggistica critica e teorica, che sono centrali nell'opera chlebnikoviana, spesso dimenticati o considerati in maniera parziale, meriterebbero oggi una rivalutazione, sia presso il grande pubblico¹⁶, sia da parte della cerchia più ristretta degli specialisti.

¹⁵ Questo passaggio è determinante per riconoscere il testo che tradusse Goriély: nelle traduzioni compare l'inciso “trois fois trente” e “tre volte trentatre”, verosimilmente rispondente all'oscuro passaggio del testo originale in cui compare il numero ‘30’. Quest'ultimo, presente nella versione pubblicata su “Zvezda”, è stato poi rimosso in SP (IV: 139). Nelle successive pubblicazioni del testo al suo posto figura il termine *zoločenyj* (Т: 565; SS, V: 219). Ciò consente di supporre che Stepanov fraintese 30[лочный] come numero trenta.

¹⁶ Uno sguardo alla panoramica delle traduzioni italiane riportate nella “Nota bio-bibliografica e redazionale” (cfr. Chlebnikov 2024, I: LII-LV) può essere utile per dare un'idea della disparità

Abbreviazioni

- SP V. Chlebnikov, *Sobranie proizvedenij*, I-V, red. Ju. Tynjanov, N. Stepanov, Leningrad 1928-1933.
- SS V. Chlebnikov, *Sobranie sočinenij*, I-VI, red. R.V. Duganov, E.R. Arenzon, Moskva 2000-2006.
- T V. Chlebnikov, *Tvorenija*, red. A.E. Parnis, V.P. Grigor'ev, M.A. Poljakov, Moskva 1986.

Bibliografia

- Baur 1998: J. Baur, *Die russische Kolonie in München 1900-1945. Deutsch-russische Beziehungen im 20. Jahrhundert*, Wiesbaden 1998.
- Chlebnikov 1930: V. Chlebnikov, *Malinovaja šaska*, "Zvezda", IV, 1930, 2, pp. 138-148.
- Chlebnikov 1934a: V. Chlebnikov, *Il cacciatore Ussa-Gali*, "Circoli. Rivista di Poesia", III, 1934, pp. 55-58.
- Chlebnikov 1934b: V. Chlebnikov, *La sabre enchanteur*, "Les nouvelles littéraires", prima puntata pubblicata il 10 novembre 1934, <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6452204h/f1.item.r=khlebnikov>>; seconda puntata pubblicata il 17 novembre 1934. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6452205x/f3.item.r=khlebnikov> (ultimo accesso 30.06.2024).
- Chlebnikov 1943: V. Chlebnikov, *La sciabola magica*, "Lettere d'oggi", 1943, 5-6, pp. 45-57.
- Chlebnikov 1989: V. Chlebnikov, *Poesie*, saggio, antologia e commento a cura di A.M. Ripellino, Torino 1989 (1968¹).
- Chlebnikov 2024: V. Chlebnikov, *Poesie*, trad., saggio e commento di A.M. Ripellino, nuova ed. a cura di A. Niero e R. Mini, I-II, Torino 2024.
- Cronia 1958: A. Cronia, *La conoscenza del mondo slavo in Italia. Bilancio storico-bibliografico di un millennio*, Padova 1958.
- Imposti 2024: G.E. Imposti, *Velimir Chlebnikov: un mito sempre vivo*, in: *Le avanguardie storiche: decostruzione e nuovi miti. Atti della giornata internazionale di studi, Università di Bari A. Moro, 18 novembre 2022, 2024* (in corso di stampa), pp. 43-57.

di ricezione e di interpretazione a cui è stata soggetta l'opera chlebnikoviana. Considerando le pubblicazioni degli ultimi trent'anni, le opere di Chlebnikov in prosa (narrativa) cui il lettore italiano può accedere, escludendo le traduzioni frammentarie o parziali, sono tre: due versioni di *Ka* (1997; 2022), due racconti brevi sulla rivoluzione e sulla guerra civile (2020).

- Goriély 1960: B. Goriély, *Ka, Kblebnikov, notre Maître à tous. Textes choisis, traduits du russe et présentés par Benjamin Goriély*, Lyon 1960.
- Majakovskij 1959: V.V. Majakovskij, *Polnoe sobranie sočinenii v trinadcati tomach*, XII (*Stat'i, zametki i vystuplenija, Nojabr' 1917-1930*), Moskva 1959.
- Mangini 2000: G. Mangini, *Lavinia Mazzucchetti, Emma Sola, Irene Riboni. Note sulla formazione culturale di tre traduttrici italiane*, in: L. Finocchi, A. Gigli Marchetti (a cura di), *Editori e lettori. La produzione libraria in Italia nella prima metà del Novecento*, Milano, 2000, pp. 185-225.
- Niero 2021: A. Niero, *Due 'idee' di Chlebnikov: note su alcune traduzioni di Angelo Maria Ripellino e Paolo Nori*, "Europa Orientalis", XL, 2021, pp. 481-506.
- Poggioli 1930: R. Poggioli, *Vladimiro Majakovskij*, "Solaria", v, 1930, 7-8, pp. 55-58.
- Poggioli 1931: R. Poggioli, [Recensione di] *Vladimir Pozner: Panorama de la Littérature Russe Contemporaine, Paris, Kra, 1930*, "Rivista di letterature slave", VI, 1931, 6, pp. 451-460.
- Poggioli? 1934: R. Poggioli? [s.a.], *Notizie. Letteratura russa*, "PAN. Rassegna di lettere, arte e musica", II, 1934, 2, p. 479, <http://periodici.librari.beniculturali.it/visualizzatore.aspx?anno=1934&cid_immagine=15380483&cid_periodico=15382&cid_testata=95> (ultimo accesso 30.06.2024).
- Ripellino 1949: A.M. Ripellino, *Chlebnikov e il futurismo russo*, "Convivium", v, 1949, pp. 665-683.
- Settimelli 1917: E. Settimelli, *Prodigiosa profezia di un futurista russo sull'esito della guerra*, "L'Italia futurista", 11 marzo 1917. <https://dlc.mpg.de/resolver?identifier=70046&field=MD2_PI_DLCLALT> (ultimo accesso 30.06.2024).
- Tynjanov 1928: Ju.N. Tynjanov, *O Chlebnikove* [1928], in: *Mir Velimira Chlebnikova. Stat'i issledovanija 1911-1998*, Moskva 2000, pp. 214-223.
- Vicentini 2022: L. Vicentini, *Attraverso l'Europa tra cultura e antifascismo: note biografiche su Emma Sola (1894-1971)*, "Archivio Trentino", 2022, 1, pp. 101-160.
- Vitale 1979: S. Vitale (a cura di), *Per conoscere l'avanguardia russa*, Milano 1979.
- Zanetti 1914: A. Zanetti, *Futurismo italiano e futurismo russo*, "Il giornale d'Italia", 5 marzo 1914. <<http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/vissore/#/main/viewer?idMetadato=22282085&type=bncr>> (ultimo accesso 30.06.2024).

Abstract

Luca Cortesi

Velimir Chlebnikov in Italy, before Ripellino

The purpose of this contribution is to present and discuss two Italian translations of two different prose works by Velimir Chlebnikov, published in 1934 and 1943 respectively, in a period prior to Ripellino's translation, which is generally considered the starting point of the diffusion of Chlebnikov's output in Italy. The brief analysis of these two translated texts aims to contribute to the reconstruction of the history of the reception of Chlebnikov's works in Italy.

Keywords

Velimir Chlebnikov; Angelo Maria Ripellino; Translation; Prose.

Jakub Kapičiak

Shaping Speechlessness after February 24, 2022 in the Magazine ROAR*

1. Introduction

In the past few years, Russia has transformed its culture and language into a matter of national security (Østbø 2020). Thus, it is not surprising that the declared protection of the 'Russian world' appeared as a key argument in Russia's official justification of the full-scale invasion of Ukraine.

Since Russia launched the war, there has been a massive public shift from Russian to Ukrainian language among the inhabitants of Ukraine (Kulyk 2024). However, many Russians may feel alienated from their mother tongue and cultural identity as well (Davydenko, Henry 2024). This may apply to Russians living abroad and those who do not agree with the war or the current development of Russian politics. Another reason for alienation may be the existing and newly adopted Russian laws that silence public debates and protests. However, different opposition groups have searched for new ways to protest and avoid state censorship (Aizman 2024; Baranova 2024; Khrebtan-Hörhager *et al.* 2024).

Shortly after the invasion, a new online journal emerged. This journal is called "Resistance and Oppositional Art Review" ("ROAR"). As its title suggests, the journal serves as a platform for oppositional art and literature. Moreover, "ROAR" has become a platform for creative (non-) professionals to share their experiences and thoughts following the invasion.

This study analyzes essays published in "ROAR", focusing on the speechlessness motif after the outbreak of the full-scale war. This study aimed to identify the range of emotions related to speechlessness. The key emotions intertwined with an expressed inability to speak are shame and fear. Further, these emotions are political, as contributors to "ROAR" use them to emphasize their oppositional attitudes toward the Russian State. Moreover, by doing so, they prepare the soil for like-minded people who can join them. Consequently, they all participate in the life of the virtual emotional community.

2. "ROAR" – Oppositional, but not Necessarily Russian-Language Magazine

As aforementioned, the journal was founded almost immediately after Russia invaded Ukraine on February 24, 2022. The first issue appeared precisely two months after the

* The article is published with the support of the Strategy AV21: Research programme Identities in the World of Wars and Crises.

invasion, on April 24, 2022. The initial meaning of the acronym “ROAR” emerged from the English title “Russian Oppositional Arts Review” (“Vestnik oppozicionnoj russko-jazyčnoj kul’tury”).

The title clearly defines the scope and aims of the journal, as the editor-in-chief, the famous and respected writer Linor Goralik, mentions in her first editorial. Goralik states that the “works collected in this first issue of “ROAR” speak for themselves so distinctly that I wouldn’t want to distract readers, viewers, and listeners from them even for several extra minutes” (Goralik 2022). It is evident to her that the word “oppositional” means disagreement with the war and the current Russian political regime. However, in the closing paragraph of the editorial, Goralik expresses her expectation that the need for the journal is only temporary, until the war as well as the regime that launched it, cease to exist:

And the last thing. Even now, we’re looking forward to the moment when “ROAR” is closed forever, that is, the moment when there is no more need to label a certain segment of the Russian-language culture as opposing the criminal Russian regime, solely by reason of the fact that this regime ceases to be. However, before it happens, we’ll be doing what we can to ensure that “ROAR”, at present made only through volunteer effort, continues to come out (*ibidem*).

Since the sixth issue, that was published on March 1, 2023, the meaning of the acronym officially changed into “Resistance and Opposition Arts Review” (“Vestnik antivojennoj i oppozicionnoj kul’tury”). Goralik explains the change in the acronym’s reading as the need to make the journal accessible, not simply to Russians or Russian-language authors. She admits that the decision to change the meaning was due to the Ukrainian poet Vlad Petrenko, whose poem was published in the issue in both Ukrainian and Russian (in the poet’s own translation at Goralik’s request). Goralik underlines that Petrenko “said that he sees it as a possibility for a dialogue of cultures during a war, and first steps towards peace, because he thinks steps like these are necessary and important” (Goralik 2023).

Every issue of “ROAR” comprises several sections dedicated to poetry, prose, drama, essays, visual arts, and music. As the journal is an online platform, it may provide access to various media products. As Goralik’s quote suggests, the journal attempts to establish an intercultural dialogue. Therefore, these issues have been published in several languages. The texts are available not only in Russian but also in English, French, Italian, Polish, and Japanese.

Initially, many contributors published their texts anonymously. New Russian repressive laws attempting to exclude anti-war voices from the public debate were the most probable reasons. Anonymous publication of the contributions ensured more protection for their authors, who may have been in Russia or relocated temporarily and were uncertain about their future and afraid of subsequent repression. Many contributors shared their experiences of their recent relocation¹. Therefore, it is possible to consider the journal within the context of Russian diaspora culture.

¹ For an overview of the Russian emigration after the war see Rapoport 2024.

Shortly after the invasion, another journal of contemporary Russian culture emerged. It was established in the Netherlands under the title “The 5th Wave” and the subtitle “Independent Russian Writing”. The magazine’s editor-in-chief is Maxim Osipov, a writer. The introductory text published on the journal’s website emphasizes that the magazine publishes texts by “literary authors from Russia and abroad who are united in their rejection of war and totalitarianism”². Similar to “ROAR”, “The 5th Wave” also underlines its political position. Moreover, the title “The 5th Wave” may be considered as an attempt to relate the journal to the legacy of Russian emigration of the 20th century³.

Nevertheless, one should also consider that Russian émigré journals are not always anti-totalitarian or anti-imperialist, but may even tend toward nationalism, for example, “Russkaja mysl’” with its roots in the 19th century. The first issue, published one month after the outbreak of the full-scale war, was dedicated to celebrating World Poetry Day. However, it informed its readers about Russia’s recognition of the Doneck and Luhansk People’s Republic on February 21, 2022. The author of the article promised to provide an analysis of the upcoming events in the following issues (Perevalov 2022). There was no word about the ongoing war.

Returning to the journal “ROAR”, I would like to briefly comment on contributors who may be labeled as creative (non-)professionals. Their range of professions and career stages vary significantly. On the one hand, there are contributions by well-established writers, poets, artists, and scholars such as Polina Barskova, Boris Chersonskij, Julija Jakovleva, Vitalij Komar, Il’ja Kukuljin, Oleg Lekmanov, Lev Rubinštejn (recently, tragically deceased), Michail Suchotin, and many others. On the other hand, some contributions were written by students (even teenagers) or writers, for whom texts in “ROAR” may have been their first publishing experience.

My analysis is limited to the texts published in the sections *Essays* and *Voices*. The latter section appeared in the first and fifth issues. The texts of the section are characterized as ‘micro-essays’. The ‘micro-essays’ are meant to give ‘voice’ to anyone who is willing to share their thoughts, impressions, and experiences with the war, and related topics. These texts are usually shorter and less structured than ‘standard’ essays. I decided to analyze essays because they allow their authors to communicate their feelings and attitudes more overtly and, therefore, approach the topic more personally and autobiographically (cfr. Westerwelle 2019).

3. *Theoretical Background*

The overt communication of feelings and attitudes mentioned in the previous paragraph is related to sincerity. Recently, the academic debate on sincerity has undergone a change. The debate shifted from defining sincerity to assessing how it is performed or what characterizes the rhetoric of sincerity (van Alphen, Bal 2009: 3). However, reviewing older

² <<https://fifthwavemagazine.com/>> (last access: 12.07.2024).

³ For some insights into the issue of Russian emigration waves see Posochin 2021.

research attempts, one should notice that this has never been about finding a proper definition of sincerity. Scholars have always been more interested in the rhetorical tools that enact the effect of sincere utterances, or the effect of “a congruence between avowal and actual feeling” (Trilling 1972: 2). It was probably the literary criticism of Romanticism that turned sincerity into a virtue and became the chief criterion for discussing literature (Peyre 1963: 132). However, ancient culture regarded sincerity “as a function of style” and not “as a function of personality” (Allen 1950: 146). Thus, it appears reasonable to regard sincerity as a matter of rhetoric or as a specific speech act. Such an approach may allow scholars to avoid questioning whether the authors really feel or experience what they describe.

A similar approach applies to feelings. Reddy, a historian of emotion, developed the concept of emotives. Reddy’s concept is based on Austin’s notion of performative and constative. Reddy defines emotives as “instruments for directly changing, building, hiding, intensifying emotions” (Reddy 2001: 105). This implies that emotives are not simply words used to describe people’s feelings. They may have a bodily impact and influence how others feel or perceive us. Therefore, Reddy excludes the criteria of truthfulness and sincerity from his theory, although they were crucial for Austin’s original conception of speech acts, “Because of the powerful and unpredictable effects of emotional utterances on the speaker, sincerity should not be considered the natural, best, or most obvious state toward which individuals strive” (*ibidem*: 108).

In this regard, Rosenwein and Cristiani (2018: 35-36) comment on Reddy’s emotives, “For Reddy, every emotive is both sincere and insincere. It is sincere because it accords with one goal. But since people have more than one goal, the same emotive is insincere in connection with the conflicting goal”. Rosenwein and Cristiani not only problematize the category of sincerity but also highlight the pragmatic and non-linguistic dimensions of emotives. These aspects are what Reddy’s conception shares with other approaches embedded in performativity theory. For example, according to the German historian of emotion Gerd Althoff (2019), emotional display is often a political announcement, particularly in the context of medieval governance and power games that he is an expert on. Discussing Althoff’s research, Rosenwein and Cristiani underline his idea that “even if the sources exaggerated”, the narratives they conveyed “had to have verisimilitude even when they did not report the ‘absolute truth’” (Rosenwein, Cristiani 2018: 47). The emphasis on pragmatics allows both Reddy and Althoff to analyze emotional display without insisting on verifying the sincerity and truthfulness of the utterances.

Drawing on the outlined theoretical framework, this study does not attempt to examine the ‘genuine’ feelings underlying the text. This study focuses on representations of emotions in language⁴. This approach allows us to search for the intertwining between expressed emotions and political attitudes as a shift to discourse analysis. Rutten (2017) proceeded similarly in her book on the concept of sincerity in the late Soviet and post-Soviet

⁴ There have already been attempts to examine emotions regarding the Russian aggression (Jones 2024; Dean, Porter 2024).

Russian society. She examined the role of this concept in three discursive threads: memory, commodification, and digital media.

4. *Methodology*

The previous section suggested that emotion history research may be closely linked to discourse analysis (cfr. Bujačková 2023: 8-16). A prominent historian of emotion, Rosenwein, proposed a general methodological model for analysis. Rosenwein's model is based on the notion of emotional communities, which she defines as "groups in which people adhere to the same norms of emotional expression and value – or devalue – the same or related emotions" (Rosenwein 2006: 2). Such an approach is applicable not only to the past, but also to the present.

Studying texts produced and perceived by members of a certain community enables to better understand their norms of emotional expression and values, and therefore, better understand them as an emotional community. Rosenwein (2010) emphasizes the need to examine texts written by more than one author to identify discursive regularities in their reflection of feelings. Moreover, it is important to consider the specific meanings of emotional terms. The same or similar terms may have different notions at different times as well as in different cultural contexts or emotional communities. Rosenwein not only advises to consider the importance and frequency of certain words, but also suggests to "read the silence". She proposes asking whether texts that appear unemotional at first glance do not use other means to convey emotional messages. The last and most crucial principle proposed by Rosenwein considers the social role of expressed emotions.

Thoughtful insights into the methodology of studying emotional expressions in language may be found in a study on the role of emotions in international relations. Koschut proposes a model similar to Rosenwein's (Bujačková 2023:15-16). Koschut suggests dividing the analysis into three steps. In the first step, scholars analyze wider sample of texts and aim at emotional intertextuality, defined as "the way emotional expressions are quoted, appropriated, or criticized within and against other texts" (Koschut 2018: 282), which is important, because "emotions rarely reside in a single text or are unique in their way of expression" (*ibidem*). In the second step, the focus is not only on the emotions expressed overtly, but also those that are "tacitly implied" (*ibidem*: 281) through metaphors, comparisons, or analogies. In the last step, scholars relate the text to the social context, which means connecting the emotions identified with the moral values important to the social group. Koschut emphasizes that values are often expressed in ritualized forms using certain symbols, images, or speech acts.

In accordance with Rosenwein and Koschut's principles, I will discuss a wider sample of texts. I will not limit my inquiry to a couple of representative articles. My analysis focuses on emotional expressions of speechlessness. I will read texts that overly reflect upon the inability to speak using expressions such as "I don't know what to say" (Papernyj 2022) or "I do not yet have the words" (Anonymous 2022a). This is where I draw on Reddy's con-

cept of emotives, which in the words of Rosenwein and Cristiani “call up a whole panoply of feelings” (Rosenwein, Cristiani 2018: 35). This implies that emotional expressions may intertwine with other emotional expressions. However, I do not wish to claim that this feeling of speechlessness triggers a chain of feelings. Speechlessness may appear as a result of other expressed feelings, thereby acquiring a wider variety of meanings.

Nevertheless, it is possible to discuss the particular cause that triggers all types of emotions and emotional expressions. In general, the key reference point of all analyzed essays is the war Russia launched in Ukraine. Following Laclau and Mouffe, we can call war the main nodal point in the discourse of the analyzed texts. Nodal points “partially fix meaning; and the partial character of this fixation proceeds from the openness of the social” (Laclau, Mouffe 2001: 114). Certain phrases acquire specific meanings owing to their relationship with the social sphere, which tends to change. Therefore, the role of nodal points is to organize the elements of the discourse, and they are particularly responsible for the semantics of these elements (Schneiderová 2015: 70-71).

5. *Lost Speech and Meaningless Words*

Although authors of the essays published in “ROAR” write about feelings of speechlessness, they do not remain quiet. This suggests a strong connection between the expressed inability to speak and the need to deal with it. The mere mention of muteness may be perceived as the first step in the path to finding a voice. Therefore, it is necessary to consider the different meanings of articulated speechlessness.

Authors use various explicit formulations to discuss lost voices. Nevertheless, expressions such as “all words have evaporated” (A.S. 2022), “robbed of the voice” (Kordon 2022), “[n]obody knew what to say” (Iossel 2022), “[a]nd then comes muteness” (Anonymous 2022b), or the “collapse of the fundamental functions of language as a means of organization and communication” (Fokin 2022) do not reveal much on their own. Generally, they refer to a state of shock. Shock is the result of witnessing war events or being aware of the ongoing war in Ukraine. Shortly before the invasion, many people did not believe this was possible. Literary theorists Kukulín and Majofis discuss this question in their essay published in the first issue of “ROAR”: “For people we know in Russia, the most common reaction to the war and this persistent violence is shock. You find no words to say; you see no source of strength to build up your inner resistance from” (Maiofis, Kukulín 2022). Such an understanding of speechlessness corresponds with definitions from dictionaries. For example, the *Cambridge Dictionary* states that speechlessness is “the feeling of being unable to speak because you are so angry, shocked, surprised, etc.”⁵ This suggests a direct link between the state of not being able to speak and strong emotions.

⁵ <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/speechlessness>> (last access: 12.07.2024).

Similarly, Majofis and Kukulin discuss the state of shock and speechlessness in connection with different feelings. They attempt to draw an analogy with Teodor Šanin⁶ and the shock and rage that he experienced in Poland after WWII, where many people “were pretending nothing had happened, as if there had been no Shoah” (Majofis, Kukulin 2022). Simultaneously, Majofis and Kukulin underline that they are experiencing the “world catastrophe” right now and it is, therefore, not easy to turn such rage into meaningful action, as was Šanin’s case. They state that small everyday actions such as doing the dishes or calling a friend only veil “the dark core of your inner life that you have no clue how to deal with, and neither words nor rage to sum it up” (*ibidem*). Insights into these attitudes can be found in another essay. An anonymous author states, “no matter what you say, words do not seem to have bodily presence now, they do not make any sense. one cannot verbalize an experience which is beyond words. [B]ecause war is beyond what makes a word” (Anonymous, 2022c).

This quote indicates that speechlessness emerges because it is not possible to properly grasp war in language. Therefore, these words appear meaningless. They do not really matter and are not proper means for solving the situation. We may encounter many similar fragments that reflect the lost meanings of words. For example, contributors state that “all of our words have lost their meaning” (Anonymous 2022d), “syntax is supposed to serve thought, to reflect some kind of coherence, and there is none of that, and nothing is known” (Manotskov 2022), or that “only language cosplay is observed and there is no sense left” (Safronov 2022).

The latter quote touches not only on the question of meaning, but also on state propaganda. Probably the most evident “language cosplay” in the Russian public discourse is calling the war not “war” but a “special military operation” (*special’naja vojennaja operacija*)⁷. This has been explicitly mentioned by many contributors. For example, Aleksandr Gavrilov criticizes censorship in his micro-essay from the first issue of “ROAR”:

Now the word ‘war’ has boiled over. We don’t want war, people cry, we just support our country. This is not a war. We want to kill children and women, we agree to blood and trophies, we will walk around in the clothes of the dead, we just don’t want war, don’t you dare say ‘war’. Don’t you dare speak words and name things (Gavrilov 2022).

Gavrilov insists on the meaning of words:

I stay by the language, by my Russian language, and I shall not surrender it to anyone. ‘A raven’ does not mean ‘a writing desk’. ‘Christianity’ does not mean ‘cannibalism’. ‘Murder’ does not mean ‘accident’. ‘Mercy’ does not mean ‘callousness’. The words of my language have meanings. As long as I remember them, I can stand (*ibidem*).

⁶ Teodor Šanin (1930–2020) was a social scientist, whose fate was highly affected by the turbulent events of the 20th century. In 1995 he founded The Moscow School of Social and Economic Sciences, which is also called after its founder Šaninka. For more details see Archangel’skij 2020.

⁷ For a broader context of Russian State silencing see Przybyła 2024.

Moreover, the author claims that although many may perceive Russian language as “shameful stigma”, for him it represents “hope” (*ibidem*). For Gavrilov, the “disagreement with Putinism has always been about words and the meaning of them” (*ibidem*). Apart from touching on the issue of overcoming the widespread feeling of speechlessness, Gavrilov also mimics the rhetoric of war or Putin supporters to demonstrate its absurdity. It is precisely in the part where he states “We want to kill children and women” and adds the threat “don’t you dare say ‘war’” that he points at the rupture between language and the actual world. He demonstrated the absurd consequences of believing in state propaganda. Poet Chersonskij states in his essay that Russian propaganda (primarily TV) “literally hypnotizes” its audience (Khersonsky 2022).

6. *The Consequences of State Propaganda and the Silence among the Close Ones*

It is clear that the initial shock from the full-scale war outbreak led to a loss of voice, to a loss of sense in communication. The motif of lost meanings also appears in texts dealing with propaganda. Chersonskij addresses the impact of propaganda on consumers. Therefore, this opens up another important topic that is frequently reflected in essays. This is the relationship between war or propaganda supporters and anti-war communities. This topic was discussed in the essays in a personal manner. The authors often share stories about their family or close friends who believe that the official Russian narratives legitimized the war. Here, the speechlessness motif emerges again.

The authors express concerns regarding disrupted and close relationships. Sometimes, they oversimplify the situation to clarify what they struggle with. For example, they state “My father is for the war” (Panyushkin 2022) or “My grandma is a fascist” (Žiron 2023). In these cases, the authors identify the chief sources of disagreement. This is their attitude toward war. They described problems with mutual communication and highlighted their qualitative and quantitative reductions.

Since then, we just call each other and talk exclusively about whether he has taken his medications (Panyushkin 2022).

We keep silent as we are tidying her grave. All you can hear is rustling of leaves, gurgling of the water that we pour from the bottle to rub the dirt off, and our quiet words addressed to mother (Lepikhov 2022).

I just suffer through and say nothing (Pavlova 2023).

The authors link the disrupted relationships with different feelings, for example, with “personal grief” (Panyushkin 2022) or with “terrifying irrational shame”⁸ (Žiron 2023). They miss human contact, which Sergej Lepikhov conceptualizes through the metaphor of a ghost who is invisible to others and cannot touch them. The author expresses both a longing for human contact and painful alienation from family members:

⁸ “чудовищный иррациональный стыд”.

A ghost of mournful phrases with a shroud made of dreary posts, news pings and notifications that make me jump. I try to touch somebody; I try to tell them something, but my words, my hands go through them. I cannot fix it. I cannot put together everything that I had broken with my words. All I can do is to try again and again to touch my father, to touch somebody else, to attempt to move things around our empty flat. I can try again and again (Lepikhov 2022).

In such cases, unpleasant feelings induced by alienation are intensified by the positive image of family members and friends in the authors' memory. Although the authors may explicitly call them "fascists" or "war supporters", they attempt to avoid depicting them as evil. For example, they emphasize how good or loving they are, "[H]e loved my mother tenderly and touchingly took care of her" (Panyushkin 2022).

However, a reader may encounter similar attempts to see the 'Other' more positively also in texts that do not focus on the close relationships. For example, Oleg Lekmanov asked:

Should I try to talk to people from 'the other side', – the war supporters of 'the Z's'? Or is that useless? How do I treat the good Russian people (and I know from many years of living among them that they are indeed *good*) who say, 'That is no concern of ours' (Lekmanov 2022a).

He thinks from a more general perspective than the authors of the previous quotes. Nevertheless, he operates with a similar figure of the 'good Other' that he knew in the past. Lekmanov overtly raises the question about 'us' and 'them'. This question structures the thoughts in all these cases.

Another structuring idea mentioned in these essays (but more implicitly) is the perception of war as a rupture that divides life into 'before' and 'after' periods. This feature of the analyzed discourse was indicated while mentioning the war as the nodal point that partially fixes the meaning of certain elements. In this regard, war, conceptualized as a rupture, determines the perception of life before and after an invasion. This is illustrated by the following examples.

The war has ended our childhood. The war has chased us out of libraries, thrown us on the cold Peterburgh pavement, aimed all the cameras on us, put bayonets to the back of our heads, made us breath according to the new rules⁹ (Iugov 2023a).

As aforementioned, articulation of the inability to speak is a step toward overcoming it. Similarly, the rupture caused by the war is viewed as something that must be bridged. This is particularly true for family relationships. There appears the urge "to reach through those thick unbreakable walls" (Pavlova 2023). As authors desire to re-establish lost intima-

⁹ "Война поставила жирную точку в нашем детстве. Война вытасила нас из библиотек, бросила на холодную брусчатку Петербурга, направила на нас все камеры слежения, поставила к затылку штыки, заставила дышать согласно установленным правилам".

cy in relationships with loved ones, they tend to search for mistakes. They then turn toward self-criticism. They often consider self-illusion to be the most significant mistake.

In actual fact, I had always known that in the event of a catastrophe many would behave exactly the way they did. It was my own conscious choice to try and construct a perception of those around me that would allow me to still greet them, live in the same city with them, and share family meals with them (Sadovaya 2022).

Although the above quote maintains an intimate tone, some authors apply a self-critical perspective on the national level, “The whole blind nation suddenly started to see. How pathetic that it happened too late” (Arseny K. 2022).

7. *Repetition*

Evident from the discussion so far, the feeling of speechlessness may manifest itself in relation to a state of shock, lost meaning of words, or disrupted communication. Simultaneously, writing about the inability to speak is a step toward finding a voice. This suggests that speechlessness or muteness does not materialize through silence. When the motif of speechlessness appears in a journal, it is considered a discursive fact. Thus, speechlessness may fulfil different functions in the structure of a text. For example, it may convey a message about an author’s disagreement with state politics. Therefore, other elements with similar functions can be considered.

In this regard, the repetition of certain words or phrases works in this manner. Repetition also points to a reduction in the communicative function of language or may be a symptom of a lost ability to speak. This may be linked to a state of shock, as illustrated by the following fragment:

When my husband woke me up crying ‘It started’ from the bedroom doorway, and I found myself following him around the apartment and repeating like a windup doll, ‘it’s terrible, terrible, it can’t be, it’s madness’, my mind, still not fully awake, thought it was a scene from an old movie (Anonymous 2022e).

Focusing on a selected phrase evokes the tension that emerges from the awareness of not being able to say something meaningful, and the attempt to say at least something to overcome silence. The introductory sentences of an essay are symptomatic, where the author uses the repetition to demonstrate the inability to write: “Nowarnowarnowarnowarnowarnowar ... and so on, 1,500 characters of it” (Pavlova 2022).

Moreover, the motif of repetition appears in essays concerning problematic communication with family members and friends. The authors typically mention situations in which their close ones repeat certain phrases or narratives that are characteristic of state propaganda. Several authors approach this issue analytically. They tend to interpret these repetitions as similar to a state of shock. They consider it as a mechanism that helps people

deal with the situation, avoid admitting reality, and continue living their everyday lives. An author summarizes it as, “But my father was screaming on the edge of despair. People behave this way when they understand the reality but cannot accept it, because accepting it is worse than death” (Panyushkin 2022).

8. *Guilty, Ashamed, and Scared*

Although the contributors share their thoughts about the lost meaning of speech, experience with disrupted family relationships or simply, their perception of the ongoing situation, they often state that they cannot be compared with the horrible experience of the people in Ukraine. Consider the following quotes:

I’ve got nothing to say today, I’m afraid. For a writer, to speak about Ukraine these very days is to divert attention from the voice of Ukraine herself. Paradoxically, speaking of something else or about oneself means the same (Kuzmin 2022).

In the beginning, this is how I also felt; I remember this blind spot well – the black horror of what was going on rose like a wall, and against it, all of my worries, emotions, and thoughts became completely uninteresting even to myself (Yakovleva 2022).

It is hard and shameful. But all our pains are nothing in comparison to the pain and fear of those, who are spending the night in Kijev today¹⁰ (Anastasija 2022).

For sure, all that sound pathetic and stupid next to all the deaths, tragedies, destroyed lives of millions who, unlike me, are not guilty at all (V. Ch. 2022).

In all the quotes, the authors diminish the importance of their own utterances. Moreover, they may indicate that they feel responsible and guilty for the Ukrainian situation. For example, Oleg Lekmanov writes about “our cowardice, our way of taking care of our families (of ourselves, to be honest!)” that “culminates in bloodshed, in Ukrainian cities being destroyed” (Lekmanov 2022b). It is an expression of concern about his personal responsibility and guilt as a citizen of the state that invaded the neighboring country.

In his famous essay *The Question of German Guilt (Die Schuldfrage: Ein Beitrag zur deutschen Frage, 1946)*¹¹, Karl Jaspers offers a scheme that comprises four types of guilt: 1) criminal, 2) political, 3) moral, and 4) metaphysical. What is most relevant for the authors of the “ROAR” essays is political, moral and metaphysical guilt. Jaspers states that “[e]verybody is co-responsible for the way he is governed” (Jaspers 2000: 25), which makes them politically guilty. The nature of moral guilts resides in the idea that “every deed remains subject to mora judgement” (*ibidem*). The metaphysical guilt is rooted in the idea that “[t] here exists a solidarity among men as human beings that makes each co-responsible for ev-

¹⁰ Тяжело и обидно. Но все эти наши боли – ничто по сравнению с болью и страхом тех, кто сегодня ночует в Киеве.

¹¹ Olga Fatejeva explicitly mentions Jaspers in her essay published in “ROAR” (Fatejeva 2022).

ery wrong and every injustice in the world, especially for crimes committed in his presence or with his knowledge” (Jaspers 2000: 26). This is the perspective that implicitly and intuitively the authors from “ROAR” share. Jaspers’ conceptualization of the phenomenon is relevant for its emphasis on the link between feelings of guilt and responsibility. However, the issue of responsibility for the action of others or one’s own may be linked to feelings of shame, as many contributors to “ROAR” often do. Moreover, they do it in a manner similar to the previous quotes that underlined responsibility and guilt:

I felt ashamed for being born in Russia, for thinking and for speaking the Russian language. I felt ashamed that the government of *my* country attacked the country of my friends and relatives (Anonymous 2022f).

And I felt ashamed before Sladkov and Jablokov for having both legs, while they had none¹² (Doždeva 2023).

It feels shameful to get out and relax in our strange and unclear time. You must do something, respond to the situation¹³ (Žbankov 2023).

Guilt and shame, as well as the feelings of embarrassment, pride or hubris, are considered self-conscious emotions, because their elicitation “involves elaborate cognitive processes that have, at their heart, the notion of self” and that “it is the way we think or what we think about that becomes the elicitor” (Lewis 2004: 623). Thus, in this case what makes people feel guilty or ashamed is not the mere fact of Russian war aggression, but the way the authors perceive it¹⁴. This proves that self-conscious emotions are socially constructed because they are based on the subject’s self-evaluative capacity, which is based on the ability to recognize social rules (*ibidem*: 626). Sara Ahmed observes that shame may be based on a “double play of concealment and exposure” (Ahmed 2014: 104). Essays from “ROAR” are a suitable example of a double play. Typically, shame is associated with “disruption of ongoing behavior, confusion in thought, and an inability to speak” (Lewis 2004: 628) and it is “experienced before another” (Ahmed 2014: 103). Many of the examples provided in the study indicate that authors express their confusion and speechlessness in connection with certain social norms and values, and thus before other members of society. The double play rests in the public avowal of unpleasant feelings, particularly regarding the frequently mentioned speechlessness, interpreted as an exposure to their wish to conceal. Further, they spoke about their inability to speak. They deal with feelings of shame by admitting to being shameful and guilty.

¹² “И мне стыдно перед Сладковым и Яблоковым за то, что у меня две ноги, а у них нет”.

¹³ “Во время наше странное, незнакомое, взять и просто так отдохнуть – стыдно. Нужно же делать что-то, соответствовать происходящему”.

¹⁴ That also explains why some may feel proud of it, when we consider the work of state propaganda and its framing of the war as an act of patriotism as the ongoing fight against Nazism.

Moreover, the emotion of fear is explicitly mentioned in many essays. In some cases, the emotion of shame is articulated next to fear or anxiety; for example, Anonymous 2022f and Ardalionova 2022. Typically, anxiety is considered “pre-stimulus” and fear, “post-stimulus”, which implies that fear has a more easily identifiable object (Öhman 2004: 574). Sara Ahmed’s observations are productive again. She describes the relationship between fear and anxiety as follows: fear is “produced by an object’s approach”, while anxiety by “an approach to objects” (Ahmed 2014: 66). Ahmed’s notion is productive because of its shift toward the question of perception. It is not the object that elucidates the feeling of distress, but the perception of the object. Typical reactions to both anxiety and fear include escaping and avoiding, or other actions that help minimize the possibility of threat. For example, the anticipation of a possible injury leads to bodily shrinkage, which involves withdrawal from a potentially dangerous space (*ibidem*: 70). This may be the case with disrupted family ties, when the avoidance of certain topics during conversations or the reduction of communication to very basic questions about health can be seen as a strategy for dealing with the fear of confrontation that may cause emotional injury. However, there is a similar double play between exposure and concealment, which is characteristic of shame. The authors overtly and publicly discuss their anxieties (expose themselves) while indicating that they try to avoid unpleasant consequences.

I took off on the first of March and with every kilometer I felt that the horror was letting go, and just the hope remained that the Good would prevail soon (Russ 2022).

Our house is not a safe place anymore. Irrational fear and panic attack me with every single passing car. It’s so strange. I miss my house, parents, cat, but I understand my vulnerability and I don’t want to return. No one can find me in Sankt-Petersburgh [*sic*]. The state machine doesn’t have any information about where I am¹⁵ (Iugov 2023b).

9. Conclusion

The analysis revealed that the community of “ROAR” authors values the critique of different aspects of the Russian war in Ukraine and the Russian State. Critique is often aimed at particular features of Russian politics and society such as censorship, propaganda, and repression. However, the contributors approach the critique from a personal perspective; thus, emotional involvement is not surprising. This study focused on expressions of inability to speak that frequently appeared in essays, particularly during the first months of the invasion. This is related to the feeling of shock that may also lead to the impression of the lost meaning of words and the communicative function of language. This study indi-

¹⁵ Дом перестал быть безопасным местом. Иррациональный страх, паника охватывали меня при виде каждой проезжающей мимо машины. Так странно. Я очень скучаю по дому, по родителям, по коту, но, понимая свою уязвимость, не хочу возвращаться. В Санкт-Петербурге никто меня не найдет. У государственной машины нет никакой информации о моем местоположении.

cated that speechlessness functions as a motif that may intertwine with various situations and emotions. It may acquire the form of repetition of certain phrases; authors may identify it in their relationships with close family or friends, or relate it to emotions of guilt, shame, or fear. Nevertheless, the analysis revealed that speechlessness in these essays was not really speechlessness. It is a discursive fact that helps authors communicate their political attitudes toward Russian politics. Being speechless proves that one is concerned about the ongoing war and does not support it. Writing about one's inability to speak is a key step toward acquiring a voice.

Literature

- Ahmed 2014: S. Ahmed, *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh 2014.
- Althoff 2019: G. Althoff, *Rules and Rituals in Medieval Power Games: A German Perspective*, Leiden 2019.
- Aizman 2024: A. Aizman, *From Representation to Sabotage: The New Practices of Russian Antiwar Groups*, "The Russian Review", LXXXIII, 2024, 1, pp. 66-78. DOI: <https://doi.org/10.1111/russ.12579>.
- Allen 1950: A.W. Allen, *Sincerity and the Roman Elegists*, "Classical Philology", XLV, 1950, 3, pp. 145-160.
- van Alphen, Bal 2009: E. van Alphen, M. Bal, *Introduction*, in: E. van Alphen, M. Bal, C. Smith (eds.), *The Rhetoric of Sincerity*, Stanford 2009, pp. 1-16.
- Anastasija 2022: Anastasija, *Without Title*, "ROAR", 2022, 5, <<https://roar-review.com/630873d6ac134941b8807750b16a22af>> (last access: 12.07.2024).
- Anonymous 2022a: Anonymous, *Without Title*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/Anonymous-708e885d4848421195f1b23b3c15b990>> (last access: 12.07.2024).
- Anonymous 2022b: Anonymous, *Without Title*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/Anonymous-e4b4df2fd0874d8d8d9abbb973a03095>> (last access: 12.07.2024).
- Anonymous 2022c: Anonymous, *As Long as There is No War*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/Anonymous-6d39006b647c4bfob72aard2f27bfc98?pvs=23>> (last access: 12.07.2024).
- Anonymous 2022d: Anonymous, *Without Title*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/a317856d60144c3abd3f8642caa642cc?pvs=23>> (last access: 12.07.2024).
- Anonymous 2022e: Anonymous, *It Started*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/Anonymous-0237498ad44e43dcb268e3922098c213>> (last access: 12.07.2024).

- Anonymous 2022f: Anonymous, *Without Title*, "ROAR", 2022, 4, <<https://roar-review.com/Anonymous-ceb6a8bbe2d4443b1d607e540e25bba>> (last access: 12.07.2024).
- Archangel'skij 2020: A. Archangel'skij, *Nesoglasnyj Teodor: Istorija žizni Teodora Šanina, rasskazannaja im samim*, Moskva 2020.
- Ardalionova 2022: A. Ardalionova, *Moscow Notes*, "ROAR", 2022, 2, <<https://roar-review.com/Ada-Ardalionova-dbd02d896155406cbece54433c548of>> (last access: 12.07.2024).
- A.S. 2022: A.S., *See This: Available to All*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/A-S-286e8b11e9c847ff9e710c12a5034538>> (last access: 12.07.2024).
- Arseny K. 2022: Arseny K. 2022, *Without Title*, "ROAR", 2022, 5, <<https://roar-review.com/Arseny-K-fb914f24e94b45ec900e0e2df29ffd>> (last access: 12.07.2024).
- Baranova 2024: V. Baranova, *The Linguistic Landscape of the War: Minority Languages, Language Activism, and Contesting Identities in Russia*, "Linguistic Landscape", x, 2024, 1, pp. 55-78, DOI: <https://doi.org/10.1075/ll.23006.bar>.
- Bujačková 2023: Z. Bujačková, *Theoretical and Methodological Challenges in the Study of Language: Linguistics and the History of Emotions*, "Ethnologica Slovaca et Slavica", XLIV, 2023, pp. 7-24.
- Davydenko, Henry 2024: S. Davydenko, A. Henry, *Marked on the Voice: The Visibility Experiences of Russian Heritage Migrants Following the War Against Ukraine*, "Applied Linguistic Review", April 19, 2024, DOI: <https://doi.org/10.1515/applirev-2023-0042>.
- Dean, Porter 2024: M.C. Dean, B. Porter, *Sentiment Analysis of Russian-Language Social Media Posts Discussing the 2022 Russian Invasion of Ukraine*, "Armed Forces & Society", 14 March, 2024, DOI: <https://doi.org/10.1177/0095327X241235987>.
- Doždeva 2023: A. Doždeva, *Sladkov i Jablokov*, "ROAR", 2023, 10, <<https://roar-review.com/2ff9277ac8d64a37b8cef4c94d775e55>> (last access: 12.07.2024).
- Khersonsky 2022: B. Khersonsky, *Neologisms of War*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/Boris-Khersonsky-47c959d4b65246eba3eef-ob80a5008d5>> (last access: 12.07.2024).
- Fateyeva 2022: O. Fateyeva, *The Cold Body of Text*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/Olga-Fateyeva-a461757efb11413a8b77640c7ce1c00a>> (last access: 12.07.2024).
- Fokin 2022: D. Fokin, *Propagandistic Wartime Lexicon – Shifting Linguistic Norms*, "ROAR", 2022, 2, <<https://roar-review.com/Danil-Fokin-6ee940f-79a3f475d9302bd5edee91184?pvs=25>> (last access: 12.07.2024).

- Gavrilov 2022: A. Gavrilov, *Without Title*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/Alexander-Gavrilov-f5fcd5c70cb54a3db9fa27d253b29b82>> (last access: 12.07.2024).
- Goralik 2022: L. Goralik, *Editor's Word*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/Linor-Goralik-6136c658bf37426cb514a0115c4b5c4?pvs=23>> (last access: 12.07.2024).
- Goralik 2023: L. Goralik, *Editor's Word*, "ROAR", 2023, 6, <<https://roar-review.com/Linor-Goralik-bee263a34ce945e18f074597c656576d?pvs=23>> (last access: 12.07.2024).
- Iossel 2022: M. Iossel, *Without Title*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/Mikhail-Iossel-702d23a21378490fa0c158f34a3foe31?pvs=23>> (last access: 12.07.2024).
- Iugov 2023a: V. Iugov, *Diana*, "ROAR", 2023, 7, <<https://roar-review.com/ddc9140eeea1343e7b61f3059733596bc>> (last access: 12.07.2024).
- Iugov 2023b: V. Iugov, 2023, "ROAR", 2023, 6, <<https://roar-review.com/d8ffaba433fe48ae916847d654ebbeb4>> (last access: 12.07.2024).
- Jaspers 2000: K. Jaspers, *The Question of German Guilt*, New York 2000.
- Jones 2024: A. Jones, "Waging word wars": *The "emotionscape" of the United Nations Security Council and the Russian war in Ukraine*, "Political Geography", CVIII, January 2024, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.103032>.
- Katja B. 2023: Katja B., *Without Title*, "ROAR", 2023, 9, <<https://roar-review.com/e55051a5f9ca495298c438044165488c>> (last access: 12.07.2024).
- Khrebtan-Hörhager *et al.* 2024: J. Khrebtan-Hörhager, E. Pyatovskaya, *Russian Women, Ukraine War, and (Neglected) Writing on the Wall: From the (Im)possibility of World Traveling to Failing Feminist Alliances*, "Journal of International and Intercultural Communication", XVII, 2024, 1, pp. 9-38. DOI: <https://doi.org/10.1080/17513057.2023.2265992>.
- Kordon 2022: A. Kordon, *Without Title*, "ROAR", 2022, 5, <<https://roar-review.com/Ada-Kordon-5fc978b936944915b6d6dfddcd44341f?pvs=23>> (last access: 12.07.2024).
- Koschut 2018: S. Koschut, *Speaking from the Heart: Emotion Discourse Analysis in International Relations*, in: M. Clément, E. Sangar (eds.), *Researching Emotions in International Relations: Methodological Perspectives on the Emotional Turn*, [s. l.] 2018, pp. 277-301.
- Kulyk 2024: V. Kulyk, *Language Shift in Time of War: the Abandonment of Russian in Ukraine*, "Post-Soviet Affairs", XL, 2024, 3, pp. 159-174. DOI: <https://doi.org/10.1080/1060586X.2024.2318141>.

- Kuzmin 2022: D. Kuzmin, *Without Title*, “ROAR”, 2022, 1, <<https://roar-review.com/Dmitry-Kuzmin-f961ee27150b4ef9be073ff2db3464e0?pvs=23>> (last access: 12.07.2024).
- Laclau, Mouffe 2001: E. Laclau, Ch. Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, London, New York 2001.
- Lekmanov 2022a: O. Lekmanov, *Without Title*, “ROAR”, 2022, 5, <<https://roar-review.com/Oleg-Lekmanov-d823befdd2ec4c09bcd4da6cd35cf205>> (last access: 12.07.2024).
- Lekmanov 2022b: O. Lekmanov, *The Non-Living and the Dead*, “ROAR”, 2022, 1, <<https://roar-review.com/Oleg-Lekmanov-71319d813a48404fb6705bb-7757c5f43>> (last access: 12.07.2024).
- Lepikhov 2022: S. Lepikhov, *Without Title*, “ROAR”, 2022, 4, <<https://roar-review.com/Sergey-Lepikhov-dc78e82cbb8e43d29b82b755286d7ae3>> (last access: 12.07.2024).
- Lewis 2004: M. Lewis, *Self-Conscious Emotions: Embarrassment, Pride, Shame, and Guilt*, in: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (eds.), *Handbook of Emotions*, New York 2004, pp. 623-636.
- Maiofis, Kukulin 2022: M. Maiofis, I. Kukulin, *No Title*, “ROAR”, 2022, 1, <<https://roar-review.com/Maria-Maiofis-Ilya-Kukulin-169a020afbbb4d-4bad8dd2a63a34e166>> (last access: 12.07.2024).
- Manotskov 2022: A. Manotskov, *No Title*, “ROAR”, 2022, 1, <<https://roar-review.com/Alexander-Manotskov-16bde656c7dc4ae38ba33dad-59d758cf?pvs=23>> (last access: 12.07.2024).
- Østbø 2020: J. Østbø, *The Sources of Russia’s Transgressive Conservatism: Cultural Sovereignty and the Monopolization of Bespredel*, in: I. Anisimova, I. Lunde (eds.), *The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics*. Bergen 2020, pp. 14-36.
- Öhman 2004: A. Öhman, *Fear and Anxiety: Evolutionary, Cognitive, and Clinical Perspective*, in: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (eds.), *Handbook of Emotions*, New York 2004, pp. 573-593.
- Panyushkin 2022: V. Panyushkin, *The Destruction of My Father*, “ROAR”, 2022, 2, <<https://roar-review.com/Valery-Panyushkin-92ce9306a5704e6b-bef4dc7df9152cc5>> (last access: 12.07.2024).
- Papernyj 2022: A. Papernyj, *Without Title*, “ROAR”, 2022, 5, <<https://roar-review.com/e1cb36aad51f4dc9aa4ac282f18459d7>> (last access: 12.07.2024).
- Pavlova 2022: V. Pavlova, *Without Title*, “ROAR”, 2022, 1, <<https://roar-review.com/Vera-Pavlova-c7d3d555443244a1852dd32b1d2cfe58>> (last access: 12.07.2024).

- Pavlova 2023: O. Pavlova, *Let's do it anyway*, "ROAR", 2023, 9, <<https://roar-review.com/Olesia-Pavlova-33d04604c337401ebbe7dac1033fe2da>> (last access: 12.07.2024).
- Perevalov 2022: V. Perevalov, *Priznanie Rossiej Respublik Donbassa*, "Russkaja Mysl", CXLIII, 2022, 3, p. 14.
- Peyre 1963: H. Peyre, *Literature and Sincerity*, New Haven-London 1963.
- Posochin 2021: I. Posochin, *Peremeščennye teksty: Specifika identičnosti i tvorčestva pisatelej-emigrantov iz SSSR i Rossii v konce 20 – načale 21 vv.*, Bratislava 2021.
- Przybyła 2024: K.A. Przybyła, *State Silencing as a Tool to Suppress Russians' Civil Resistance to the War with Ukraine*, "Peace Review", XXXVI, 2024, 1, pp. 75-82, DOI: <https://doi.org/10.1080/10402659.2024.2314586>.
- Rapoport 2024: E. Rapoport, *Shock Wave of Russian Emigration and Self-Reflection of Its Representatives*, "Laboratorium: Russian Review of Social Research", XV, 2024, 3, pp. 33-45, DOI: <https://doi.org/10.25285/2078-1938-2023-15-3-33-45>.
- Reddy 2001: W.M. Reddy, *The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotion*, Cambridge 2001.
- Rosenwein 2006: B.H. Rosenwein, *Emotional Communities in the Early Middle Ages*, Ithaca, London 2006.
- Rosenwein 2010: B.H. Rosenwein, *Problems and Methods in the History of Emotion*, "Passions in Context", I, 2010, 1, pp. 1-32.
- Rosenwein, Cristiani 2018: B.H. Rosenwein, R. Cristiani, *What is the History of Emotions?*, Cambridge-Medford 2018.
- Russ 2022: A. Russ, *Without Title*, "ROAR", 2022, 5, <<https://roar-review.com/Anna-Russ-ca22288144f24e208a1b479b2f7ee43>> (last access: 12.07.2024).
- Rutten 2017: E. Rutten, *Sincerity after Communism: A Cultural History*, New Haven-London 2017.
- Sadovaya 2022: A. Sadovaya, *Without Title*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/Alina-Sadovaya-c77ac95d056d4cfoaa4c5dfab257202c>> (last access: 12.07.2024).
- Safronov 2022: K. Safronov, *How to Talk about the War with Children? The Case of a Book Created by a Father and a Son*, "ROAR", 2022, 2, <<https://roar-review.com/Kirill-Safronov-6e00ac26a08743099937b88e1ce17379?pv=25>> (last access: 12.07.2024).
- Schneiderová 2015: S. Schneiderová, *Analýza diskurzu a mediální text*, Praha 2015.
- Trilling 1972: L. Trilling, *Sincerity and Authenticity*, Cambridge (MA) 1972.

- V. Ch. 2022: V. Ch., *Without Title*, "ROAR", 2022, 1, <<https://roar-review.com/V-Ch-0c5cc7arf6ac40a7b5a85bd3bazeacfb>> (last access: 12.07.2024).
- Westerwelle 2019: K. Westerwelle, *Essay*, in: M. Wagner-Egelhaaf (ed.), *Handbook of Autobiography/Autoficcion*, Berlin-Boston 2019, pp. 584-594.
- Yakovleva 2022: Y. Yakovleva, *Without Title*, "ROAR", 2022, 2, <<https://roar-review.com/Yulia-Yakovleva-b007618b8b4a4993b461d22c147334e5>> (last access: 12.07.2024).
- Žbankov 2023: V. Žbankov, *Ljutij Kijev*, "ROAR", 2023, 11, <<https://roar-review.com/c2e530ae42e14a3580b30347a896dco2>> (last access: 12.07.2024).
- Žiron 2023: B. Žiron, *Without Title*, "ROAR", 2023, 6, <<https://roar-review.com/dc43bc39b60941ff934b9ce185713eae>> (last access: 12.07.2024).

Abstract

Jakub Kapičiak

Shaping Speechlessness after February 24, 2022 in the Magazine ROAR

This study analyzes essays published in the magazine "Resistance and Oppositional Art Review" ("ROAR"), which was established after the full-scale Russian invasion of Ukraine. The study focuses on the motif of speechlessness that appeared in many texts by authors contributing to the magazine during the first month after February 24, 2022. The inquiry shows that the motif may acquire different forms and relate to various emotions such as guilt, shame, and fear. The author of this study argues that the motif is used not only as a specific emotional response to ongoing events but also as a medium to communicate a political statement of disagreement with the Russian invasion. Thus, it is possible to consider the magazine "ROAR" and its contributors as an emotional community.

Keywords

Literature and Emotion; Russian Opposition; Russian Essays; Speechlessness; February 24, 2022.



RECENSIONI

Z.A. Brzozowska, M.J. Leszka, T. Wolińska (eds.), *Muhammad and the Origin of Islam in the Byzantine-Slavic Literary Context. A Bibliographical History*, transl. by K. Gucio and K. Szuster-Tardi, Jagiellonian University Press, Łódź 2020 (= Byzantina Lodziensia), pp. 384.

Nella serie "Byzantina Lodziensia", promossa dal Centro Ceraneum, che ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei cinquanta volumi, è uscita un'opera di grande interesse, curata da Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka e Teresa Wolińska, dedicata alle testimonianze che circolavano nella Slavia ortodossa su Maometto e le origini dell'islam. Si tratta di uno strumento bibliografico, come recita il sottotitolo, di particolare importanza per quanti studiano le relazioni della Slavia ortodossa con l'islam, accessibile, grazie all'uso della lingua inglese, non solo agli slavisti, ma anche a bizantinisti e arabisti.

I curatori del volume, specialisti del mondo bizantino e bizantino slavo, come spiega la breve introduzione, si sono concentrati sul personaggio del fondatore e sulle origini della religione monoteista nata nel mondo arabo. Le testimonianze che circolavano in slavo sono perlopiù traduzioni dalla lingua greca, ma le opere furono scritte anche in altre lingue, dalle lingue del Medio Oriente, del Caucaso, al latino medievale. Le opere originali in slavo sono comunque ispirate alla tradizione scrittoria bizantina, dalla definizione delle popolazioni arabe, definite di volta in volta "agareni, ismaeliti e saraceni" all'idea di Maometto "falso profeta". Le versioni e le opere originali slave risalgono a diverse epoche, già a partire dalla prima generazione dei discepoli di Cirillo e Metodio fino al tardo medioevo, e spesso la loro datazione, come pure la loro origine, dai Balcani fino alla Rus' settentrionale, è ancora oggi oggetto di discussione.

Il repertorio comprende trentanove fonti e offre una breve presentazione dei testi originali e, nel caso di traduzioni, delle versioni slave (talvolta più d'una per la medesima opera), dedicando ampio spazio alle fonti manoscritte slave. Segue una breve ricostruzione dell'immagine, sia di Maometto, sia della prima epoca islamica ivi contenuta. Ogni presentazione è arricchita dall'elenco delle edizioni dell'originale ed eventualmente delle versioni antiche. Si segnala l'edizione della versione slava per le traduzioni, a cui si aggiungono eventuali traduzioni in lingue moderne. Segue una bibliografia essenziale.

I curatori hanno scelto di ordinare le fonti secondo l'antichità del testo originale (per lo più greco), proiettando inevitabilmente sulla Slavia ortodossa la dinamica delle relazioni del mondo bizantino con la civiltà islamica. Lo si può constatare, per esempio, a proposito della *Vita di Costantino Cirillo*, di fatto la prima fonte slava che parla del mondo islamico, che occupa solo il XXI posto.

Del resto, ordinare le fonti secondo la loro ricezione nel mondo slavo ortodosso è reso impraticabile dalla difficoltà di identificare l'epoca delle versioni o dei testi originali slavi. In ogni caso, le succinte, ma dense presentazioni consentono di tratteggiare a grandi linee una visione d'insieme delle testimonianze su Maometto e il primo islam, fino ad ora assente, aprendo la strada a nuove ricerche.

Nell'epoca cirillo-metodiana e della conversione al cristianesimo dei regnanti le scelte di autori e traduttori appaiono dettate dalle necessità pastorali connesse al processo di evangelizzazione, piuttosto che dall'urgenza di discutere questioni di carattere dottrinale. Lo si può vedere non solo nella citata *Vita di Costantino-Cirillo*, ma anche nel *Discorso del filosofo*, che si legge nel *Racconto degli anni passati*.

A queste necessità era connessa la creazione di una tradizione liturgica bizantina slava, che conserva sempre un ruolo centrale nell'Oriente cristiano. Gran parte dei testi in traduzione, presentati nella rassegna, sono tramandati infatti attraverso libri liturgici e raccolte agiografiche, a cui si aggiungono testi di diritto canonico e scritti eretopocritici. Le vite di martiri e santi confluirono in buona parte nelle *Grandi menee di lettura* del metropolita Makarij, a cominciare dalla testimonianza più antica, il racconto del monaco Ammonio sui martiri del monte Sion e di Raithou (I). In genere l'interesse per Maometto e le origini dell'islam in queste fonti assume un ruolo secondario nel contesto della narrazione sui martiri, confessori della fede, spesso monaci, mostrando una conoscenza generica, se non superficiale, dell'islam, evidente soprattutto nei romanzi agiografici.

Solo successivamente, a cominciare dal tardo medioevo, nel corso dell'espansione ottomana nei Balcani, l'interesse per l'islam assume una connotazione diversa. Prima nei Balcani e poi nel mondo slavo orientale si sviluppa un maggiore interesse per le vicende storiche narrate nelle cronache o nei racconti storici, ma progressivamente anche per i testi dottrinali, pur sempre nel tradizionale contesto della lotta alle eresie, come pure per la letteratura apocalittica, che ne coglie l'aspetto escatologico. Non a caso non si può rintracciare una versione slava del Corano (VII), ma solo alcune citazioni sparse nella produzione scrittoria della Slavia ortodossa.

Per le narrazioni storiche si può citare la versione slava delle opere di Simeone Logoteta (XXV), di Giovanni Zonara (XXVI) e di Costantino Manasse (XXVII), e fra gli scritti originali la *Narrazione sulla battaglia di Mamaj* (XXXVI). Per le questioni dottrinali emerge la versione slava dello scritto di Giovanni Damasceno sulle eresie (XI), fra cui è inserito l'islam, e la *Panoplia Dogmatica* di Eutimio Zigabeno (XXX), mentre fra gli scritti originali è citata l'operetta *Su Maometto l'eretico* (XXXV). Per la letteratura apocalittica assumono un ruolo significativo le più recenti versioni slave dell'*Apocalisse dello Pseudo-Metodio* (IX). Un caso a parte è costituito dalla testimonianza del *Viaggio al di là dei tre mari* di Afanasij Nikitin.

Solo nell'epoca moderna, segnata dai processi di confessionalizzazione e dall'espansione dell'impero russo in Oriente, furono tradotti i testi di carattere polemico che circolavano nel mondo bizantino, fra cui assume un ruolo significativo la versione slava dal greco del *Contra legem Sarracenorum* del fiorentino Riccoldo da Monte di Croce (XXXI), inserita poi nelle *Grandi menee di lettura* del metropolita Makarij.

Si potrebbero segnalare eventuali ampliamenti e aggiornamenti del repertorio, che potrebbero essere utili per una nuova edizione. Ci limitiamo a indicare a proposito dei testi apologetici di Massimo il Greco, ultima testimonianza del repertorio (XXXIX), le possibili influenze della polemica occidentale contro l'islam, a cominciare dagli scritti di Savonarola (F. Romoli, *Antimagometanske stat'i v 'Triumphus crucis' Džiolamo Savonaroly i Pervom sobranii sočinenii Maksima Greka: nekotorye tekstual'nye sovpadenija*, "Trudy otdela drevnerusskoj literatury", LXV, 2017, pp. 84-100.). Riguardo al *Viaggio al di là dei tre mari* di Afanasij Nikitin, alle citate ricerche di Verdiani vorrem-

mo aggiungere una nostra breve interpretazione alla luce della letteratura di viaggio slava orientale (M. Garzaniti, *Otkrytie Vostoka: "grešnoe choženie" Afanasija Nikitina*, "Trudy otdela drevnerusskoj literatury", LXI, 2010, pp. 518-532).

Con piacere abbiamo osservato la menzione di alcune traduzioni italiane fra le versioni moderne dei testi originali, a cominciare dalla versione del *Prato spirituale* di Giovanni Mosco (IV), a cui vorremmo aggiungere la recente pubblicazione della *Vita di Andrea il Folle*, a cura di P. Cesaretti (2016), e una classica traduzione ottocentesca: il *Martirio de' Santi Padri del Monte Sinai e dell'eremo di Raitu* di Giacomo Leopardi.

Alla fine, vorremmo brevemente illustrare i principali temi della monografia di Brzozowska, una dei curatori del precedente volume, dedicata all'immagine delle donne mediorientali dell'epoca del primo islam nella produzione scrittoria della Slavia ortodossa (cfr. Z.A. Brzozowska, *Chadidža i jej czarnookie siostry. Obraz kobiet bliskowschodnich z epoki narodzin islamu w średniowiecznej literaturze kręgu bizantyńsko-słowiańskiego*, Jagiellonian University Press, Łódź 2021 [= *Byzantina Lodziensia*], pp. VI-298). Il saggio, uscito l'anno seguente nella stessa collana, sulla base per lo più delle medesime fonti, presenta all'inizio alcuni personaggi della Persia sassanide e dell'Arabia felix (Hymiar in arabo), per passare alle figure femminili intorno a Maometto e alle donne islamiche del periodo più antico. Mostrando la completa dipendenza dalla produzione greca di epoca bizantina, appare ancor più evidente il ruolo preponderante delle narrazioni agiografiche, rispetto alle opere polemiche e dottrinali, che hanno contribuito in modo determinante alla creazione dell'immaginario orientale della Slavia ortodossa. Pur essendo scritto in polacco, l'ampio sommario in inglese alla fine del volume ne consente la fruizione anche a bizantinisti e arabisti.

Queste pubblicazioni aprono senza dubbio nuove e interessanti piste di ricerche che potranno arricchire le nostre conoscenze della ricezione slava ortodossa del Medio Oriente in generale, dimostrando ancora una volta lo stretto legame del mondo bizantino slavo con le diverse realtà che lo compongono e in particolare con il mondo islamico prima dell'espansione turca e della formazione dell'impero russo.

Marcello Garzaniti

V.S. Tomelleri, *Vokrug Donata*, Indrik, Moskva 2023 (= Slavia Christiana. Jazyk. Tekst. Obraz), pp. 286.

Nel complesso e variegato panorama composto dalle opere a carattere linguistico e didattico apparse nei territori slavo orientali a partire dal XV secolo un posto particolare è occupato dal *Donat*, versione antico russa eseguita dal diplomatico e traduttore Dmitrij Gerasimov (ca. 1465-dopo il 1536) dell'*Ars minor*, celebre manuale di latino del grammatico Elio Donato (ca. 320-ca. 380). *L'Ars minor*, che presenta in forma erotematica le otto parti del discorso, nel Medioevo fu oggetto di adattamenti e rielaborazioni, segno della duttilità e della grande popolarità via via acquisita da quest'opera, destinata in origine ad allievi parlanti latino, e trasformatasi successivamente in un manuale indirizzato a discenti non di madrelingua latina, tanto che il nome stesso dell'autore, Donatus, passò a indicare il manuale di latino per antonomasia. L'apparizione della stampa ne consolidò la fortuna.

La versione antico russa del *Donat*, eseguita tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo sulla base di un'edizione a stampa tedesca del *Donatus*, si presenta come un testo per molti versi complesso, che pone allo studioso una serie di questioni cruciali riguardanti tanto la sua natura e funzione (da manuale di latino a grammatica di russo), la ricostruzione della sua tradizione manoscritta, il carattere della traduzione stessa, quanto la sua collocazione e la sua influenza nell'ambito della riflessione linguistica sviluppatasi in area slavo orientale, compreso il suo eventuale contributo alla formazione della terminologia grammaticale. Tali questioni si intrecciano ad altre che toccano il più ampio contesto storico-culturale in cui si è svolta l'attività dei traduttori della cerchia dell'arcivescovo di Novgorod Gennadij, orientata verso occidente, nel cui ambito si colloca, accanto ad altre traduzioni dal latino di opere risalenti alla tarda antichità o al Medioevo, la versione di Dmitrij Gerasimov del *Donatus*.

Queste ed altre problematiche nel corso degli anni sono state oggetto di studio da parte dell'Autore dell'opera qui presa in esame, al quale siamo debitori, in primo luogo, dell'edizione del *Donat* (*Der russische Donat. Vom lateinischen Lehrbuch zur russischen Grammatik*, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 2002), oltre che di importanti lavori sempre sul *Donat* e sulle traduzioni svolte nella cerchia dell'arcivescovo Gennadij.

A questi studi si aggiunge ora il volume presentato, uscito nel 2023 nella prestigiosa collana "Slavia Christiana. Jazyk. Tekst. Obraz" dell'Istituto di Slavistica dell'Accademia delle Scienze. Il volume raccoglie quattro saggi in russo su testi e problematiche testuali "intorno al *Donat*", come recita il titolo, che, con la revisione e le correzioni resesi necessarie, espongono le conclusioni cui è giunto l'Autore nei suoi lavori usciti in italiano e in russo nel corso degli anni. L'analisi viene condotta contemperando l'approccio filologico con quello linguistico.

Elemento fondamentale che accomuna i primi tre saggi è il testimone del *Donat* risalente al XVI secolo, che è conservato presso la biblioteca N.I. Lobačevskij di Kazan' ed è stato pubblicato da Jagić nel 1896 nella celebre raccolta *Codex slovenicus rerum grammaticarum. Rassuždenija južnoslavjanskoj i ruskoj stariny o cerkovno-slavjanskom jazyke*.

Il primo saggio del volume (*Zametki po istorii ruskogo "Donata": sostavlenie i kontaminacija Kazanskogo spiska*), dopo una descrizione dettagliata delle caratteristiche di questo testimone, si sofferma sulla prima delle sei sezioni in cui nell'edizione di Jagić è presentato il *Donat*. Del materiale della prima sezione, comprendente anche il testo della grammatica, viene esaminato in particolare il contenuto della prefazione e della postfazione, costituenti una sorta di 'cornice' disposta "intorno al *Donat*", le quali, come sottolinea l'Autore, permettono di collegare a uno stadio redazionale e a interventi più tardi da parte del copista il testimone di Kazan', che tuttavia, pur non rispecchiando lo stato del *Donat* nella sua fase iniziale, si distingue rispetto ad altri testimoni che hanno trasmesso il testo del manuale per maggiore completezza, correttezza e per la presenza di tratti fonetici tipici della zona di Novgorod.

"Intorno al *Donat*" si colloca anche il testo analizzato nel secondo saggio: si tratta di *Sintaksičeskie pravila*, titolo proposto dall'Autore per la traduzione di *Regulae grammaticales, regimina et constructiones*. È questo un manuale grammaticale a carattere compilativo che si è tramandato assieme alla traduzione del *Donat* in due copie risalenti al XVI secolo, di cui una è rappresentata dal testimone di Kazan' edito da Jagić. Tracce casuali di parole latine inducono a ritenere che, come per il *Donat*, la versione della traduzione fosse in origine associata al testo latino traslitterato in cirillico. Il suo studio ne dimostra la dipendenza dal *Donat* e ne evidenzia i legami anche con le teorie dei Modisti e con il celebre e fortunato *Doctrinale* di Alexander de Villa Dei (ca. 1170-1250). *Sintaksičeskie pravila* in complesso si presentano come un testo problematico per il quale appare arduo stabilire tanto l'autore e l'epoca cui risale la traduzione, quanto il motivo per cui sia stato tramandato con il *Donat*. L'approfondita analisi condotta sulle due copie ha indotto l'Autore a concludere che il *Donat* e *Sintaksičeskie pravila* non appartengano a una stessa mano e che la loro presenza nel testimone di Kazan', assieme alla prefazione e alla postfazione, sia riconducibile alla volontà del copista di mettere insieme materiale grammaticale diverso.

Il terzo saggio (*Glossy v ruskom "Donate"*) è dedicato all'esame del *Traktat o bukvach*, sulle vocali e le consonanti latine, presente solo nel testimone di Kazan' e collocato dopo la prefazione, e alla ricostruzione e all'analisi delle glosse ai sostantivi *musa* e *species*, aggiunte dal traduttore, che, alla luce della loro polivalenza semantica, egli sceglie di non tradurre. L'analisi delle glosse ha permesso anche di evidenziare legami con la tradizione grammaticale tedesca, e dunque ampliare l'orizzonte della ricerca: per la glossa a *musa*, ad esempio, la fonte individuata è il *Vocabolarius brevilocus cum arte diphthongandi, accentuandi et punctuandi* di Johannes Reuchlin (1478), che era in uso nella cerchia dei traduttori dell'arcivescovo Gennadij. A proposito dell'influenza occidentale e, in particolare, tedesca sul *Donat*, come sostenuto dagli studiosi H. Keipert e D.B Zachar'in, l'Autore introduce dei distinguo, ammettendola sul piano storico e culturale, meno su quello della linguistica testuale, e ricordando l'origine latina del *Traktat o bukvach* e delle due glosse, senza per questo volere relegare in secondo piano lo studio del contesto in cui è sorto il manuale.

L'ultimo saggio del volume (*Ošibki v perevodach*), in parte estraneo alle problematiche affrontate nei capitoli precedenti, tratta più in generale il problema degli errori presenti nelle traduzioni dal latino eseguite nella cerchia dell'arcivescovo Gennadij, tra le quali rientra anche il *Donat*. L'Autore analizza alcuni esempi significativi fornendo una tipologia degli errori (di testo, di traduzione, di tipo fonetico, di tipo grafico, sintattici, 'falsi' errori, terminologici), essenziale per comprendere più a fondo determinate scelte dei traduttori.

In conclusione si può dire che la caratteristica e il merito principali dei saggi contenuti nel volume qui presentato sono quelli di avere preso in esame il *Donat* mettendolo in stretta relazione con i testi che, se così si può dire, gli gravitano “intorno” nel testimone conservato a Kazan’ e descrivendo approfonditamente il carattere del loro legame e i rapporti di dipendenza, per arrivare quindi a dare una visione più completa, articolata e approfondita di questo manuale e delle dinamiche che lo collegano ad altri testi grammaticali, oltre che all’attività di traduzione svolta a Novgorod tra il XV e il XVI secolo.

Maria Cristina Bragone

V. Majakovskij, *Poesie d'amore 1913-1930*, a cura di P. Ferretti, Einaudi, Torino 2023 (= Collezione di poesia, 504), pp. XL-176.

Recensendo cinquant'anni fa le *Lettere d'amore a Lilja Brik* (1972), Angelo Maria Ripellino definiva il loro autore, Vladimir Majakovskij, "un grande poeta d'amore" impoverito da "turbe di glossatori saccenti". L'invito del grande slavista a leggere il "tribuno della rivoluzione" in questa prospettiva "più privata e universale al tempo stesso" (P. Ferretti) era stato accolto qualche anno fa da Serena Vitale nel romanzo-indagine *Il defunto odiava i pettegolezzi* (Adelphi 2015), che offriva anche brevi, smaglianti saggi di traduzione. Nella stessa prospettiva si muove Paola Ferretti con le *Poesie d'amore 1913-1930*, scelte, tradotte e annotate per Einaudi nel 2023.

Si tratta di una lettura largamente innovativa, nonostante i decenni trascorsi, e nonostante la notevolissima fortuna che Majakovskij ha avuto in Italia, con 32 volumi editi (antologie incluse) tra la fine della Seconda guerra mondiale e il 1990 (si veda quanto scriveva Cesare G. De Michelis, in *Letteratura russa del Novecento*, in *La slavistica in Italia. Cinquant'anni di studi (1940-1990)*, Roma 1994), e 38 (antologie escluse) tra il 1991 e il 2022 (si vedano le *Considerazioni sulla poesia russa tradotta in italiano tra il 1987 e il 2022* di Alessandro Niero, in "Studi Slavistici", XX, 2023, 1). Va detto che la più parte di questi settanta volumi è costituita da riedizioni, variamente composte, di traduzioni apparse tra il 1949 (l'anno in cui uscì *Il flauto di vertebre* tradotto da Renato Poggioli nel celebre *Fiore del verso russo*), il 1954 (con *La nuvola in calzoni* e gli altri versi tradotti da Ripellino nell'altrettanto celebre *Poesia russa del Novecento*), il 1958 (quando Ignazio Ambrogio curò presso Editori Riuniti le *Opere* di Majakovskij in 5 volumi, canonizzandolo anche da noi come il poeta della rivoluzione, nelle traduzioni di B. Carnevali, G. Crino [Kraiski], M. De Micheli, G. Ketoff, M. Socrate, P. Zveteremich), e il 1967 (quando uscì il poema *Lenin* nella versione di Ripellino, sideralmente lontana dalla lettura ideologica sino ad allora dominante). Per una traduzione nuova e una nuova lettura critica, filologicamente fondata, almeno dei poemi di Majakovskij, si è dovuto poi attendere un ventennio, sino alla *Nuvola in calzoni* proposta nel 1989 (presso Marsilio) da Remo Faccani, cui sono seguite (oltre alla riedizione dello stesso Faccani per Einaudi nel 2012), altre cinque nuove versioni di altrettanti traduttori – le ultime due, nel 2023, si devono a Simone Guagnelli (*Un dialogo futurista. Una nuvola in brache di V. Majakovskij e Canto della fame di B. Jasieński*, Stilo editrice) e a Marilena Rea (V. Majakovskij, *Milioni di immensi amori puri*, Passigli Poesia). Del *Flauto di vertebre*, riproposto costantemente dagli editori nella versione di Poggioli (1949) o in quella di Carnevali (1958), nel 1994 uscì invece una notevolissima versione (in *Compito di francese e d'altre lingue*) del poeta Nelo Risi, che al poema aveva lavorato in più riprese (già nel 1947, insieme a G. Ketoff, quindi

nel 1966 e poi negli anni Novanta). Scriveva Risi in una nota inedita che avrebbe dovuto accompagnare nel 1966 la traduzione: “L’amore è il grande tema di quegli anni: che si chiami Maria o Lili è una passione impossibile, perché mai potrà essere corrisposto nel modo totale che il poeta sogna ed esige. Amore come tragedia, come rivolta dalle risonanze universali”.

Se si escludono i due poemi prerivoluzionari, dagli anni Settanta a oggi Majakovskij è stato riproposto ai lettori italiani in florilegi di esigue dimensioni, e in antologie che hanno offerto singoli nuovi testi insieme a versioni per lo più già note. In questo panorama, il volume ottimamente curato da Paola Ferretti costituisce una grande occasione per rileggere o meglio riascoltare (Majakovskij, secondo Marina Cvetaeva, non ha lettori, ma ascoltatori) alla luce del tema amoroso tutta la “sonora forza” del poeta.

Nell’ampio saggio introduttivo – intitolato, con esplicito richiamo al “fenomenale accidente dell’anatomia majakovskiana”, *Nel cuore di Majakovskij. Immaginario amoroso in versi scelti* (pp. v-xxxv), – la curatrice evidenzia la centralità del tema: “il furore del Majakovskij poeta d’amore non è scorporabile da quello del Majakovskij poeta della rivoluzione”, anzi: il tema amoroso è quello “per eccellenza in cui egli innova e si distacca dalla tradizione”.

Riconoscendo la “dose inevitabile di arbitrarietà” che ritagliare una scelta implica – tanto più che il tema amoroso è “rintracciabile in ogni piega della sua poesia, un tema di cui la sua anima trabocca” – Ferretti appronta una silloge includendo sedici liriche che vanno dai primi testi del giovane futurista (1913) agli “ultimi abbozzi intimisti” lasciati incompiuti, includendovi dunque versi che precedono il ciclo idealmente dedicato a Lilja Brik (“una Lili Brik come la cattedrale di Notre Dame”, secondo la celebre definizione cvetaeviana), e intorno al quale sta “una varietà di componimenti collaterali”, compresi gli omaggi a Puškin e Lermontov di *Per l’anniversario e Tamara e il Demone* (“essenziali per cogliere il lascito puškiniano e lermontoviano all’interno dell’opera di Majakovskij”, secondo Ferretti), la *Lettera a Tat’jana Jakovlevna* (“l’unica che mi eguaglia in statura” nelle parole del poeta), rimasta inedita per un quarto di secolo, e la coeva *Lettera da Parigi al compagno Kostrov sull’essenza dell’amore*, che proprio per il tema trattato venne duramente attaccata in URSS.

A seguire, dopo le liriche, Ferretti propone in traduzione due poemi, *Il flauto di vertebre* (1916) e *Amo* (1922), esemplari di due “stagioni creative diverse, riflesso di profondi cambiamenti sul piano personale come su quello storico”, mentre rinuncia a cimentarsi con le altre due parti della “tetralogia dei poemi d’amore”, ovvero *La nuvola in calzoni* (1915), da cui il *Flauto* origina, e *Di questo* (1923), che *Amo* anticipa. A motivare l’esclusione della *Nuvola in calzoni* è la disponibilità della versione italiana curata da Faccani, definita “mirabile”. In un volume dove, contrariamente alla prassi ormai diffusa, non vi è una nota alla traduzione, questo dichiarato omaggio si configura, crediamo, come una indicazione dei principi traduttivi a cui Ferretti si è ispirata nel suo lavoro – a partire dalla scelta di non rendere le rime del testo russo, ma di “lasciar galleggiare nella corrente della traduzione isolate rime e assonanze” (come scriveva Faccani presentando *La nuvola*). Non mancano tuttavia riuscite eccezioni, come nel caso di *Amore da marina di guerra* dove, con esito di sorprendente freschezza, e vincendo il confronto con le versioni della tradizione (che risalgono a Poggioni e Carnevali), la traduttrice conserva le rime baciato dell’originale, ricorrendo solo in un distico su nove alla forma imperfetta dell’assonanza. Deve ovviamente rinunciare all’iterazione, in posizione di rima, di *minonosec* (in tutte le sue variazioni e declinazioni), e della perdita rende puntualmente conto nelle approfondite Note (pp. 134-169), che in generale forniscono notizie sui testi e la loro storia, illustrano i momenti salienti della fortuna critica, evidenziano temi e motivi che Majakovskij riprende da una lirica all’altra, integrano ciò che giocoforza, come nel caso della declinazione di *minonosec*, la traduzione non può portare al lettore italiano. Sempre nelle Note si rende via via conto delle motivazioni

filologiche seguite per allontanarsi da tradizioni traduttive consolidate. Nel caso di *Kofta fata*, per esempio, in vece della ripelliniana *Blusa del bellimbusto* Ferretti propone, privilegiando la componente del lessico, *La Casacca del fatuo* (*fat*, attraverso il francese, deriva da *fatuus* latino, come *fatuo*; *casacca* presenta fraseologismi come “cambiare casacca”...). Va perduta, rispetto al titolo di Ripellino, l’eco sonora minima – nelle *u* accentate e nelle allitterazioni di “BLUsa” e “BeLLimBUsto” – della ripresa anagrammatica di “koFTA” in “FATA”.

Attenta alle inversioni sintattiche (che spesso riesce a ricreare con mezzi diversi), e alla resa della lingua “colorita e rude” di Majakovskij, anche in queste *Poesie d’amore* Ferretti mostra l’“uso ricercato del lessico italiano che straborda di sofisticate soluzioni”, rilevato da Marco Sabbatini recensendone la traduzione dei *Sette poemi* cvetaeviani (“Studi Slavistici”, xx, 2023, 2). Si vedano scelte lessicali come “innecessario” (per *nenužnyj*), “tenzone” (per *spor*) “apostrofare” (per *govorit*), “tinnulo”... In questa vicinanza (affinità elettiva?) a Cvetaeva-poeta Ferretti si allontana in parte dalla lettura che di Majakovskij dà Cvetaeva-critico, la quale definisce il vocabolario di Majakovskij “sempre quotidiano, colloquiale, prosastico” (in *L’epos e la lirica della Russia contemporanea*). Una certa eco di Cvetaeva-poeta si ritrova anche in soluzioni traduttive che finiscono per apparire come predilezioni, per esempio nella resa delle metafore (“le mie parole – foglie secche” per *slov moich suchie list’ja*). Ma, al di là di singole scelte, “la scansione majakovskiana: il ritmo” (citando ancora Cvetaeva), ovvero la forza del suo linguaggio poetico, riesce a passare in traduzione. Ed è un risultato notevole.

Maurizia Calusio

N. Bąkowska, *Metafikcja komiczna i komizm metafikcyjny w dramatach Luigiho Pirandella i Witolda Gombrowicza. Studium porównawcze*, WUW, Warszawa 2023 (= *Studium porównawcze*), pp. 278.

Poniższe uwagi, odnoszące się do książki Nadziei Bąkowskiej, nie mogą się obejść bez tytułu. Zamierzam zatem: *Dodać przypis do przypisu. O teatrze i metafikcji*. Druga część podkreślająca tematykę recenzowanego dzieła – *O teatrze i metafikcji* – mogłaby wyglądać inaczej, przykładowo: *O dramacie, komizmie i metafikcji*, albo: *Metafikcja w sztukach L. Pirandello, W. Gombrowicza i W. Allena* czy *O obecności postmodernizmu w modernizmie*. Wszystkie byłyby prawdziwe, w żadnym z nich nie zostałyby ujęta całość bogatej i kontekstowo i znaczeniowo książki Nadziei Bąkowskiej, książki, która do swego czytelnika zaleca się od pierwszego spojrzenia fantastyczną okładką, na niej zaś możemy się dopatrzeć waleta kier, będącego według rozmaitych wykładni bądź głupcem, rycerzem czy kochankiem, bądź symbolizującego przełamanie codziennej rutyny, która to możliwość dla rozprawy naukowej jest szczególnie cenna.

Tytułowy początek – *Dodać przypis do przypisu* – swą wykładnię znajduje w konstrukcji książki: oto na 280 stron tekstu więcej niż połowa to przypisy (połączone z bibliografią oraz przypisowymi fragmentami ukrytymi w tekście głównym). Myślę, że czytelników można podzielić na dwa rodzaje. Ci pierwsi, a z pewnością jest ich większość, przypisów i odnośników nie lubią, dla nich książka Bąkowskiej będzie naukowo zbyt ukontekstowana. Drudzy, do których sam się zaliczam, odsyłacze cenią. Ich obecność przywołuje bowiem konteksty, będące asumptem do samodzielnego myślenia. I faktycznie czytając tę książkę co chwilę odpędzałem myśl, co jeszcze można by zrobić, widziałem odmienne realizacje, słowem zaciekawiały mnie ukryte możliwości, generujące się kontr-znaczenia i – użyjmy solecyzmu – przypisem się do mnie autorka zalecała, przypis mi przesyłała swój nieskromny i przypisem do niej odpowiadam.

1. Przypis do tytułu. Co zapowiada swemu czytelnikowi początek (tytuł i wstęp) książki Bąkowskiej? Najpierw wysublimowaną grę językową, mamy bowiem i metafikcję komiczną i komizm metafikcyjny, a skoro pojęcia te zostały rozdzielone i podwojone muszą być znakiem różnicy. Dalej, że rozprawa wymaga doświadczonego czytelnika, który umie się uśmiechnąć niejako niereferencjalnie. Jego poczucie humoru nie ma swego źródła w komizmie sytuacyjnym, codziennym, ale samozwrotność tekstu, nastawienie fikcji i zabiegów ją konstytuujących na fikcję właśnie go stanowi. Nic przeto dziwnego, że jak pisze autorka rzecz jest słabo opisana, mimo sporej bibliografii dotyczącej metafikcyjności. Na metafikcyjnym marginesie skonstatujmy, że wybór Witolda Gombrowicza i

Luigiego Pirandello jako obszaru badawczego jest odważny, to przecież doskonale opisani twórcy i rodzi się obawa co jeszcze krytycznego można dopisać. Wybór dramatów jest zatem słuszny, spojrzeć na wielkich niejako z boku, zza kulis. Jeśli chcemy coś nowego powiedzieć tu właśnie należy lokować swe analizy!

Autorka stawia sobie cztery cele:

- wykazanie komicznego potencjału metafikcji;
- zilustrowanie tegoż dramaturgią Pirandello i Gombrowicza;
- wskazanie pirandello-sko-gombrowiczowskich konwergencji, również w zakresie postmodernistycznych konotacji i antecedencji. To zadanie, w kwestii konwergencji, a zatem pokazania, że niezależnie od siebie obydwaj twórcy konstruują niejako to samo, wyszło moim zdaniem najslabiej, a to z powodu struktury analizy, która polega na zbadaniu obu dzieł osobno i, później, złączeniu wniosków w ujęciu komparatystycznym. Niezłe z tego wyszedł postmodernizm, sama konwergencja jednak wymagała by innego, moim zdaniem, podejścia;
- stworzenie modelu komizmu metafikcyjnego.

Cele ambitne, tym bardziej, że obok tekstu i refleksji czytelnika, autorka sugeruje objęcie obserwacją również przedstawienia i widza. Ujęcie inscenizacji rodzi kłopoty innej natury, mianowicie, na ile poziomy metafikcyjne przynależą do dzieła i autorskich decyzji, na ile zaś „doniósł je” lub zagubił spektakl, słusznie zatem problem został bardziej wskazany, niż poddany analizie.

Już w pierwszych partiach książki widzimy zamiar osadzenia rozważań w jak najszerszym kontekście, co potwierdzi się dalej. Liczba przypisów, wypowiedzi, wskazań, przywołań i tekstów i badaczy będzie ogromna. Prawdziwa profuzja kontekstu. Jakby autorka chciała zaznaczyć, że w badanym obszarze zna wszystko. Taki zabieg zawsze coś dodaje, coś zabiera. Z jednej strony mamy przeto poczucie pełni, bogactwa faktów, wskazań, które pozwalają nam rozszerzać lekturę niemal w nieskończoność; z drugiej wytłumiony został głos osoby piszącej i w sumie nie wiemy, które z przywołanych tekstów ceni, które uważa za słabe. Raczej przyjmuje ona opisywany wielogłos niż z nim polemizuje. Za mało tu chyba samego autora, jego zdania. Ale, jak pisałem, coś za coś. No i Woody Allen, który – poza tytułem – wyskakuje z kapelusza. Dlaczego, dowiemy się dopiero pod koniec książki.

2. Przypis do stanu (ogromnego) badań. Od razu odnotujmy poetykę wywodu. Rzuci się w oczy brak analizy tekstu założycielskiego dla terminu *metafikcja*, tekstu napisanego przez Williama H. Gassa. Oczywiście osoba ta zostanie później przywołana, tutaj w przypisach nie ma żadnych braków, jednak funkcjonalność wskazana przez autorkę – interesują ją te teksty, które łączą metafikcję z komizmem – rodzi pewien brak. Czy na pewno nic z pola komizmu nie znalazło się w *Fiction and the Figures of Life* Gassa? A jeśli, to dlaczego, czy były jakieś racje ku temu? Podobnie można zapytać o surfikcję Raymonda Federmana (przywołanego, a jakże, w późniejszym przypisie). Pytanie dlaczego (jeśli) początki rozważań tej kategorii pomijają komizm mogłyby być równie ciekawe, jak omawiane teksty, które komizem wprowadzają.

Początek zatem przypadł, moim zdaniem nieszczególnie precyzyjnym interpretacjom, Margaret A. Rose i jej książce z 1979 roku *Parody/Metafiction*. Tutaj Bąkowska jest chyba nadmiernie ufna, a o komentarz się prosi. Rose bowiem, co może być i efektem przekładu, i braku precyzji zwyczajnej przy opisywaniu nowych zjawisk, i cechującej ludzi nieprecyzyjności, Rose zatem, zreferowana w omawianej książce lekko sobie przeczy. Możemy zatem przeczytać (s. 17-18), że:

- parodia ma metafikcyjną naturę i jest formą metafikcji [podkr. moje];
- że każda parodia jest metafikcją ale nie każda metafikcja jest parodią;
- że metafikcyjność to jedna z możliwych cech parodii aczkolwiek niekonstytucyjna;
- komizm jest konieczny dla parodii, ale nie każdy typ komicznej metafikcji jest parodystyczny;
- komizm w parodii ujawnia metafikcję.

Jak widzimy, skoro parodia jest zawsze komiczna, a komizm ujawnia metafikcję, to każda parodia, wbrew zaprzeczeniom Rose byłaby metafikcją. Sporo tu poplątania z pomieszaniem, które autorka książki koryguje nieznacznie lub wcale. Tym bardziej, że teksy uzupełnia przypis czwarty, a w nim znajdujemy cytat z Wojciecha Browarnego: “Myszę, że parodię można rozumieć jako metafikcję”. Jak zatem jest? Powiedziałbym, że nazbyt dużo tu zaufania do tezy, które powinny być poddane krytyce, a nawet odrzucone. Większy udział głosu własnego, nawet wbrew uznanym badaczom, wprowadziłby pożądaną w tym rozdziale precyzję i zlikwidował domysł, co zostało przez autorkę uznane, a co jest tylko cytowane, wreszcie z czym się absolutnie nie zgadza. Ostatecznie mamy rozliczne głosy badawcze, ale raczej sami musimy odpowiedzieć na pytanie czy są parodie niekomiczne? A jeśli, to czy mogą one być metafikcyjne? Czy pojęcia te zbiegają w stronę synonimiczności czy wręcz przeciwnie? I jeśli metafikcja ukazuje się w parodii to czym jest ona sama w sobie? Jaki jest jej byt? Sporą pracą można to zrobić, ale lepiej byłoby, gdyby za czytelnika analizę tę wykonano w książce.

Kolejne pytanie wiąże się z językiem metaforycznym i obrazowym. Skoro już takie frazy są, to czy należy je pozostawić lekturze czy objaśnić? Przykładowo parodia, będąca jakoby “metafikcyjnym lustrem fikcji” zostaje uznana za lustro własnych praktyk fikcyjnych – mielibyśmy tym samym lustro w lustrze? A skoro w książce zostaje poruszony problem reprezentacji i, rzadziej, referencji, poruszony krytycznie, to czym byłoby tutaj odbicie odbicia? Modernistyczną grą zwierciadeł, które fascynowały awangardzistów? I czy takie odbicia są komiczne? Jak widać rozdział przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. A tu zaraz pojawia się Linda Hutcheon, ze swoim przekonaniem, że komizm dla parodii nie jest konieczny. Oraz teza autorki, że to sama metafikcja jest źródłem komizmu i operuje w tym celu parodią. Mimo ogromu czegoś nam brakuje.

Dużo precyzyjniejsze są wskazania badań nad komizmem obydwu dramaturgów. Logika wywodu nie budzi zastrzeżeń, jest w pełni przekonująca. Jedyne w moim odczuciu pytanie jakie moglibyśmy postawić, oczekując odpowiedzi, to pytanie czy to śmiech jest esencjonalnie niezmienny, zmienia się natomiast podejście do niego, coraz to inne w kolejnych epokach i u różnych twórców, czy, przeciwnie, śmiech ma zmienny, dynamiczny charakter, a twórcy są jego rezonansowym pudłem. No i co z tymi, których nie śmiesz? Ale oni zawsze stanowią problem, zatem zostawmy ich samym sobie.

3. Przypis do rozdziałów o Pirandellu, o Gombrowiczu i o nich obydwu. Jak pisałem, deklarowana konwergencja ustępuje komparatystyce. Cel tego jest coraz wyraźniejszy, chodzi o postmodernistyczny finał! W rozdziale metodologicznym, do którego przypisu nie daję, pojawił się pewien schemat czy model analizy, który autorka konsekwentnie stosuje. Najkrócej polega on na badaniu odpowiednio: “trzech głównych struktur metafikcyjnych: intertekstualności, ironii i postaci metafikcyjnej oraz powiązanych z nimi form, takich jak parodia (rozpatrywana jako przejaw intertekstualności), groteska i metalepsa (obie rozpatrywane jako źródło ironii)” (s. 41). Model jak model, autorski, zatem należy go w pełni przyjąć, jedynie można na marginesie pomyśleć czy to model refleksji determinuje czytany tekst, czy tekst determinuje model, prokurując jego postaci nieczy-

ste, zmacone, wadliwe nawet, która to wadliwość jest dla modelowania konstytutywna. Autorka opowiada się za pierwszą możliwością. Bardzo ładne są przywołane, zapoznane frazy teoretyczne o ogromnym uroku jak, przykładowo, Bachtinowskie “strefy bezceremonialnego kontaktu” albo “poufałe obmacywanie”. Takie wskazania to rodziniki w każdych teoretycznych rozważaniach, za które wypada autorce podziękować!

Materiał badawczy, wybór został szczegółowo uzasadniony, nie budzi wątpliwości. Rozdziały te są też najmniej dyskusyjne. Ot, autorka wie co chce przeczytać, wie jak chce to zrobić i przekonuje nas do swej lektury, umiejętnie dowodząc swych zamiarów cytatami z dramatów omawianych twórców. Może tylko należałoby dopisać, że koncepcja rezonerów (s. 117) była, wcześniej chyba, łączona z Witkacym, i nie tyle służyła obnażaniu iluzji, co wprowadzeniu do utworu metarefleksyjnej warstwy filozoficzno-matafizycznej. Miała zatem większe ambicje niż ukazana tu jej lekko zredukowana postać. Czytając odnosimy wrażenie że jednak to komizm jest kategorią zmienną, że śmiech ma swe historyczne umocowanie; przykładem niech będą wczesne humoreski Chaplina, dziś raczej etycznie przerażające niż zabawne. Prowadzi nas to do właściwego rozumienia terminu oryginalność, które autorka trafnie uruchamia w swej pracy, łącząc je z tradycją. Jedynym niespełnionym zobowiązaniem są sugerowane we wstępie inscenizacje. Miały być, a zasadniczo ich nie ma. Tymczasem, na przykład w kwestii Piradella, choć i Gombrowicza warto byłoby spytać o tzw. Wielką reformę teatru, czy w niej uczestniczyli, jak byli wystawiani, na ile ich metafikcyjny komizm współgrał z rozwiązaniami scenicznymi. Wspomnijmy choćby paryskie wystawienia Pirandello przez Georgesego Pitoëffa, który na emigracji wprowadzał w życie idee MCHAT-u. Co się tam stało z metafikcją?

Rodzi się też pytanie co jest intertekstem, co jednak jest ‘tylko’ tekstem, mimo iż możemy inne teksty przywoływać. Pamiętamy, że Włodzimierz Bolecki pisał o cytatach pustych u Gombrowicza, że się nie tyle coś konkretnego cytuje, ile cytuje jako sam akt cytowania. Bo, na przykład w kwestii figury Ojca może wszak chodzić o pozycję ojczyzny i syncyzny, jakże Gombrowiczowską, nie zaś o intertekstualne, ku-Szekspirowskie, nawiązania, którą to kwestię należałoby przemyśleć.

Na koniec wreszcie, mimo iż mam zaufanie do oglądu intuicyjnego i nie uważam, że dowód zawsze jest konieczny, nieco nie przekonuje mnie koncepcja “Szekspirowskiego ducha” (np.: “oprócz ducha szekspirowskiego, uobecniają się elementy europejskiej tradycji dramatu”, s. 132), który jakoby wygląda ze sztuk Gombrowicza i Pirandella. Może warto by go ubrać w jakieś szaty dowodów, by tak w negliżu nie biegał po scenie? Zwłaszcza że Gombrowicz, a chyba też Pirandello w tym kierunku akurat lęku przed wpływem nie odczuwali.

I na marginesie – szkoda mi, że Iwona z dramatu Gombrowicza, rozpoznana przez autorkę jako archetyp błazna, trafiła jedynie w obszar przypisu, bo rozpoznanie to jest ciekawe i warte dłuższej partii tekstu krytycznego.

4. Przypis do Allena i postmodernizmu. Pod koniec wyjaśnia się o co chodzi. Otóż twórczość Woody’ego Allena, która nieoczekiwanie okazała się podobna do sposobów artystycznej kreacji Pirandello-Gombrowiczowskich, pozwala przenieść dramaturgiczny modernizm w ponowoczesność. Niby nieśmiało, z zastrzeżenia, ale jednak stanowczo. Sam komizm metafikcyjny również okazuje się postmodernistyczny. Czy to słuszne? Autorka wskazuje i zwolenników i przeciwników tego poglądu, myślę, że każdy czytający ma w tej kwestii swoje zdanie i łatwo go nie zmieni. Sam postmodernizm jawi się tu jako sposób lektury, a zatem może ogarniać rozmaite teksty, konstruując je na postmodernistyczną modłę. Dla mnie Allen jest raczej modernistą zagubionym w postmodernizmie, Gombrowiczowi zaś o coś innego niż postmodernizm chodziło, ale to raczej kwestie na rozmowę przy kawie. Dowodzenie autorki jest spójne i należy je przyjąć jako jej głos w sprawie. W

końcu też trudno się nie zgodzić z przytaczaną opinią Andrzeja Szahaja, będącą argumentem za, że “nie ma w świecie *ani pierwszego, ani ostatniego słowa, są tylko głosy (teksty) wzajem odsyłające do siebie*” (s. 232). Rozpoznanie to wspiera autorka zmyślną konstrukcją, gdzie dotarłszy do *Zakończenia* znajdujemy część kolejną *Po zakończeniu* – tekst przeto nie ma swego końca...

5. Przypis do całości. Czy warto mieć w swej bibliotece książkę Nadziei Bąkowskiej? Warto. Czy warto przeczytać? Jak najbardziej. Jak każdy tekst bogaty w znaczenia prowokuje ona do polemiki, są w niej miejsca sporne. No chyba, że ktoś nie lubi przypisów, ale może warto dać przypisowi szansę? W końcu jak twierdzi dekonstrukcja, przecież właśnie to, co na marginesie, znajduje się w samym centrum.

Paweł Graf

N. Badurina, *Strah od pamćenja. Književnost i sjeverni Jadran na ruševinama dvadesetog stoljeća*, Disput, Zagreb 2023 (= Biblioteka SREDNJI PUT), pp. 296.

Con il presente volume, opera poliedrica e dal ricco contenuto, Natka Badurina, docente di Slavistica presso l'Università degli Studi di Udine, si rivolge agli specialisti del settore. Al lettore meno familiare con i temi trattati l'Autrice, di cui tutti apprezzano l'esposizione chiara ed esaustiva, offre un aiuto sin dal titolo, *Strah od pamćenja. Književnost i sjeverni Jadran na ruševinama dvadesetog stoljeća*, ossia 'La paura della memoria. La letteratura e l'Adriatico settentrionale sulle rovine del XX secolo', che indica chiaramente qual è il concetto portante del libro mettendo in risalto due privilegiati ambiti di ricerca, noti generalmente come *Memory Studies* e *Trauma Studies*. Il contesto in cui si muove l'Autrice è quello della memoria nel Novecento, richiamato dal titolo, con tutti i suoi problemi e le sue contrapposizioni.

Nel primo dei quattro capitoli – *Rijeka 1919.-1920.: vesela revolucija ili najava fašizma?* 'Fiume 1919-1920: una rivoluzione allegra oppure l'annuncio del fascismo?' – Badurina analizza l'impresa fiumana di Gabriele d'Annunzio e le sue dirette conseguenze. L'Autrice inizia la sua esposizione dalla vittoria mutilata dell'Italia e dal mito del "fumanesimo", per inoltrarsi tra arte contemporanea e il concetto di *reenactment* – con l'inevitabile menzione dei festeggiamenti per i cent'anni dall'impresa. In un secondo momento affronta la cosiddetta *native perspective*, in questo caso il punto di vista dei croati di Fiume, esponenti di una comunità emotiva, con il loro carico di *pathos* nazionale, cittadino ed etnico. Badurina prende in considerazione i loro sentimenti – le ansie, l'entusiasmo, le delusioni, l'amarezza e l'indignazione, sino a soffermarsi sulle etichette, all'epoca tanto in voga, di "italiano elettivo" oppure di "rinnegato jugoslavo", e giungere al risentimento condensato nel sintagma "teppa rinnegata" (p. 72), e quindi all'odio e alla rassegnazione. In una profonda riflessione, al cui centro sono posti i sentimenti collettivi, l'Autrice si sofferma su alcune figure chiave del tempo, come l'avvocato Rikard Lenac (1868-1949), governatore di Fiume / Rijeka ed esperto della questione fiumana, coautore del libricino *La question de l'Adriatique. Fiume*, attivo nella pubblicistica locale con lavori di argomento culturale, storico e giuridico.

Nel secondo capitolo, *Italijanska okupacija Kraljevine Jugoslavije: mit o dobrom vojniku i sjećanja preživelih* 'L'occupazione italiana del Regno di Jugoslavia: il mito del bravo soldato e i ricordi dei sopravvissuti', l'Autrice riprende il concetto di "bravo soldato", così frequente nella storiografia e nella letteratura italiana del passato. Una parte degli storici di nuova generazione scorge nella narrazione dell'occupazione dei Balcani nient'altro che un mito, simile a quello delle conquiste africane, dettate da principi ideologici e da velleità imperiali, in vista della creazione di un "nuovo ordine me-

diterraneo” (p. 85). Nello specifico l’Autrice qui fa notare che è proprio dal confronto con il passato coloniale italiano, ripercorso attraverso la storiografia e i *Memory Studies*, che si giunge alla genesi di opere letterarie sul tema. In questa direzione muove l’analisi della produzione letteraria e critica di autori come Mario Tobino, Raul Lunardi, Ennio Flaiano, Mario Terrosi, Ugo Pirro, Curzio Malaparte, ma anche degli studiosi che se ne sono occupati, come Guido Bartolini e soprattutto il croato Mate Zorić, del quale viene analizzato il contributo sugli studi italo-slavomeridionali. In questa sede l’Autrice colma una lacuna concedendo il dovuto spazio alla leggendaria e camaleontica giornalista e scrittrice Irene Brin, all’anagrafe Maria Vittoria Rossi (1914-1969), e alla sua raccolta di memorie *Olga a Belgrado* (1943) – assente dagli studi di Bartolini e Zorić. Seguono descrizioni e analisi della memoria jugoslava (in particolare croata) dei lager italiani della Seconda guerra mondiale mediante la documentazione raccolta dalla “Commissione [jugoslava] per i crimini degli occupanti”, a cui ha fatto riscontro, da parte italiana, l’istituzione di un’analoga Commissione d’inchiesta. Le voci maggiormente ascoltate dall’Autrice appartengono agli ebrei Hinko e Vladimir Gottlieb e a Elvira Kohn, e in esse Badurina riconosce il tono epico della narrazione. In questo modo l’Autrice va a ritroso, approdando alla memoria degli anni Settanta e Ottanta, al periodo di transizione durante la Guerra fredda e alla metamorfosi del discorso pubblico e scientifico, avvenuto negli anni Novanta, che ha per oggetto la Seconda guerra mondiale. Esempio di ciò, come conferma Badurina, è la nota studiosa croata Maja Bošković-Stulli (1922-2012), anch’essa di origine ebraica, che nella guerra ha visto volatilizzarsi tutta la sua famiglia e il cui racconto diviene dolorosa forma d’indignazione verso ogni tentativo di revisionismo storico (p. 133).

Il terzo capitolo è dedicato alla Risiera di San Sabba, tra “olocausto universale” e “memoria locale”. Unico lager nazista provvisto di forno crematorio in territorio italiano, la Risiera di San Sabba fu scelta proprio per la forte e radicata presenza a Trieste di una comunità ebraica e di una slava, e ancora oggi costituisce per la città un fardello non semplice da sostenere. Nell’accostarsi a questo dato storico attraverso l’analisi di due romanzi, *Non luogo a procedere* (2015) di Claudio Magris e *Sonnenschein. Dokumentarni roman* (2007) dell’autrice croata Daša Drndić, tradotto in italiano con il titolo *Trieste* (2012), Badurina si chiede quale paura possa alimentare quella memoria, a partire dagli scritti della studiosa olandese Susanne C. Knittel, definiti “obsoleti” (p. 157), in cui si utilizza il metodo della memoria pluridirezionale per un confronto tra gli eventi storici legati alla Risiera e alle foibe. Badurina osserva come nel romanzo di Magris purtroppo non si menzioni la sofferenza di un’intera comunità di partigiani e comunisti slavi, che erano stati il motivo alla base dell’istituzione del lager triestino. Il romanzo di Magris, esponente di punta del cosmopolitismo, si trasforma così nella narrazione locale dell’italianità di Trieste, dove le vittime della Risiera di San Sabba sarebbero stati semplicemente “ebrei e non ebrei” – definizione che l’Autrice considera goffa (p. 164). Per Badurina non è chiaro come Magris pensasse di affrontare il tabù della Risiera e del collaborazionismo triestino senza ricordare quali furono le vittime principali. L’Autrice si spinge oltre e compie una lettura comparata tra il romanzo di Magris e un altro romanzo, concepito secondo una prospettiva italiana, ossia *Primavera a Trieste* (1951) di Pier Antonio Quarantotti Gambini (1910-1965), direttore della Biblioteca Civica all’epoca dell’occupazione nazista di Trieste. E a p. 173 annota che in *Non luogo a procedere* si possono individuare alcuni dei nodi critici e delle posizioni politiche e dettagli letterari della cronaca di Quarantotti Gambini, con una differenza sostanziale: la cronaca è scritta come un diario politico pervaso di amarezza, mentre il romanzo di Magris rivela, al di là della distanza del narratore dall’oggetto della sua narrazione, anche una vena di sarcasmo (p. 174). Il romanzo di Daša Drndić si segnalerebbe invece per la presenza di due temi portanti: la questione delle identità molteplici e fluide, dunque irrisolte, e l’imperativo della memoria davanti ai

crimini nazisti, con la condanna dei *bystanders* e di tutti i “soggetti implicati”. All’autrice di questo “romanzo documentario” – come recita il sottotitolo anche in italiano – che nel rappresentare la resa dei conti con la coscienza sporca finisce per non scorgere più nessuna speranza (p. 180), Badurina obietta anche l’assenza (forse voluta?) di alcuni recenti eventi della vita triestina nel rapporto con la Risiera. Infine si domanda se l’Olocausto possa intendersi come memoria universale nel romanzo postmoderno, dove il rapporto tra documento storico, accadimenti e libertà di narrare costituisce un nesso delicato. Palese la sua critica nei confronti di questi due romanzi, che in fondo avrebbero perso un’occasione per riesaminare la memoria della Risiera di San Sabba.

Nel quarto e ultimo capitolo, *Partizanski zločini, istarski egzodus i mitološki stroj* ‘I crimini partigiani, l’esodo istriano e la macchina mitologica’, l’Autrice affronta il secondo dopoguerra, con l’esodo degli istriani, visto dall’osservatorio privilegiato di alcuni spazi pubblici della città di Trieste, *in primis* il Museo della civiltà istriana, fiumana e dalmata (2015-2021) e il Magazzino 18 al porto di Trieste (l’hangar che dell’esodo è il simbolo), nonché la messa in scena del musical del cantautore Simone Cristicchi. L’Autrice cerca di dimostrare che la narrazione sulla paura può diventare un mezzo con cui le idee politiche vengono create e messe in atto (p. 217), pertanto affronta la “grande paura” istriana nella storiografia, nell’analisi orale ma anche nella psicoanalisi, cui seguono il mito e il razzismo antislabo nella letteratura ‘alta’ e ‘bassa’ sull’esodo e sulle foibe, l’uso politico del folclore nel rievocare l’esodo, e il confronto tra l’eredità folclorica e la propaganda fascista, per poi tacere davanti a un interrogativo: come fermare la macchina mitologica?

Invece di fornire una conclusione, Badurina sceglie di proporre al lettore una serie di tesi, invitando a una riflessione comune su argomenti quali: l’anno 1990 come momento di svolta nelle memorie politiche europee; l’utilità degli studi letterari sulla memoria, che in questo volume sono posti sullo stesso piano di quelli storici, politici, etnologici o antropologici; l’indagine delle memorie inevitabilmente multidirezionali e la memoria comune (“*shared memory*”) intesa come utopia; la necessità di affrontare il discorso sulla guerra e sulla pace, nonché la questione del “*postnational memory making*” (p. 246). Tesi decisamente impegnative, che manifestano il bisogno di Badurina di non fermarsi, di scavare e di andare sempre oltre, nel desiderio di individuare le contraddizioni e via via superarle, e superandole rivolgere uno sguardo di speranza verso l’altro.

Persida Lazarević Di Giacomo

T. Maiko, *Konstrukcii s opornym glagolom v russkom i ital'janskom jazykach*, FUP, Firenze 2022 (= Biblioteca di Studi Slavistici, 49), pp. 221.

Negli ultimi decenni l'interesse per la fraseologia è cresciuto notevolmente. In particolare, le strutture fraseologiche più complesse e metaforiche, tra cui idiomi e parole polirematiche, hanno attirato la curiosità di numerosi studiosi che ne hanno messo in evidenza le specifiche caratteristiche sintattiche e semantiche. Tuttavia, tra le strutture linguistiche complesse, le collocazioni e, in particolare, le costruzioni a verbo supporto non hanno finora ricevuto le attenzioni che meritano, soprattutto negli studi nell'ambito della lingua russa.

Le costruzioni a verbo supporto (di seguito CVS) sono strutture formate da due elementi, un verbo e un nome, in cui il verbo perde il suo significato lessicale e acquisisce la funzione grammaticale di esprimere tempo, modo, persona e numero associati all'azione espressa dal nome. Infatti, nelle CVS è il nome, il quale si trova in funzione di complemento diretto o indiretto, a definire in gran parte la semantica dell'intera costruzione, come per esempio in *prendere una decisione / prini-mat' rešenie* o *fare una promessa / davat' obeščanie* (p. 14). Immaginando un *continuum* ai cui estremi si trovano idiomaticità da una lato e composizionalità dall'altro, le CVS (*davat' obeščanie* 'fare una promessa', *dare un consiglio*) si collocano in una posizione intermedia tra le combinazioni libere di parole (*davat' ručku* 'dare una penna', *dare un libro*) e gli idiomi (*davat' zelenyj svet* 'lett. dare la luce verde, dare il via libera', *dare i numeri*) (p. 15).

Il volume di Tatsiana Maiko affronta il tema delle CVS offrendo un'analisi metodologicamente composita e in grado di restituire un quadro complessivo e coerente di questa struttura linguistica finora perlopiù trascurata negli studi russistici.

Nel primo capitolo l'Autrice delinea una panoramica generale degli studi dedicati alle CVS in varie lingue e mette in evidenza le caratteristiche sintattiche e semantiche di queste strutture linguistiche. Tuttavia, l'approccio cognitivo alla base dello studio di Tatsiana Maiko non costringe ad una definizione di CVS ristretta e necessariamente rispondente a test sintattici e semantici, ma permette di includere nell'analisi il più ampio numero di strutture, a partire da quelle prototipiche, come ad esempio *dare aiuto*, fino a quelle più periferiche, come le strutture causative, del tipo *fare paura*, o con nomi concreti, per esempio *fare le carte*.

Se questa scelta può da un lato mettere in secondo piano alcune caratteristiche sintattiche delle CVS, dall'altro lato permette una maggiore generalizzazione. Come spiega la stessa Autrice (pp. 29-30), la scelta di una definizione ampia di CVS è motivata dalle finalità stesse dell'indagine. Infatti, la prima parte dell'analisi (capitolo 2) ha lo scopo di individuare le condizioni necessarie, e

le eventuali restrizioni, per la combinabilità tra un nome e i principali verbi supporto russi (*davat'*, *delat'*, *brat'* e *prinimat'*) e offrire poi un confronto con i risultati ottenuti dall'analisi dei corrispettivi verbi supporto italiani (*dare*, *fare* e *prendere*).

Sulla base degli assunti teorici della Linguistica Cognitiva e utilizzando le nozioni proposte dalla Grammatica delle Costruzioni, l'Autrice dimostra che le varie costruzioni con un dato verbo supporto sono interconnesse fra loro e possono essere intese come estensioni metaforiche del significato lessicale del verbo stesso. Vengono così delineate delle categorie radiali al cui centro si collocano le combinazioni libere del verbo con il proprio significato lessicale più prototipico da cui si irradiano le varie CVS in cui lo stesso verbo perde, in varia misura, il significato lessicale acquisendone uno grammaticale, mentre il collocato, ovvero il nome, acquisisce la funzione di testa semantica. Particolarmente innovativa appare l'analisi delle metafore che motivano l'uso di un determinato verbo supporto e la semantica non compositiva dell'intera costruzione [Verbo+Nome] (p. 34). Le metafore identificate, benché non abbiano valore predittivo, spiegano e giustificano la selezione e l'uso di un determinato verbo supporto. Questo risulta evidente dagli schemi che l'autrice propone per ogni famiglia di costruzioni (ditransitive e transitive) con i verbi supporto analizzati. Infatti, a partire dalla costruzione in cui la semantica del verbo è piena e concreta si estendono in maniera radiale le costruzioni in cui il verbo appare desemantizzato. Così, per esempio, a partire dalla costruzione ditransitiva con il verbo *dare/davat'* che esprime il trasferimento concreto, e che si manifesta in espressioni linguistiche come "*dare un libro a Antonio/davat' knigu Antonu*", si irradiano svariate CVS sulla base di altrettante estensioni metaforiche, tra cui, per esempio: LA COMUNICAZIONE È UN TRASFERIMENTO (*dare una risposta/davat' otvet*, *dare un'informazione/davat' informaciju*), LA SITUAZIONE CAUSATA È UN TRASFERIMENTO (*dare inizio/davat' načalo*, *dare una sensazione/davat' oščuščenie*) o ancora LA CREAZIONE DELLE CONDIZIONI È UN TRASFERIMENTO (*dare la possibilità/davat' vozmožnost'*, *dare il diritto/davat' pravo*).

L'analisi delle estensioni metaforiche in ottica contrastiva russo-italiano si basa su dati provenienti da web corpora (*Russian Web 2011* per il russo e *Italian Web 2016* per l'italiano) interrogabili tramite *Sketch Engine*. La scelta di un approccio *corpus-based* permette uno studio estremamente dettagliato, ricco di esempi e corredato da indicazioni di frequenza per ogni collocato: questa abbondanza di dati consente di comprendere la stabilità di queste costruzioni nelle due lingue e di identificare somiglianze e divergenze tra russo e italiano. A questo si aggiungono le appendici (pp. 155-201) in cui per ogni verbo supporto russo e italiano preso in esame vengono riportati i collocati più frequenti, suddivisi in gruppi semantici.

In generale l'analisi rivela che l'italiano, oltre ad usare le CVS con maggiore frequenza rispetto al russo, permette anche una più ampia combinabilità verbo-nome. L'analisi contrastiva russo-italiano ha mostrato che tutte le metafore identificate, benché non sempre produttive allo stesso modo, sono presenti in entrambe le lingue. Tuttavia, alcune classi semantiche dei collocati appaiono solo in una delle due lingue: per esempio, nonostante la metafora LA COMUNICAZIONE È UN TRASFERIMENTO sia attiva in entrambe le lingue, solo il verbo italiano *dare* occorre con i saluti (*dare il benvenuto*, *dare la buonanotte*, p. 39), mentre solo il verbo russo *davat'* occorre in costruzioni transitive con nomi che esprimono il risultato di processi fisici (*davat' treščinu* 'incrinarsi', *davat' teč'* 'perdere acqua', p. 49).

L'identificazione delle metafore che sono alla base della collocazione e che motivano la co-selezione di verbo e nome, a mio avviso, non ha solo un valore teorico ma potrebbe anche avere interessanti ricadute sulla didattica. Infatti, benché l'autrice non si sbilanci in questo senso, si può ipotizzare che l'integrazione di queste conoscenze, in maniera più o meno esplicita, nella pratica

didattica possa facilitare gli apprendenti di russo L2, permettendogli di fare alcune previsioni sulla selezione del verbo supporto o, perlomeno, di ridurre il numero dei verbi supporto concorrenti.

Sebbene non in questi termini, è proprio in prospettiva acquisizionale che è condotta la seconda parte dell'analisi (capitolo 3) in cui si affronta il tema delle competenze collocazionali di apprendenti italofofoni di russo L2. Anche per questa parte di analisi, l'autrice si avvale dell'uso di corpora. In particolare, Tatsiana Maiko utilizza l'approccio metodologico proposto dal Modello Contrastivo Integrato (p. 105), in cui viene combinata l'analisi di dati provenienti da corpora di apprendenti (*learner corpora*) con l'analisi di dati provenienti da esercizi e test di verifica. Questa metodologia integrata rende ancora più solide e attendibili le conclusioni del lavoro. Particolarmente convincente è la scelta di avvalersi dell'Analisi Comparata dell'Interlingua (*Contrastive Interlanguage Analysis*) in cui i dati provenienti da corpora di apprendenti italofofoni di russo L2 (già esistenti o creati *ad hoc* dall'autrice stessa) vengono confrontati con quelli provenienti da corpora di parlanti nativi di russo. Inoltre, l'autrice non si limita ad una mera analisi dell'errore (*Error analysis*) ma mette in evidenza le differenze di frequenza d'uso delle CVS nell'interlingua degli apprendenti italofofoni di russo L2 e nella lingua di parlanti di russo L1.

Sia l'analisi condotta sui corpora sia quella basata sui test hanno prodotto esiti coerenti ed omogenei. Condensando i numerosi e dettagliati risultati dell'analisi, si può riassumere che: a) le differenze d'uso delle CVS tra apprendenti italofofoni di russo L2 e parlanti nativi di russo sono sia qualitative sia quantitative; b) gli errori degli apprendenti sono principalmente dovuti all'uso di un verbo non standard o all'uso di una CVS non standard al posto di un verbo sintetico; c) il transfer dalla L1 risulta essere sia il principale motivo degli errori nella formazione di CVS non standard ma, allo stesso tempo, anche la ragione della formazione di forme russe standard presenti anche in italiano.

Come si evince da quanto detto, la monografia di Tatsiana Maiko ha il merito non solo di trattare un tema a cui, se non con poche eccezioni, la russistica ha dato finora poco rilievo, ma anche quello di affrontarlo sotto molteplici aspetti. Proprio per i numerosi punti di vista offerti dall'autrice, il volume è consigliato agli studiosi, russisti e non, che si occupano delle CVS e di altre costruzioni fraseologiche, ma risulta uno strumento utile anche per i docenti di lingua russa come lingua straniera per riflettere sulle specifiche difficoltà dei discenti italofofoni ed eventualmente tentare strategie didattiche che favoriscano l'apprendimento di questa complessa, e spesso ingiustamente tralasciata, struttura linguistica.

Erica Pinelli

Studi Slavistici

Rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti

П.В. ПЕТРУХИН <i>Заметки о новгородских берестяных грамотах (грамоты № 22, 122, 1094, 1121)</i>	5-20
Д.М. БУЛАНИН <i>Третья книга Ездры в религиозной мысли Московской Руси</i>	21-36
V. POLOMAC, A. RABUS <i>Serbian Early Printed Books from Venice. Quantitative Approach to Orthographic Variations</i>	37-60
Ф.Б. УСПЕНСКИЙ, А.Ф. ЛИТВИНА <i>Кубок и крест, ковчег и надгробье. Имена и вещи в подспудной истории Смутного времени</i>	61-79
И.А. ВОЗНЕСЕНСКАЯ, Г.А. МОЛЬКОВ <i>Первые морские уставы Петровского времени: переводы и адаптация</i>	81-99
V. DVOŘÁČKOVÁ <i>The Origins of Czech Academic Lexicography. From Foreign Inspiration to State Formation Potential</i>	101-116
О.Е. ПЕКЕЛИС <i>Русское некое в свете типологических ожиданий</i>	117-138
Materiali e discussioni (L. Cortesi, J. Kapičiak)	141-173
Recensioni	177-196